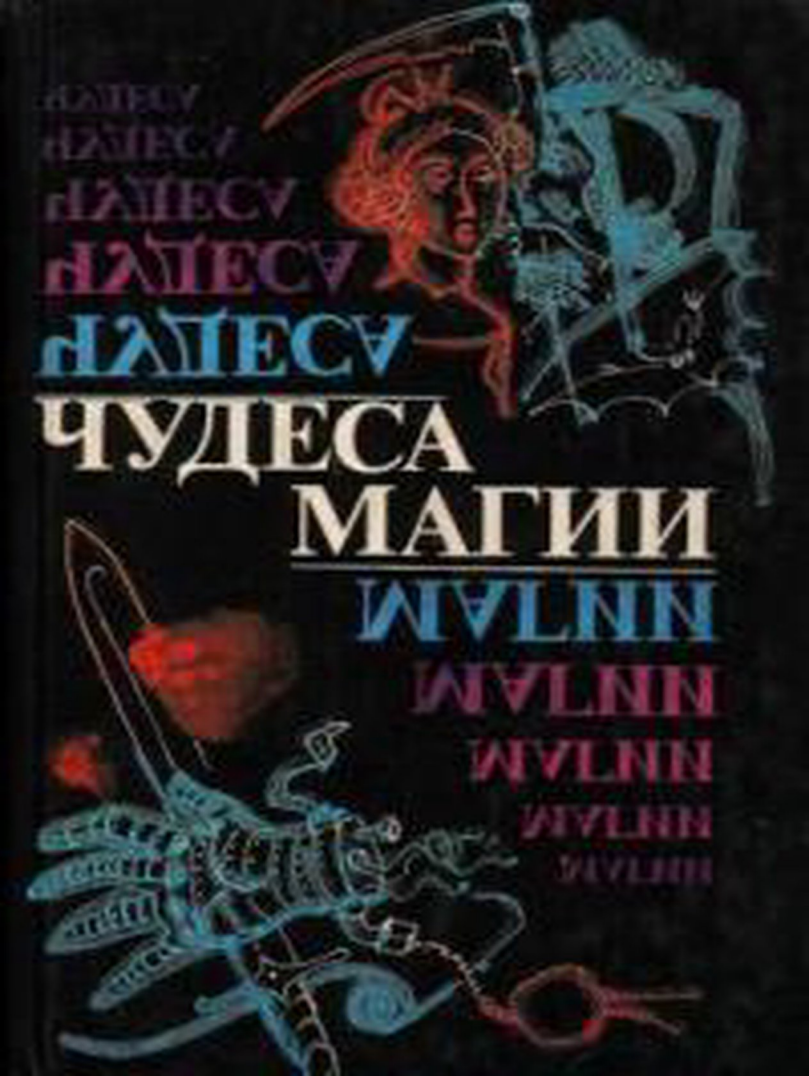
ЧУДЕСА
МАГИИ

Чудеса магии

Джеймс Ганн, Густав Майринк, Роберт Грейвс, Артур Шницлер, Герберт Уэллс, Фриц Ройтер Лейбер, Питер Сойер Бигл, Ганс Гейнц Эверс, Анри де Ренье, Жан Рэ, Акутагава Рюноскэ, Теодор Старджен

Аннотация
ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
ДВЕРЬ В СТЕНЕ
ХАНС-ХАЙНЦ ЭВЕРС
ПАУК
АРТУР ШНИЦЛЕР
ДНЕВНИК РЕДЕГОНДЫ
ПРОРОЧЕСТВО
ГУСТАВ МЕЙРИНК
ДЕЙСТВО СВЕРЧКОВ
РАСТЕНИЯ ДОКТОРА ЧИНДЕРЕЛЛА
АНРИ ДЕ РЕНЬЕ
ТАЙНА ГРАФИНИ БАРБАРЫ
ВСТРЕЧА
РЮНОСКЭ АКУТАГАВА

ЧУДЕСА МАГИИ
СТРАННАЯ ВСТРЕЧА
ФРИЦ ЛЕЙБЕР
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ
ТЕОДОР СТАРДЖЕН
ОНО
ЖАН РЭЙ
ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО
РУКА ГЕЦА ФОН БЕРЛИХИНГЕНА
ПИТЕР С. БИГЛ
МИЛОСТИ ПРОСИМ, ЛЕДИ СМЕРТЬ!
РОБЕРТ ГРЕЙВС
КРИК
ДЖЕЙМС ГАНН
ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ

Аннотация

Сборник «Чудеса магии» составили повести и рассказы зарубежных авторов, написанные в жанре «fantasy». Создавая удивительный мир, полный необъяснимых парадоксов и мистических тайн. Х.-Х. Эверс. А. де Ренье. Г. Мейринк, Р. Акутагава. Ж. Рэй и др. держат читателя в постоянном, почти гипнотическом, напряжении.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

ДВЕРЬ В СТЕНЕ

Перевод с английского Б. Каминской

I

Месяца три назад, как-то вечером в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про «дверь в стене». Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа.

Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так

далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной.

— Он мистифицировал меня! — воскликнул я. — Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал.

Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать.

Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром, или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным.

Пусть судит сам читатель!

Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека — случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.

Тут у него вдруг вырвалось:

— У меня мысли заняты совсем другим… Должен признаться, — продолжал он, немного помолчав, — я был не на высоте… Но дело в том… Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения… но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.

Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном.

— Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? — внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент.

— Так вот… — И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более

плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казались ему глупыми, скучными и пустыми.

Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. «Внезапно, — заметила она, — он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним…»

Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать.

Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают,

что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой.

Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой «двери в стене», о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса.

Теперь я совершенно уверен, что, во всяком случае, для него эта «дверь в стене» была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям.

Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет.

Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло.

— Я увидел перед собой, — говорил он, —

ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены. Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось… На чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь, как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает… Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца.

По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, «совсем как взрослый», поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семи-восьми лег. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец — суровый, поглощенный своими делами адвокат — уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной.

И вот однажды он отправился побродить.

Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо.

Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти.

Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти.

Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону.

Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь.

Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчи-

шески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской.

Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери.

Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь.

Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада.

— В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он мо-

лод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно…

Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ.

— Видишь ли, — сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. — Там были две большие пантеры… Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю… А его размеры? О, он далеко простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину.

Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно

призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: «Вот и ты!» — потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку, — это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоми-

ная о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые-престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби.

Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл… Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь.

Он умолк.

— Продолжайте, — сказал я.

— Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы про-

шли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей — все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей — некоторых я помню очень ясно, других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд — все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то.

Он на секунду задумался.

— Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязались друг к другу.

Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами,

ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!.. Все, что я мог воскресить в памяти, — это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной.

Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам, — вслед кричали они. — Возвращайся скорей!»

Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения.

Я дивился, потому что страницы книги не

были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью.

Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением.

— Продолжай, — сказал я, — мне понятно.

— Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда, непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх.

— А дальше! — воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой.

— Дальше! — настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила

и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб.

Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне и унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был — маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вернуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: «Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!» Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у коленей которой я стоял, внезапно исчезли, но куда?

Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине.

— О, как мучительно было возвращение! — прошептал он.

— Ну, а дальше? — сказал я, помолчав минуту-другую.

— Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой.

Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: «Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?» Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом.

Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого непохожего на привычную, обыденную жизнь, но все же… это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный сон среди белого дня… М-да!

Разумеется, за этим последовал суровый допрос, — мне пришлось отчитываться перед тетушкой,

отцом, няней, гувернанткой.

Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим слушать, если я вздумаю рассказать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе… И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез.

К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!» Как часто мне снился этот сад во сне!

Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю.

Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и

другими воспоминаниями моего отрочества пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.

— А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? — спросил я.

— Нет, — отвечал Уоллес, — не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но по всей вероятности, после того злополучного происшествия из боязни, как бы снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили.

Я снова стал искать свой сад только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже?

— Ну еще бы!

— В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли?

II

Уоллес посмотрел на меня — лицо его осветилось улыбкой.

— Ты когда-нибудь играл со мной в «северо-западный проход»?.. Нет, в то время мы не были в дружбе с тобой.

— Это была такая игра, — продолжал он, — в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать «северо-западный проход» в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Кэмпден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то уличке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда, и я пустился дальше. «Обязательно пройду», — сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых грязных лавчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой

дверью, ведущей в зачарованный сад.

Я просто оторопел. Так, значит, этот сад, этот чудесный сад был не только сном?

Он замолчал.

— Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз у меня и в помыслах не было сразу туда войти. Видишь ли… в голове вертелась лишь одна мысль: поспеть вовремя в школу, — ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть… Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще десять минут, я прошмыгнул мимо стены и, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу… Подумай, я мог

пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку?! Странно, а?

Он задумчиво посмотрел на меня.

— Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всегда можно было найти. Ведь у школьников довольно ограниченное воображение. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне думается, в то утро я был рассеян, крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей, которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть меня. Да, в то утро этот сад, должно быть, представлялся мне прелестным уголком, хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями.

Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени пойти окольным путем. Право, не знаю. Знаю только, что в ту пору чудесный сад так занимал меня, что я уже не в

силах был хранить эту тайну про себя.

Я поведал о ней одному мальчугану. Ну как же его фамилия? Он был похож на хорька… Мы еще знали его Пройда…

— Гопкинс, — подсказал я.

— Вот, вот, Гопкинс. Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки в конце концов рассказал. Возвратясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно тараторили бы о чем-нибудь другом, а мысль о саде так и вертелась у меня в голове. Вот я и выболтал ему.

Ну, а он взял да и выдал мою тайну.

На следующий день, во время перемены, меня обступило человек шесть мальчишек постарше меня. Они подтрунивали надо мной, и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила Фоусет. Ты помнишь его? И Карнеби и Морли Рейнольдс. Ты случайно не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе…

Удивительное создание — ребенок! Я сознавал, что поступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне было особенно приятно,

когда меня похвалил Кроушоу. Ты помнишь сына композитора Кроушоу — Кроушоу-старшего? Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой увлекательной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд, рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это животное Фоусет даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом.

Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом им позоре.

— Я сделал вид, что не слышу, — продолжал он. — Неожиданно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это чистая правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда — каких-нибудь десять минут ходу. Тут Карнеби, приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен подтвердить свои слова на деле, а не то он меня хорошенько проучит. Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да, ты тогда поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ — истинная правда.

В то время в школе некому было защитить меня от Карнеби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнеби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у

меня разгорелись. Я вел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец вместо того, чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, я потащил за собой всю компанию. Я шел впереди, веки у меня пылали, глаза застилал туман, на душе было тяжело, я сгорал от стыда, а за мной шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников… Мы не увидали ни белой стены, ни зеленой двери…

— Ты хочешь сказать?..

— Я хочу сказать, что мне не удалось найти стены. Я так хотел ее разыскать, но никак не мог. И позже, когда я ходил один, мне также не удавалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, веришь, ни единого разу.

— Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи !

— Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу за явную ложь.

Помню, как я пробрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, я

плакал о потерянном саде, где мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова надеялся выучиться, — об этой чудесной позабытой игре…

Я был уверен, что если бы тогда не рассказал… Трудное время наступило для меня, бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках.

Добрых два семестра я нерадиво относился к своим занятиям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно, ты не мог забыть. Ты перегнал меня по математике, и это заставило меня снова взяться за зубрежку.

III

Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил:

— Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Паддингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла

стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления.

Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы.

— Да, сэр? — сказал любезно кучер.

— Э-э, послушайте! — воскликнул я. — Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте!

Мы проехали дальше…

Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене.

«Если бы я остановил извозчика, — размышлял я, — то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру». Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы.

Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь — дверь моей карьеры.

Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло.

— Да, — произнес он, вздохнув. — Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние.

Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями?

Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что

уже успел совершить. Кое-что… Однако были и разочарования…

Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь.

«Как странно, — сказал я себе, — а ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стоунхенджа».

И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день.

Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь, — ведь для этого пришлось бы сделать всего каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пан-

терам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен…

Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными.

С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да… и я видел его еще три раза.

— Как, сад?

— Нет, дверь. И не вошел.

Уоллес наклонился ко мне через стол, и, когда

он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска.

— Трижды мне предоставлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь снова окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил.

Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год.

Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе.

В тот вечер мы с Хотчинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку.

По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики, — несомненно, это была она!

— Бог мой! — воскликнул я.

— Что случилось? — спросил Хотчинс.

— Ничего! — ответил я.

Момент был упущен.

— Я принес большую жертву, — сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента.

— Так и надо! — бросил он на бегу.

Но разве я мог тогда поступить иначе?

Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент был опять-таки крайне напряженный.

Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер.

Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом.

Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя… Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю.

В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса.

Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его… Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хай-стрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам… И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь…

Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера — низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши.

Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от

двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» — спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так и не ответил на этот вопрос. «Они подумают, что я сошел с ума, — размышлял я. — Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля...» Это перетянуло чашу весов. В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений.

Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне.

— И вот я сижу здесь. Да, здесь, — тихо сказал он. — Я упустил эту возможность.

Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло...

— Откуда ты это знаешь?

— Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, — мысль, которая так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех,

которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился.

При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне:

— Вот он, мой успех!

Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. За последние два месяца — да, уже добрых десять недель — я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать… Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад…

IV

Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова,

звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине.

Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ Восточно-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес.

Я, как в тумане, теряюсь в догадках.

Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя.

Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания?

Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю.

Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся незапертой. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело — как бы это сказать? — какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели.

Но кто знает, что ему открылось?

ХАНС-ХАЙНЦ ЭВЕРС

ПАУК

Лилит.

И в этом — воля, не ведающая смерти…
Кто постигнет тайны воли во всей мощи её?

Джозеф Гленвилл

Перевод с немецкого

Студент медицинского факультета Ришар Бракемон переехал в комнату № 7 маленькой гостиницы «Стевенс» на улице Альфреда Стевенса, № 6, после того как три предыдущие пятницы подряд в этой самой комнате на перекладине окна повесились трое человек.

Первый из повесившихся был швейцарский коммивояжер. Его тело нашли только в субботу вечером; врач установил, что смерть наступила между пятью и шестью часами вечера в пятницу. Тело висело на большом крюке, вбитом в переплет окна в том месте, где переплет образует

крест, и предназначенном, по-видимому, для вешания платья. Самоубийца повесился на шнурке от занавеси, окно было закрыто. Так как окно было очень низкое, то ноги несчастного коленями касались пола; он должен был проявить невероятную силу воли, чтобы привести в исполнение свое намерение. Далее было установлено, что самоубийца был женат и что он оставил после себя четверых детей; кроме того, было известно, что его материальное положение было вполне обеспеченное и что он отличался веселым и беззаботным нравом.

Второй случай самоубийства в этой комнате мало отличался от первого. Артист Карл Краузе, служивший в ближайшем цирке «Медрано» и проделывавший там эквилибристические фокусы на велосипеде, поселился в комнате № 7 два дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк, то директор послал за ним в гостиницу капельдинера. Капельдинер нашел артиста в его незапертой комнате повесившимся на перекладине окна — в той же обстановке, в какой повесился и первый жилец. Это самоубийство было не менее загадочно, чем первое: популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалованье, ему было всего двадцать пять

лет, и он пользовался всеми радостями жизни. И он также не оставил после себя никакой записки, никакого объяснения своего поступка. После него осталась только мать, которой сын аккуратно каждое первое число посылал 200 марок на ее содержание.

Для госпожи Дюбоннэ, содержательницы этой гостиницы, клиенты которой почти исключительно состояли из служащих в близлежащих монмартрских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые жильцы выехали из гостиницы, а другие постоянные ее клиенты перестали у нее останавливаться. Она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару IX участка, и тот обещал ей сделать все, что только от него зависит. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием причины самоубийства двух постояльцев, но отыскал ей также нового жильца для таинственной комнаты.

Шарль-Мария Шомье, служивший в полицейском управлении и добровольно согласившийся поселиться в комнате № 7, был старый морской волк, одиннадцать лет прослуживший во флоте. Когда он был сержантом, то ему не раз приходилось в Тонкине и Аннаме оставаться по ночам

одному на сторожевом посту и не раз приходилось угощать зарядом лебелевского ружья желтых пиратов, неслышно подкрадывавшихся к нему во мраке. А потому казалось, что он создан для того, чтобы должным образом встретить «привидения», которыми прославилась улица Альфреда Стевенса. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбоннэ за вкусный и обильный ужин.

Каждый день утром и вечером Шомье заходил к комиссару, чтобы сделать ему короткий доклад. Доклады эти в первые дни ограничивались только заявлением, что все обстоит благополучно и что он ничего не заметил. Однако в среду вечером он сказал, что напал на кое-какие следы. На просьбу комиссара высказаться яснее он ответил отказом и прибавил, что пока еще не уверен, имеет ли это открытие какую-нибудь связь с двумя самоубийствами в этой комнате. Он сказал между прочим, что боится показаться смешным и что выскажется подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг он вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но нового ничего не рассказал. В пятницу утром он был сильно возбужден; сказал полушутя, полусерьезно, что

как бы там ни было, но окно это действительно имеет какую-то странную притягательную силу. Однако Шомье утверждал, что это отнюдь не имеет никакого отношения к самоубийству и что его подняли бы на смех, если бы он еще к этому что-нибудь прибавил. Вечером того же дня он не пришел больше в полицейский участок: его нашли повесившимся на перекладине окна в его комнате.

На этот раз обстановка самоубийства была также до мельчайших подробностей та же самая, что и в двух предыдущих случаях: ноги самоубийцы касались пола, вместо веревки был употреблен шнурок от занавеси. Окно открыто, дверь не была заперта; смерть наступила в шестом часу вечера. Рот самоубийцы был широко раскрыт, язык был высунут.

Последствием этой третьей смерти в комнате № 7 было то, что в этот же день все жильцы гостиницы «Стевенс» выехали, за исключением, впрочем, одного немецкого учителя из № 16, который, однако, воспользовался этим случаем, чтобы на треть уменьшить свою плату за комнату. Слишком маленьким утешением для госпожи Дюбоннэ было то обстоятельство, что на следующий же день Мэри Гарден, звезда Opera-Comique,

приехала к ней в великолепном экипаже и купила у нее за двести франков красный шнурок, на котором повесился самоубийца. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того — об этом напишут в газетах.

Если бы все это произошло еще летом, так, в июле или в августе, то госпожа Дюбоннэ получила бы втрое больше за свой шнурок; тогда газеты целую неделю заполняли бы свои столбцы этой темой. Но в разгар сезона материала для газет более чем нужно: выборы, Марокко, Персия, крах банка в Нью-Йорке, не менее трех политических процессов — действительно, не хватало даже места. Вследствие этого происшествие на улице Альфреда Стевенса обратило на себя гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживало. Власти составили короткий протокол — и тем дело было окончено.

Этот-то протокол только и знал студент медицинского факультета Ришар Бракемон, когда он решил нанять себе эту комнату. Одного факта, одной маленькой подробности он совсем не знал; к тому же этот факт казался до такой степени мелким и незначительным, что комиссар и никто другой из свидетели не нашел нужным сообщить о нем репортерам. Только позже, после

приключения со студентом, о нем вспомнили. Дело в том, что когда полицейские вынимали из петли тело сержанта Шарля-Мария Шомье, изо рта его выполз большой черный паук. Коридорный щелкнул паука пальцем и воскликнул:

— Черт возьми, опять это поганое животное.

Позже, во время следствия, касавшегося Бракемона, он заявил, что когда вынимали из петли тело швейцарского коммивояжера, то совершенно такой же паук сполз с его плеча. Но Ришар Бракемон ничего не знал об этом.

Он поселился в комнате № 7 две недели спустя после третьего самоубийства, в воскресенье. То, что он пережил там, он ежедневно записывал в свой дневник.

Дневник Ришара Бракемона,
студента медицинского факультета

Понедельник, 28 февраля

Вчера я поселился в этой комнате. Я распаковал свои две корзины и разложил вещи, потом улегся спать. Выспался отлично; пробило девять часов, когда меня разбудил стук в дверь. Это была хозяйка, которая принесла мне завтрак. Она чрезвычайно внимательна ко мне, — это

видно было по яйцам, ветчине и превосходному кофе, который она сама подала мне. Я вымылся и оделся, а потом стал наблюдать за тем, как коридорный прибирает мою комнату. При этом я курил трубку.

Итак, я водворился здесь. Я прекрасно знаю, что затеял опасную игру, но в то же время сознаю, что много выиграю, если мне удастся напасть на верный след. И если Париж некогда стоил мессы — теперь его так дешево уж не приобретешь, — то я, во всяком случае, могу поставить на карту свою недолгую жизнь. Но тут есть шанс; прекрасно, попытаю свое счастье.

Впрочем, и другие также хотели попытать свое счастье. Не менее двадцати семи человек являлись — одни в полицию, другие прямо к хозяйке — с просьбой получить комнату, среди этих претендентов были три дамы. Итак, в конкуренции недостатка не было; по-видимому, все это были такие же бедняки, как и я.

Но я «получил место». Почему? Ах, вероятно, я был единственный, которому удалось провести полицию при помощи одной «идеи». Нечего сказать, хороша идея! Конечно, это не что иное, как утка.

И рапорты эти предназначены для полиции, а

потому мне доставляет удовольствие сейчас же сказать этим господам, что я ловко провел их. Если комиссар человек здравомыслящий, то он скажет: «Гм, вот потому-то Бракемон и оказался наиболее подходящим».

Впрочем, для меня совершенно безразлично, что он потом скажет: теперь я, во всяком случае, сижу здесь. И я считаю хорошим предзнаменованием то обстоятельство, что так ловко надул этих господ.

Начал я с того, что пошел к госпоже Дюбоннэ; но она отослала меня в полицейский участок. Целую неделю я каждый день шатался туда, и каждый день получал тот же ответ, что мое предложение «принято к сведению» и что я должен зайти завтра. Большая часть моих конкурентов очень быстро отстала от меня, по всей вероятности, они предпочли заняться чем-нибудь другим, а не сидеть в душном полицейском участке, ожидая целыми часами. Что же касается меня, то мое упорство, по-видимому, вывело из терпения даже комиссара. Наконец он объявил мне категорически, чтобы я больше не приходил, так как это ни к чему не приведет. Он сказал, что очень благодарен мне, так же как и другим, за мое доброе желание, но «дилетантские силы» совершенно не

нужны. Если у меня к тому же нет выработанного плана действия…

Я сказал ему, что у меня есть план действия. Само собой разумеется, что у меня никаких планов не было и я не мог сказать ему ни слова относительно моего плана. Но я заявил ему, что открою свой план — очень хороший, но очень опасный, — могущий дать те же результаты, какие дает деятельность профессиональных полицейских, только в том случае, если он даст мне честное слово, что сам возьмется за его выполнение. За это он меня очень поблагодарил и сказал, что у него совсем нет времени на что-либо подобное. Но тут я увидел, что имею точку опоры, тем более что он спросил меня, не могу ли я ему хоть как-нибудь раскрыть свой план.

Это я сделал. Я рассказал ему невероятную чепуху, о которой за секунду перед тем не имел ни малейшего понятия; сам не знаю, откуда мне это вдруг пришло в голову. Я сказал ему, что из всех часов в неделю есть час, имеющий на людей какое-то странное, таинственное влияние. Это — тот час, в который Христос исчез из своего гроба, чтобы сойти в ад, то есть шестой вечерний час последнего дня еврейской недели. Я напомнил ему, что именно в этот час, в пятницу, между

пятью и шестью часами, совершились все три самоубийства. Больше я ему ничего не могу сказать, заметил я ему, но попросил обратить внимание на Откровение Святого Иоанна.

Комиссар состроил такую физиономию, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил опять прийти вечером. Я был пунктуален и явился в назначенное время в его бюро; перед ним на столе лежал Новый Завет. Я также в этот промежуток времени занимался тем же исследованием — прочел все Откровение и — ни слова в нем не понял. Весьма возможно, комиссар был умнее меня, во всяком случае он заявил мне очень любезно, что, несмотря на мой неясный намек, догадывается о моем плане. Потом он сказал, что готов идти навстречу моему желанию и оказать мне возможное содействие.

Должен сознаться, он действительно был со мной крайне предупредителен. Он заключил с хозяйкой условие, в силу которого она обязалась целиком содержать меня в гостинице. Он снабдил меня также великолепным револьвером и полицейским свистком; дежурным полицейским было приказано как можно чаще проходить по маленькой улице Альфреда Стевенса и по малейшему моему знаку идти ко мне. Но важнее

всего было то, что он поставил в мою комнату настольный телефон, чтобы я мог всегда быть в общении с полицейским участком. Участок этот всего в четырех минутах ходьбы от меня, а потому я очень скоро могу иметь помощь, если только в этом случится надобность. Принимая все это во внимание, я не могу себе представить, чего мне бояться.

Вторник, 1 марта

Ничего не случилось ни вчера, ни сегодня. Госпожа Дюбоннэ принесла новый шнурок к занавеске из соседней комнаты — ведь у нее достаточно пустых комнат. Вообще она пользуется всяким случаем, чтобы приходить ко мне; и каждый раз она что-нибудь приносит. Я попросил ее еще раз рассказать мне со всеми подробностями о том, что произошло в моей комнате, однако не узнал ничего нового. Относительно причины самоубийств у нее было свое особое мнение. Что касается артиста, то она думает, что тут дело было в несчастной любви: когда он за год перед тем останавливался у нее, к нему часто приходила одна молодая дама, но на этот раз ее совсем не было видно. Что касается швейцарца, то она не знает, что заставило его принять роковое реше-

ние, — но разве влезешь человеку в душу! Ну, а сержант, несомненно, лишил себя жизни только для того, чтобы досадить ей.

Должен сказать, что объяснения госпожи Дюбоннэ отличаются некоторой неосновательностью, но я предоставил ей болтать, сколько ее душе угодно: как бы то ни было, она развлекает меня.

Четверг, 3 марта

Все еще ничего нового. Комиссар звонит мне по телефону раза два в день, я отвечаю ему, что чувствую себя превосходно; по-видимому, такое донесение не вполне удовлетворяет его. Я вынул свои медицинские книги и начал заниматься; таким образом, мое добровольное заключение принесет мне хоть какую-нибудь пользу.

Пятница, 4 марта, 2 часа пополудни

Я пообедал с аппетитом; хозяйка подала мне к обеду полбутылки шампанского. Это была настоящая трапеза приговоренного к смерти. Она смотрела на меня так, словно я уже на три четверти мертв. Уходя от меня, она со слезами просила меня пойти вместе с ней; по-видимому, она боя-

лась, что я также повешусь, «чтобы досадить ей».

Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавеси. Так, значит, на нем я должен сейчас повеситься? Гм, для этого у меня слишком мало желания. К тому же, шнурок жесткий и шершавый, и из него с трудом можно сделать петлю; нужно громадное желание, чтобы последовать примеру других. Теперь я сижу за своим столом, слева стоит телефон, справа лежит револьвер. Я не испытываю и тени страха, но любопытство во мне есть.

6 часов вечера

Ничего не случилось, я чуть было не сказал — к сожалению! Роковой час наступил и прошел — и он был совсем такой же, как и все другие. Конечно, я не буду отрицать, что были мгновения, когда я чувствовал непреодолимое желание подойти к окну — о да, но из совсем других побуждений! Комиссар звонил по крайней мере раз десять между пятью и шестью часами, он проявлял такое же нетерпение, как и я сам. Но что касается госпожи Дюбоннэ, то она довольна: целую неделю жилец прожил в комнате № 7 и не повесился. Невероятно!

Понедельник, 7 марта

Я начинаю убеждаться в том, что мне не удастся ничего открыть, и я склонен думать, что самоубийство моих троих предшественников было простой случайностью. Я попросил комиссара еще раз сообщить мне все подробности трех самоубийств, так как был убежден, что если хорошенько вникнуть во все обстоятельства, то можно в конце концов напасть на истинную причину. Что касается меня самого, то я останусь здесь так долго, как это только будет возможно. Парижа я, конечно, не знаю, но я живу здесь даром и отлично откармливаюсь. К этому надо прибавить, что я много занимаюсь; я сам чувствую, что вошел во вкус с моими занятиями. И, наконец, есть и еще одна причина, которая удерживает меня здесь.

Среда 9 марта

Итак, я сдвинулся на один шаг. Кларимонда…

Ах, да ведь я о Кларимонде ничего еще не рассказал. Итак, она моя «третья причина», вследствие которой я хочу здесь остаться, и из-за нее-то я и стремился к окну в тот «роковой» час,

а отнюдь не для того, чтобы повеситься. Клари-монда — но почему я назвал ее так? Я не имею ни малейшего представления о том, как ее зовут, но у меня почему-то явилось желание называть ее Кларимондой. И я готов держать пари, что ее именно так и зовут, если только мне удастся когда-нибудь спросить ее об ее имени.

Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет по другую сторону очень узкой улицы, на которой находится моя гостиница; ее окно расположено как раз против моего. Она сидит у окна за занавеской. Кстати, должен сказать, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее, — видно, что она интересуется мной. В этом нет ничего удивительного, вся улица знает, почему я здесь живу, — об этом уж позаботилась госпожа Дюбоннэ.

Уверяю, что я не принадлежу к числу очень влюбчивых натур, и отношения мои к женщинам всегда были очень сдержаны. Когда приезжаешь в Париж из провинции, чтобы изучать медицину, и при этом не имеешь денег даже на то, чтобы хоть раз в три дня досыта наесться, тут уж не до любви. Таким образом, я не отличаюсь опытом и на этот раз, быть может, держал себя очень глу-по. Как бы то ни было, она мне нравится такой,

какая она есть. Вначале мне и в голову не приходило заводить какие бы то ни было отношения с соседкой, живущей напротив меня. Я решил, что здесь я живу только для того, чтобы делать наблюдения; но раз оказалось, что при всем моем желании мне здесь все равно нечего делать, то и я начал наблюдать за своей соседкой. Нельзя же весь день, не отрываясь, сидеть за книгами. Я выяснил, между прочим, что Кларимонда, по-видимому, одна занимает маленькую квартирку. У нее три окна, но она всегда сидит у того окна, которое находится против моего; она сидит и прядет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я когда-то видел у моей бабушки, но она никогда ее не употребляла, а сохранила как воспоминание о какой-то старой родственнице; я даже и не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Кларимонды маленькая и изящная, она вся белая и, по-видимому, сделана из слоновой кости; должно быть, она прядет на ней невероятно тонкие нити. Она весь день сидит за занавесками и работает не переставая, прекращает работу, только когда становится темно. Конечно, в эти туманные дни темнеет очень рано на нашей узкой улице — в пять часов уже наступают настоящие сумерки.

Но никогда не видал я света в ее комнате.

Какая у нее наружность — этого я не знаю как следует. Ее черные волосы завиваются волнами, и лицо у нее очень бледное. Нос у нее узкий и маленький с подвижными ноздрями; губы также бледные; и мне кажется, что ее маленькие зубы заострены, как у хищных животных. На веках лежат темные тени, но когда она их поднимает, то ее большие темные глаза сверкают. Однако все это я гораздо больше чувствую, нежели действительно знаю. Трудно как следует рассмотреть что-нибудь за занавеской.

Еще одна подробность: она всегда одета в черное платье с высоким воротом; оно все в больших лиловых крапинках. И всегда у нее на руках длинные черные перчатки, — должно быть, она боится, что ее руки испортятся от работы. Странное впечатление производят эти узкие черные пальчики, которые быстро-быстро перебирают нитки и вытягивают их — совсем как какое-то насекомое с длинными лапками.

Наши отношения друг к другу? Должен сознаться, что пока они очень поверхностны, и все таки мне кажется, что в действительности они гораздо глубже. Началось с того, что она посмотрела на мое окно, а я посмотрел на ее окно. Она увидела

меня, а я увидел ее. И, по-видимому, я понравился ей, потому что однажды, когда я снова посмотрел на нее, она улыбнулась мне, и я, конечно, улыбнулся ей в ответ. Так продолжалось два дня, мы улыбались друг другу все чаще и чаще. Потом я чуть не каждый час принимал решение поклониться ей, но каждый раз какое-то безотчетное чувство удерживало меня от этого.

Наконец я все-таки решился на это сегодня после обеда. И Кларимонда ответила мне на мой поклон. Конечно, она кивнула головой чуть заметно, но все-таки я хорошо заметил это.

Четверг, 10 марта

Вчера я долго сидел над книгами. Не могу сказать, что я усердно занимался, нет, я строил воздушные замки и мечтал о Кларимонде. Спал я очень неспокойно, но проспал до позднего утра.

Когда я подошел к окну, то сейчас же увидел Кларимонду. Я поздоровался с нею, и она кивнула мне в ответ. Она улыбнулась и долго не сводила с меня глаз.

Я хотел заниматься, но не мог найти покоя. Я сел у окна и стал смотреть на нее. Тут я увидел, что и она также сложила руки на коленях. Я отдернул занавеску в сторону, потянув за шнурок.

Почти в то же мгновение она сделала то же самое. Оба мы улыбнулись и посмотрели друг на друга.

Мне кажется, что мы просидели так целый час.

Потом она снова принялась за свою пряжу.

Суббота, 12 марта

Как быстро несется время. Я ем, пью и сажусь за письменный стол. Закурив трубку, я склоняюсь над книгами. Но не читаю ни одной строчки. Я стараюсь сосредоточиться, но уже заранее знаю, что это ни к чему не приведет. Потом я подхожу к окну. Я киваю головой, Кларимонда отвечает. Мы улыбаемся друг другу и не сводим друг с друга глаз целыми часами.

Вчера после обеда в шестом часу меня охватило какое-то беспокойство. Стало смеркаться очень рано, и мне сделалось как-то жутко. Я сидел за письменным столом и ждал. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет меня к окну — конечно, я не собирался вешаться, я просто только хотел взглянуть на Кларимонду. Наконец я вскочил и спрятался за занавеской. Никогда, казалось мне, не видал я ее так ясно, несмотря на то, что стало уже довольно темно. Она пряла, но глаза ее были устремлены на меня. Меня охватило чувство блаженства, но в то же время я

почувствовал смутный страх.

Зазвонил телефон. Я был вне себя от злобы на этого несносного комиссара, который своими глупыми вопросами оторвал меня от моих грез.

Сегодня утром он приходил ко мне вместе с госпожой Дюбоннэ. Последняя очень довольна мной, для нее уже совершенно достаточно того, что я *прожил* две недели в комнате № 7. Комиссар, однако, требует, кроме того, еще каких-нибудь результатов. Я сделал ему несколько таинственных намеков, на то, что напал, наконец, на очень странный след; этот осел поверил мне. Во всяком случае, я могу еще долго жить здесь, а это мое единственное желание. И не ради кухни и погреба госпожи Дюбоннэ, — Боже мой, как скоро становишься равнодушным ко всему этому, когда каждый день наедаешься досыта, — но только ради ее окна, которое она ненавидит и которого боится и которое я люблю, потому что вижу в нем Кларимонду.

Когда я зажигаю свою лампу, то перестаю ее видеть. Я все глаза высмотрел, чтобы подметить, выходит ли она из дому, но так ни разу и не видел ее на улице. У меня есть большое удобное кресло и на лампу зеленый абажур, и эта лампа обдает меня теплом и уютом. Комиссар принес

мне большой пакет табаку; такого хорошего я еще никогда не курил… и все-таки, несмотря на все это, я не могу работать. Я заставляю себя прочесть две или три страницы, но после этого у меня сейчас же является сознание, что я не понял ни единого слова из прочитанного. Один только мой взор воспринимает буквы, но голова моя отказывается мыслить. Странно! Как будто к моей голове привешен плакат: «вход воспрещается». Как будто в нее разрешен доступ одной только мысли: Кларимонда.

Воскресенье, 13 марта

Сегодня утром я видел маленькое представление. Я прогуливался в коридоре взад и вперед, пока коридорный прибирал мою комнату. На маленьком окне, выходящем на двор, висит паутина, толстый паук-крестовик сидит в центре паутины. Госпожа Дюбоннэ не позволяет убрать паука: ведь пауки приносят счастье, а в доме и без того было достаточно несчастья. Вдруг я увидел другого паука, который был гораздо меньше первого; он осторожно бегал вокруг сети — это был самец. Неуверенно он пополз по колеблющейся нити паутины к середине, но стоило только самке сделать движение, как он сейчас же испуганно

бросился назад. Он подполз к другой стороне и попытался приблизиться оттуда. Наконец самка, сидевшая в середине, вняла его мольбам: она не двигалась больше. Самец дернул сперва осторожно за одну нить, так что паутина дрогнула; однако его возлюбленная не двинулась. Тогда он быстро, но с величайшей осторожностью приблизился к ней. Самка приняла его спокойно и отдалась его нежным объятиям; несколько минут оба паука неподвижно висели посреди большой паутины.

Потом я увидел, что самец медленно освободил одну ножку за другой; казалось, он хотел потихоньку удалиться и оставить свою возлюбленную одну в любовных мечтах. Вдруг он сразу освободился и побежал так быстро, как только мог, вон из паутины. Но в то же мгновение самка выказала сильнейшее беспокойство и быстро бросилась за ним вдогонку. Слабый самец спустился по одной нити, но его возлюбленная сейчас же последовала его примеру. Оба паука упали на подоконник; всеми силами самец старался спастись от преследования. Но поздно, его подруга уже схватила его своими сильными лапками и потащила снова в середину паутины. И это же самое место, которое только что служило ложем любви, послужило местом казни. Сперва возлюбленный пытался

бороться, судорожно протягивал свои слабые ножки, стараясь высвободиться из этих ужасных объятий. Однако его возлюбленная не выпустила его больше. В несколько минут она обволокла его всего паутиной, так что он не мог больше двинуть ни одним членом. Потом она сдавила его своими цепкими клещами и стала жадно высасывать молодую кровь из тела своего возлюбленного. Я видел, как она, наконец, с презрением выбросила из паутины изуродованный до неузнаваемости комочек — ножки и кожу, переплетенные нитями паутины.

Так вот какова любовь у этих насекомых! Ну что ж, я очень рад, что я не молодой паук.

Понедельник, 14 марта

Я совершенно перестал заглядывать в свои книги. Я целые дни провожу у окна. Даже когда темнеет, я продолжаю сидеть у окна. Тогда я уже не вижу ее, но закрываю глаза, и ее образ стоит передо мной.

Гм, в своем дневнике я рассказываю о госпоже Дюбоннэ и о комиссаре, о пауках и о Кларимонде. Но ни одного слова о тех открытиях, которые я должен был сделать в этой комнате. Виноват ли я в этом?

Вторник, 15 марта

Мы придумали странную игру, Кларимонда и я; и мы играем в эту игру целый день. Я киваю ей, и она сейчас же отвечает мне кивком. Потом я начинаю барабанить пальцами по стеклу; едва она это замечает, как сейчас же начинает делать то же самое. Я делаю ей знак рукой, и она отвечает мне тем же; я шевелю губами, как бы говоря с ней, и она делает то же самое. Я откидываю свои волосы назад, и сейчас же она также подносит руку к своему лбу. Это выходит совсем по-детски, и оба мы смеемся над этим. Впрочем, она, собственно, не смеется, а только улыбается тихо и нежно, и мне кажется, что я сам улыбаюсь совсем так же.

Однако все это вовсе уж не так глупо, как могло бы казаться. Это не простое подражание друг другу — оно очень скоро надоело бы нам обоим, — нет, тут играет роль сродство мыслей. Дело в том, что Кларимонда мгновенно подражает малейшему моему движению: едва она замечает то, что я делаю, как тотчас делает то же самое, — иногда мне даже кажется, что все ее движения одновременно совпадают с моими. Вот это-то и приводит меня в восхищение; я всегда делаю что-нибудь новое, непредвиденное, и можно прямо

поражаться, как быстро она все схватывает. Иногда у меня является желание застать ее врасплох. Я делаю множество движений, одно за другим, потом повторяю еще раз то же самое и еще раз. В конце концов и в четвертый раз проделываю то же самое, но в другом порядке или пропускаю какое-нибудь движение и делаю новое. Это напоминает детскую игру «Птицы летят». И это прямо невероятно, что Кларимонда никогда ни разу не ошибется, хотя я проделываю все это так быстро, что, казалось бы, нет возможности разобраться в моих движениях.

Так я провожу целые дни. Но у меня ни на секунду не является такое чувство, будто я бесполезно провожу время; напротив, мне кажется, что я никогда не был занят более важным делом.

Среда, 16 марта

Не странно ли, что мне никогда не приходит в голову перенести мои отношения с Кларимондой на более реальную почву, а не ограничиваться только этой игрой? Прошлую ночь я долго думал над этим. Ведь стоит мне только взять шляпу и пальто и спуститься со второго этажа. Пройти пять шагов через улицу и потом снова подняться по лестнице на второй этаж. На дверях, конечно,

висит дощечка, на которой написано «Кларимонда». Кларимонда, а дальше что? Не знаю, что именно; но имя Кларимонды написано на дощечке. Потом я стучу и…

Все это я представляю совершенно ясно, каждое малейшее движение, которое я сделаю, я представляю себе отчетливо. Но зато я не могу никак представить себе, что будет потом. Дверь откроется, это я еще могу представить себе. Но перед дверью я останавливаюсь и всматриваюсь в темноту, в которой я ничего, ничего не могу различить. Она не появляется — я ничего не вижу, да и вообще там ничего нет. Я вижу только черный, непроницаемый мрак.

Иногда мне кажется, что только и существует та Кларимонда, которую я вижу там, у окна, и которая со мной играет. Я даже не могу себе представить, какой вид имела бы эта женщина в шляпе или в каком-нибудь другом платье, а не в этом черном с лиловыми пятнами; я не могу себе представить ее даже без ее черных перчаток. Если бы я встретил ее на улице или в каком-нибудь ресторане за едой или питьем или просто болтающей, — нет, даже смешно подумать об этом, до Такой степени невозможной представляется мне эта картина.

Иногда я спрашиваю себя, люблю ли я ее. На это я не могу дать ответа, потому что никогда еще не любил. Но если то чувство, которое я испытываю к Кларимонде, действительно любовь, то это нечто совсем-совсем другое, чем то, что я видел у моих товарищей или о чем читал в романах.

Мне очень трудно дать отчет в моих ощущениях. Вообще мне очень трудно думать о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к Кларимонде или, вернее, к нашей игре. Ибо нельзя отрицать, что в сущности эта игра и только эта игра занимает меня, а не что-нибудь другое. И это я, во всяком случае, понимаю.

Кларимонда… ну да, меня, конечно, влечет к ней. Но к этому примешивается другое чувство, как если бы я чего-нибудь боялся. Боялся? Нет, это не то, это скорее застенчивость, смутный страх перед чем-то для меня неизвестным. Но именно этот-то страх и представляет собой нечто порабощающее, нечто сладостное, не позволяющее мне приблизиться к ней. У меня такое чувство, будто я бегаю вокруг нее в широком кругу, время от времени приближаюсь к ней, потом опять отбегаю от нее, устремляюсь в другое место, снова приближаюсь и снова убегаю. Пока наконец — я в этом твердо уверен — я все-таки не приближусь

к ней окончательно.

Кларимонда сидит у окна и прядет. Она прядет длинные, тонкие, необычайно тонкие нити.

Из этих нитей она соткет ткань, не знаю, что из нее будет. Я не понимаю даже, как она соткет ткань из этих нежных тонких нитей, не перепутав и не оборвав их. В ее ткани будут удивительные узоры, сказочные животные и невероятные рожи.

Впрочем, что я пишу? Ведь я все равно не вижу, что она прядет; ее нити слишком тонки. И все-таки я чувствую, что работа ее именно такая, какою я себе представляю ее, когда закрываю глаза. Именно такая. Большая сеть со множеством фигур в ней — сказочные животные с невероятными рожами.

Четверг, 17 марта

Странное у меня состояние. Я почти не разговариваю больше ни с кем; даже с госпожой Дюбоннэ и с коридорными я едва только здороваюсь. Я едва даю себе время, чтобы поесть; мне только хочется сидеть у окна и играть с нею. Эта игра возбуждает меня, право, возбуждает.

И все время у меня такое чувство, будто завтра должно нечто случиться.

Пятница, 18 марта

Да, да, сегодня должно что-то случиться. Я повторяю это себе — совсем громко, чтобы услышать свой голос, — я говорю себе, что только для *этого* я нахожусь здесь. Но хуже всего то, что мне страшно. И этот страх, что со мной может случиться то же самое, что с моими предшественниками в этой комнате, смешивается со страхом перед Кларимондой. Я не могу больше отделить одного от другого.

Мне страшно, мне хочется кричать.

6 часов вечера

Скорее два слова, потом — за шляпу и пальто.

Когда пробило пять часов, силы мои иссякли. О, теперь я хорошо знаю, что есть что-то особенное в шестом часу предпоследнего дня недели — теперь я уже не смеюсь больше над той шуткой, которую проделал с комиссаром. Я сидел в своем кресле и всеми силами старался не сходить с него. Но меня тянуло, я рвался к окну. Я хотел во что бы то ни стало играть с Кларимондой — но тут примешивался страх перед окном. Я видел, как на нем висит швейцарец, большой, с толстой

шеей и седоватой бородой. Я видел также стройного артиста и коренастого, сильного сержанта. Я видел всех троих, одного за другим, а потом всех троих зараз, на том же крюке, с раскрытыми ртами и высунутыми языками. А потом я увидел и себя самого среди них.

О, этот страх! Я чувствовал, что мною овладел ужас как перед перекладиной окна и отвратительным крюком, так и перед Кларимондой. Да простит она мне, но это так, в моем подлом страхе я все время примешивал ее образ к тем троим, которые висели, спустив ноги на пол.

Правда, ни на одно мгновение у меня не было желания повеситься; да я и не боялся, что сделаю это. Нет, я просто боялся чего-то страшного, неизвестного, что должно было случиться. У меня было страстное, непреодолимое желание встать и, вопреки всему, подойти к окну. И я уже хотел это сделать…

Тут зазвонил телефон. Я взял трубку и, не слушая того, что мне говорили, сам крикнул: «Приходите! Сейчас же приходите!»

Казалось, словно этот резкий крик в одно мгновение окончательно прогнал все страшные тени. Я успокоился в одно мгновение. Я вытер со лба пот и выпил стакан воды; потом я стал обдумы-

вать, что сказать комиссару, когда он придет. Наконец я подошел к окну, кивнул и улыбнулся.

И Кларимонда кивнула мне в ответ и улыбнулась.

Пять минут спустя комиссар был у меня. Я сказал ему, что наконец-то я напал на настоящий след, но сегодня он должен пощадить меня и не расспрашивать, в самое ближайшее время я ему все объясню. Самое смешное было то, что когда я все это сочинял, то был твердо уверен в том, что говорю правду. Да и теперь, пожалуй, мне это так кажется… вопреки моей совести.

По всей вероятности, он заметил мое странное душевное состояние, в особенности, когда я затруднился объяснить ему мой крик в телефон и тщетно пытался выйти из этого затруднения. Он сказал мне только очень любезно, чтобы я с ним не стеснялся; он в моем полном распоряжении, в этом заключается его обязанность. Лучше он двенадцать раз приедет напрасно, чем заставит себя ждать, когда в нем окажется нужда. Потом он пригласил меня выйти с ним вместе на этот вечер, чтобы рассеяться немного; нехорошо так долго быть в одиночестве. Я принял его приглашение — хотя мне это было очень неприятно: я так неохотно расстаюсь теперь со своей комнатой.

Суббота, 19 марта

Мы были в «Gaite Rochechouart», а потом в «Cigale» и в «Lune Rousse». Комиссар был прав: для меня было очень полезно выйти и подышать другим воздухом. Вначале у меня было очень неприятное чувство, как будто я был дезертиром, который бежал от своего знамени. Но потом это чувство прошло; мы много пили, смеялись и болтали.

Подойдя сегодня утром к окну, я увидел Кларимонду, и мне показалось, что в ее взоре я прочел укор. Но, может быть, это мое воображение: откуда ей, собственно, знать, что я вчера вечером выходил из дому? Впрочем, это мне показалось только на одно мгновение, потом я снова увидел ее улыбку.

Мы играли весь день.

Воскресенье, 20 марта

Только сегодня я могу писать. Вчера мы играли весь день.

Понедельник, 21 марта

Мы весь день играли.

Вторник, 22 марта

Да, сегодня мы делали то же самое. Ничего, ничего другого. Иногда я спрашиваю себя: зачем я, собственно, это делаю? Или: к чему это поведет, чего я этим хочу добиться? Но на эти вопросы я никогда не даю себе ответа, потому что ясно, что я ничего другого и не хочу, как только этого одного. И то, что должно случиться, и есть именно то, к чему я стремлюсь.

Эти дни мы разговаривали друг с другом, конечно, не произнося ни одного слова вслух. Иногда мы шевелили губами, но по большей части мы только смотрели друг на друга. Но мы очень хорошо понимали друг друга.

Я был прав: Кларимонда упрекнула меня в том, что я убежал в прошлую пятницу. Тогда я попросил у нее прощения и сказал, что это было глупо и скверно с моей стороны. Она простила меня, и я обещал ей не уходить в следующую пятницу. И мы поцеловались, мы долго прижимались губами к стеклу.

Среда, 23 марта

Теперь я знаю, что я люблю ее. Так это должно быть, я проникнут ею весь, до последнего фибра. Пусть для других людей любовь представляет собой нечто иное. Но разве есть хоть одна голова, одно ухо, одна рука, которые были бы похожи на тысячи подобных им? Все отличаются друг от друга, так и любовь всегда различна. Правда, я знаю, что моя любовь совсем особенная. Но разве от этого она менее привлекательна? Я почти совсем счастлив в своей любви.

Если бы только не было этого страха! Иногда этот страх засыпает, и тогда я забываю его. Но это продолжается только несколько минут, потом страх снова просыпается во мне жалкой мышкой, которая борется с большой, прекрасной змеей, тщетно пытаясь вырваться из ее мощных объятий. Подожди, глупый, маленький страх, скоро великая любовь поглотит тебя.

Четверг, 24 марта

Я сделал открытие: не я играю с Кларимондой, это она играет со мной.

Вот как это вышло.

Вчера вечером я думал как и всегда о нашей игре. И записал пять новых серий различных движений, которыми я собирался удивить ее на следующий день, каждое движение было под известным номером. Я упражнялся в них, чтобы потом скорее проделывать их, сперва в одном порядке, потом в обратном. Это было очень трудно, но это доставило мне величайшее удовольствие, это как бы приближало меня к Кларимонде даже в те минуты, когда я ее не вижу. Я упражнялся целыми часами, наконец все пошло как по маслу.

И вот сегодня утром я подошел к окну. Мы поздоровались друг с другом, и потом началась игра. Прямо невероятно, как быстро она понимала меня, как она подражала мне в то же мгновение.

В эту минуту кто-то постучал в мою дверь; это был коридорный, который принес мои сапоги. Взяв сапоги и возвращаясь потом к окну, я случайно посмотрел на листок, на котором записал серии моих движений. И тут я увидел, *что только что, стоя перед окном, не сделал ни одного из тех движений, которые записал.*

Я пошатнулся, ухватился за спинку кресла и опустился в него. Я этому не верил, я еще и еще раз просмотрел то, что было записано на листочке. Но это было так: я только что перед окном

проделывал целый ряд движений, но ни одного из моих.

И снова у меня явилось такое чувство: широко раскрывается дверь, ее дверь. Я стою перед раскрытой дверью и смотрю — ничего, ничего, лишь густой мрак. Тогда мне стало ясно: если я сейчас выйду, то буду спасен; и я почувствовал, что теперь *могу* уйти. Но, несмотря на это, я не уходил, и это было потому, что я ясно чувствовал, что держу в своих руках тайну. Крепко, в обеих руках. *Париж* — ты завоюешь Париж!

Одно мгновение Париж был сильнее Клариморды.

Ах, теперь я совсем больше не думаю об этом. Теперь я чувствую только мою любовь, и с ней вместе тихий, блаженный страх.

Но в то мгновение этот страх придал мне силы. Я еще раз прочел мою первую серию движений и старательно запомнил их. Потом я подошел к окну.

Я отдавал себе ясный, совершенно ясный отчет: *я не сделал ни одного движения из тех, которые хотел сделать*.

Тогда я решил потереть указательным пальцем нос, но вместо этого поцеловал стекло. Я хотел побарабанить по стеклу, но вместо этого провел

рукой по волосам. Итак, мне стало ясно: не Кларимонда подражает тому, что делаю я, а скорее я подражаю ей. И делаю это так быстро, так молниеносно, что у меня создалось впечатление, будто инициатива исходит от меня.

А я, который так гордился тем, что влияю на нее, сам попадаю под ее влияние. Впрочем, это влияние такое нежное, такое ласкающее, что мне кажется, нет на свете ничего более благодетельного.

Я произвел еще несколько опытов. Я засунул обе руки в карманы и решил не двигаться; я стоял и пристально смотрел на нее. Я видел, как она подняла свою руку, как она засмеялась и слегка погрозила мне указательным пальцем. Я не шевелился. Я чувствовал, как моя правая рука стремится высвободиться из кармана, но я вцепился пальцами в подкладку. Потом медленно, через несколько минут, пальцы разжались, и я вынул руку из кармана и поднял ее. И я улыбнулся и тоже погрозил ей пальцем. Мне казалось, что это делаю не я, а кто-то другой, за кем я наблюдаю. Нет, нет, это было не так. Я, я делал это, а кто-то другой был тот сильный, который хотел сделать великое открытие, но это был не я.

Я — какое мне дело до каких бы то ни было

открытий, — я здесь для того, чтобы исполнить волю Кларимонды, которую люблю в сладостном страхе.

Пятница, 25 марта

Я перерезал телефонную проволоку. Я не хочу, чтобы меня каждую минуту беспокоил этот глупый комиссар, да еще как раз в то время, когда наступает этот странный час.

Господи, зачем я все это пишу? Во всем этом нет ни слова правды. Мне кажется, будто кто-то водит моим пером.

Но я хочу, хочу, хочу записывать то, что со мной происходит. Это стоит мне громадного напряжения воли. Но я это сделаю. Еще только один раз то… что я хочу.

Я перерезал телефонную проволоку… ах!

Я должен был это сделать. Вот! Наконец-то! Потому что я должен был, должен был.

Сегодня мы стояли у наших окон и играли. Со вчерашнего дня наша игра изменила свой характер. Она делает какое-нибудь движение, а я сопротивляюсь до тех пор, пока могу. Пока я, наконец, не уступаю и безвольно не подчиняюсь тому, чего она хочет. И я не могу выразить, какое блаженство сознавать себя побежденным, какое

счастье отдаваться ее воле.

Мы играли. Потом вдруг она встала и ушла вглубь комнаты. Было так темно, что я не мог ее больше видеть; она как бы растаяла во мраке. Но потом она снова появилась у окна, держа в руках настольный телефон, совсем такой же, как и у меня. Она с улыбкой поставила его на подоконник, взяла нож, перерезала шнурок и снова отнесла телефон.

Я сопротивлялся добрых четверть часа. Страх мой был сильнее, чем раньше, но тем сладостнее было чувствовать себя мало-помалу порабощенным. Наконец я взял свой аппарат, поставил его на окно, перерезал шнурок и снова отнес его на стол.

Так это случилось.

Я сижу за своим письменным столом: я напился чаю, коридорный только что вынес посуду. Я спросил его, который час, — мои часы идут неверно. Четверть шестого, четверть шестого.

Я знаю, стоит мне только поднять голову, как Кларимонда что-нибудь сделает. Она сделает что-нибудь такое, что и я должен буду сделать.

И я все-таки поднял голову. Она стоит в окне и смеется. Теперь — если бы я только мог отвернуться от нее, — теперь она подошла к занавеске.

Она снимает шнурок — шнурок красный, совсем как у моего окна. Она делает петлю. Она прикрепляет шнурок к крюку на перекладине.

Потом она, улыбаясь, садится.

Нет, то, что я чувствую, это уже не страх. Это холодный, леденящий ужас, который я тем не менее не согласился бы променять ни на что на свете. Это какое-то невероятное порабощение, но в то же время в этом непредотвратимом ужасе есть какое-то своеобразное наслаждение.

Я был бы способен подбежать к окну и сейчас же сделать то, что она хочет, но я жду, во мне происходит борьба, я сопротивляюсь. Я чувствую, что с каждой минутой та сила становится все непреодолимее.

. . . . . .

Ну, вот, теперь я опять сижу за столом. Я быстро подбежал к окну и исполнил то, что она от меня ждала: взял шнурок, сделал петлю и повесил шнурок на крюк.

Теперь я уже больше не встану, теперь я буду смотреть только на бумагу. Я хорошо знаю, что она сделает, если я только на нее посмотрю в этот шестой час предпоследнего дня недели. Если я посмотрю на нее, то я должен буду исполнить то,

что она хочет, тогда я должен буду…

Не буду смотреть на нее…

Вот я засмеялся громко. Нет, я не засмеялся, это во мне что-то засмеялось. И я знаю над чем: над моим «не хочу»…

Не хочу и все-таки знаю, наверное, что должен это сделать. Я должен посмотреть на нее, должен сделать это… и потом остальное.

Я только жду, чтобы продлить муки — эти страдания, от которых захватывает дыхание и которые в то же время доставляют величайшее наслаждение. Я пишу и пишу, чтобы подольше сидеть за столом, чтобы продлить эти секунды страдания, которые до бесконечности увеличивают счастье моей любви…

Еще немного, еще…

Опять этот страх, опять! Я знаю, что я посмотрю на нее, что встану, что повешусь; *но я боюсь не этого*. О нет — это прекрасно, это дивно.

Но есть нечто, нечто другое… *что случится потом*. Я не знаю, что это такое, но это случится наверное, ибо счастье моих мук так невероятно велико. О, я чувствую, чувствую, что за этим последует нечто ужасное.

Только бы не думать…

Писать что-нибудь, что попало, все равно что.

Только скорее, не раздумывая…

Мое имя — Ришар Бракемон, Ришар Бракемон, Ришар… о, я не могу больше… Ришар Бракемон… Ришар Бракемон… теперь… теперь… я должен посмотреть на нее… Ришар Бракемон… я должен… нет еще… Ришар… Ришар Браке…

. . . . . .

Комиссар IX участка, который не мог добиться ответа на свои звонки по телефону, вошел в гостиницу «Стевенс» в пять минут седьмого. В комнате № 7 он нашел студента Ришара Бракемона повесившимся на перекладине окна совершенно при той же обстановке, при какой повесились в этой комнате его трое предшественников.

Только на лице его было другое выражение: оно было искажено ужасом, глаза его были широко раскрыты и почти выходили из орбит. Губы были раздвинуты, но зубы были крепко стиснуты.

И между ними был раздавлен большой черный паук со странными лиловыми крапинками.

На столе лежал дневник студента. Комиссар прочел его и сейчас же пошел в дом на противоположной стороне улицы. Там он констатировал, что весь второй этаж уже в течение нескольких месяцев стоит пустой, без жильцов…

АРТУР ШНИЦЛЕР

ДНЕВНИК РЕДЕГОНДЫ

Перевод с немецкого М. Вершининой

Прошлой ночью, возвращаясь домой через Городской парк, я ненадолго присел на скамью и вдруг заметил рядом некоего господина в длинном сером пальто и желтых перчатках. Странно, что всего за минуту до этого его здесь как будто не было. В такой поздний час в парке было сколько угодно свободных мест, и то, что незнакомец выбрал именно мою скамью, показалось мне подозрительным; я уже хотел встать и уйти, когда незнакомец приподнял шляпу и поздоровался, назвав меня по имени. Тут я его узнал и был приятно поражен. Это оказался доктор Готфрид Вейвальд, человек молодой и весьма благовоспитанный; он держался с благородным достоинством, и заметно было, что ему доставляет удовольствие собственная изысканность в обращении. Года четыре назад его перевели помощником юриста из Вены в Нижнюю Австрию, но время от времени он снова появлялся в кафе среди приятелей, встречавших

его со сдержанным радушием: доктор Вейвальд не любил бурных излияний. Я не видел его с самого рождества, однако сейчас, встретив его ночью в Городском парке, ничем не выдал своего удивления. Любезно, стараясь не выказывать излишнего любопытства, ответил на его поклон и уже намеревался вступить с ним в беседу, как подобает светским людям, которые ничему не должны удивляться, даже встрече на краю света, но в этот момент он, словно защищаясь, поднял руку и произнес:

— Простите, у меня слишком мало времени, и я пришел сюда лишь затем, чтобы рассказать вам одну странную историю, — разумеется, если вы соблаговолите меня выслушать.

Немало удивленный его словами, я тем не менее изъявил полнейшую готовность слушать, но не удержался от вопросов: отчего он не разыскал меня в кафе, как ему удалось найти меня ночью в парке и, наконец, почему именно мне он решил оказать такую честь?

— Ответ на два первых вопроса, — сказал он с несвойственной ему резкостью, — вы найдете в моем рассказе. А вас я избрал потому, дорогой друг, — теперь он меня так только и называл, что, насколько мне известно, вы занимаетесь

сочинительством, и я смею надеяться, что мой странный, сбивчивый рассказ, изложенный вами в приемлемой форме, увидит свет.

Я пытался скромно возразить, но доктор Вейвальд, как-то странно поморщившись, без дальнейших околичностей начал:

— Имя героини моего рассказа — Редегонда. Она была женой ротмистра, барона Т. из драгунского полка Х., расквартированного в городе Z.

Он и в самом деле назвал только начальные буквы, хотя я прекрасно знал не только этот маленький городок и имя ротмистра, но даже номер полка. Почему мне все это было известно, вам станет понятно из дальнейшего.

— Редегонда, — продолжал доктор Вейвальд, — была женщиной необыкновенной красоты, и я влюбился в нее, как говорят, с первого взгляда. К сожалению, у меня не было никакой возможности познакомиться с ней, ибо офицеры почти не знались со штатскими, и даже нас, чиновников городского управления, держали на почтительном расстоянии. Поэтому я видел Редегонду лишь издали; всегда в сопровождении супруга или в обществе других офицеров и их жен. Иногда она появлялась в одном из окон своей квартиры, выходившей на центральную площадь. Вечерами

она часто выезжала в дребезжащей коляске в театр, где у нее была своя ложа; замирая от счастья, я незаметно наблюдал за ней из партера, но вот наступал антракт, и ее снова окружали молодые офицеры. Подчас мне казалось, что она заметила меня. Но если ей и случалось небрежно скользнуть по мне взглядом, я ничего не мог прочесть в ее глазах.

Я уже потерял было всякую надежду когда-нибудь сложить к ее ногам мое беспредельное обожание, когда однажды, прекрасным осенним утром, встретил Редегонду в небольшом, похожем на парк, лесочке, который начинается сразу за восточными городскими воротами. Она прошла мимо, чему-то улыбаясь, возможно, даже не заметив меня, и вскоре скрылась в багряной роще. Она была от меня в двух шагах, а я и не сообразил поклониться или даже заговорить с ней! Но и в то мгновение, когда она скрылась в лесу, я не раскаивался, что упустил такую возможность познакомиться с ней, — из этого все равно ничего бы не вышло. И тут со мной произошло нечто странное: подчиняясь таинственному, властному голосу, я представил себе, что случилось бы, решись я остановить Редегонду и заговорить с ней. В моем разыгравшемся воображении Редегонда

не отвергла моих признаний, ей даже приятна была моя дерзость! Она жаловалась на пустоту существования, на ничтожество окружающих ее людей и не скрывала радости, что наконец нашла во мне понимающую, родственную душу. И столь многообещающим был ее взгляд в минуту расставанья, что я, придумавший все от начала до конца — и прощальный взгляд тоже, — вечером, увидев Редегонду в ложе театра, испытал такое чувство, будто нас связывает некая чудесная тайна.

Надеюсь, дорогой друг, вас не удивит, что за первой необыкновенной встречей, созданной моим воображением, вскоре последовали другие и что от свидания к свиданию беседы наши становились все более дружескими, задушевными, даже интимными, пока однажды, уже поздней осенью, Редегонда не упала в мои объятия. Тут уж фантазия моя разыгралась вовсю! Наконец Редегонда сама пришла в мою скромную квартирку на окраине города, и я пережил такое упоительное блаженство, какого мне никогда не могла бы дать убогая действительность.

На каждом шагу нас подстерегали опасности, придавая еще большую романтичность нашей любви. Однажды, когда мы, закутавшись в меха, мчались на санях куда-то в ночь, мимо нас во

весь опор проскакал ротмистр. Уже тогда в душе моей зародились роковые предчувствия, коим вскоре суждено было сбыться.

В начале весны в городе стало известно, что драгунский полк, где служил муж Редегонды, переводят в Галицию. Моему — нет, нашему отчаянию не было предела! Мы перебрали все, на что могут решиться возлюбленные при столь необычных обстоятельствах: бегство, смерть, печальную необходимость покориться неизбежному. Наступил последний вечер, а мы все еще терзались сомнениями. Я украсил комнату цветами и теперь ждал Редегонду; приготовившись ко всему, уложил чемодан, зарядил револьвер и написал прощальные письма. Все это, мой дорогой друг, истинная правда. Ибо мечта столь безраздельно завладела мной, что в тот вечер я не просто надеялся, что Редегонда придет, но и ждал ее. Мне не грезилось, как обычно, что я держу ее в объятиях; нет, мне чудилось, будто на сей раз нечто таинственное, даже ужасное удерживает мою возлюбленную дома; раз сто подходил я к двери, прислушиваясь, не поднимается ли кто по лестнице, выглядывал из окна, чтобы увидеть Редегонду еще издали. В лихорадочном возбуждении я готов был ринуться на ее поиски и вопреки

всем преградам, по праву любящего и любимого, отнять Редегонду у мужа. Под конец, совершенно измученный ожиданием, я свалился на диван.

Внезапно около полуночи раздался звонок. Сердце мое замерло. Вы понимаете, этот ночной звонок уже не был фантазией! Звонок прозвенел второй, третий раз и своим пронзительным дребезжаньем сразу вернул меня к неумолимой действительности. Но в тот самый миг, когда я понял, что мое странное приключение до этого вечера оставалось лишь цепью чудесных снов, во мне проснулась безрассудная надежда, что Редегонда, покоренная силой моей страсти, сама пришла ко мне, стоит сейчас у порога и вот-вот упадет в мои объятия. Весь во власти этого сладостного предчувствия, я подошел к двери и открыл ее. Но то была не Редегонда. Передо мной стоял ее муж, не бестелесный призрак, а живой человек, и я видел его так же отчетливо и ясно, как вас в эту минуту.

Ротмистр пристально смотрел мне в лицо. Понятно, мне ничего другого не оставалось, как пригласить его в комнату и предложить стул. Но он продолжал стоять, выпятив грудь, потом с невыразимой насмешкой произнес:

— Вы ждете Редегонду; к сожалению, ее при-

ходу помешали некоторые обстоятельства. Она, видите ли, умерла.

— Умерла, — повторил я, и свет для меня померк. Ротмистр продолжал твердым голосом:

— Час назад я застал ее за письменным столом. Перед ней лежала эта тетрадь, я нарочно захватил ее с собой. Очевидно, она умерла от сильного испуга, когда я внезапно вошел в комнату. Вот последние строки, которые она успела написать. Извольте взглянуть!

Он протянул мне раскрытую тетрадь в фиолетовом кожаном переплете, и я прочел:

«Итак, я покидаю мой дом навсегда, возлюбленный ждет меня». Я закрыл тетрадь и утвердительно кивнул головой.

— Вы, верно, догадались, — продолжал ротмистр, — что держите в руках дневник Редегонды. Возможно, вы будете столь любезны, что перелистаете его. Тогда вы убедитесь, что отпираться бесполезно.

Я стал перелистывать дневник, вернее, начал его читать. Облокотившись о письменный стол, я читал его почти час, и все это время ротмистр неподвижно сидел на диване. Перед моим взором вновь проходила вся дивная история нашей любви: то осеннее утро, в лесу, когда я впервые

заговорил с Редегондой, первый поцелуй, наши загородные прогулки, исполненные блаженства часы в моей, благоухающей цветами комнате, наши планы бежать или умереть вместе, наше счастье и наше отчаяние. Все, чего я никогда не пережил в действительности, а лишь создал в своем воображении, было с удивительной точностью запечатлено на этих страницах. И это вовсе не казалось мне чем-то необъяснимым, как, верно, представляется вам. Я внезапно понял, что и Редегонда безраздельно любила меня, поэтому ей была дана таинственная власть испытать вместе со мной все муки и радости, порожденные нашей фантазией. Редегонда, как все женщины, была ближе меня к истокам бытия и потому, не ведая разницы, между желанием и его исполнением, по-видимому, твердо верила, что все, о чем она поведала фиолетовой тетради, пережито ею наяву. Но, возможно, все обстояло иначе. Быть может. Редегонда завела этот предательский дневник, желая отомстить мне за нерешительность, из-за которой моим — нет, нашим мечтам не суждено было сбыться; она, по собственной воле, обрекла себя на смерть, замыслив, чтоб дневник попал таким образом в руки обманутого мужа. Но у меня не оставалось времени разрешать эти сомнения,

ведь ротмистр был совершенно убежден в моей виновности, и я, как того требовали обстоятельства, в подобающих выражениях объявил ему, что всегда к его услугам.

— Не попытавшись?..

— Отрицать?! — прервал меня доктор Вейвальд сурово. — О нет! Даже если бы такая попытка сулила малейшую надежду на успех, она показалась бы мне недостойной, ибо я чувствовал себя в ответе за трагический исход приключения, которое хотел пережить и не пережил лишь по своей трусости.

— Я хотел бы довести дело до конца, пока еще не стало известно о смерти Редегонды, — сказал ротмистр. — Сейчас ровно час ночи, в три состоится встреча секундантов, в пять все должно решиться.

И снова я кивнул в знак согласия. Холодно откланявшись, ротмистр удалился. Я привел в порядок бумаги, вышел из дому и поднял прямо с постели двух моих знакомых из главного окружного управления, один из них был граф. Объяснив в нескольких словах лишь самое необходимое, чтобы заставить их поторопиться, я спустился на главную площадь и стал ходить взад и вперед под неосвещенными окнами комнаты, где лежало

тело Редегонды. Мной владело такое чувство, будто я иду навстречу своей судьбе.

В пять часов утра, в маленьком лесочке, вблизи того места, где я впервые встретил Редегонду, но так и не решился заговорить с нею, мы стояли друг против друга, ротмистр и я.

— И вы застрелили его?

— Нет, моя пуля пролетела у самого его виска. Он же попал мне прямо в сердце. Как принято говорить, я был убит наповал.

— О-о-о! — простонал, я бросив растерянный взгляд на странного собеседника. Но никого не увидел. Скамья была пуста. Можно было даже подумать, что все это мне померещилось. Только тогда я вспомнил, что вчера в кафе было много разговоров о дуэли, на которой некий ротмистр по имени Тейергейн застрелил доктора Вейвальда. Эта весть огорчила наше провинциальное общество, однако то обстоятельство, что фрау Редегонда в тот же день бесследно исчезла вместе с одним молодым лейтенантом, дало повод для грустных шуток. Кто-то высказал мысль, что доктор Вейвальд, отличавшийся редкой скромностью и благородством, отчасти по своей воле принял смерть за другого, более счастливого соперника. Что же до появления призрака Вей-

вальда в Городском парке, то оно было бы куда более впечатляющим и необычным, если бы я встретил его до рыцарской гибели его двойника. Не стану скрывать, мысль несколько передвинуть события и тем самым усилить впечатление вначале показалась мне весьма заманчивой. Все же, по зрелом размышлении, у меня возникли опасения, что, слегка изменив порядок событий, я навлеку, на себя упреки в мистике, спиритизме и прочих страшных вещах. Я предвидел вопросы, не выдумка ли мой рассказ, и более того, мыслимы ли вообще подобные случаи, и знал, что в зависимости от ответа меня объявят либо духовидцем, либо мошенником. Что и говорить, выбор не слишком приятный! Поэтому в конце концов я предпочел описать мою ночную встречу, как она и произошла. И все-таки боюсь, что многие усомнятся в ее достоверности из-за широко распространенного недоверия, с каким обычно относятся к поэтам, хотя прочие люди заслуживают его в гораздо большей степени.

ПРОРОЧЕСТВО

Перевод с немецкого

I

Недалеко от Боцена, на небольшой высоте, как бы утонув в лесу, и почти неприметное с шоссе, расположено маленькое поместье барона фон-Шоттенес. Приятель, уже десять лет живущий в Меране, и с которым я вновь встретился там осенью, познакомил меня с бароном. Последнему было тогда пятьдесят лет, и он дилетантски занимался разными искусствами. Он немного аккомпанировал, довольно хорошо играл на скрипке и рояле и недурно рисовал. Серьезней же всего он в свое время занимался драматическим искусством. Как говорят, он, будучи совсем молодым человеком, странствовал несколько лет по провинциальным сценам под вымышленной фамилией. Были ли тому причиной сопротивление со стороны отца, недостаток дарования или удачи, во всяком случае барон довольно скоро бросил этот путь, чтобы, еще не слишком запоз-

дав, поступить на государственную службу и тем последовать призванию своих предков, которое он затем, в течение нескольких десятков лет, и выполнял добросовестно, хотя и без увлечения. Но когда он, едва перешагнув за сорок лет, тотчас же после смерти отца, оставил службу, тут только обнаружилось, как нежно был он еще привязан к предмету своих юношеских мечтаний. Он велел привести в порядок виллу на склоне горы Гунчна и собирал там, особенно в летнее и осеннее время, довольно широкий круг мужчин и дам, ставивших легкие, незатейливые пьесы и живые картины. Жена его, из старого тирольского буржуазного дома, без серьезного влечения к искусствам, но умная и с товарищеской нежностью преданная супругу, смотрела на его любительство с некоторой иронией, тем более добродушной, что увлечения барона вполне отвечали ее собственной склонности к обществу. Общество, которое можно было встретить в замке, могло бы показаться строгим судьям не слишком избранным, по даже гости, склонные по рождению и воспитанию к сословным предрассудкам, нисколько не противились этому непринужденному кружку, который и достаточной мере оправдывался тем видом искусства, которым в нем занимались; к

тому же имя и репутация баронской четы отдаляли от него всякое подозрение в свободе нравов. Среди других, которых я уже не помню, встречал я в замке молодого графа из инсбрукского комендантства, егерского офицера из Ривы, полковника генерального штаба с женой и дочерью, оперeточную певицу из Берлина, фабриканта ликеров из Боцена с двумя сыновьями, барона Мецдольта, только что вернувшегося из своего кругосветного путешествия, придворного артиста из Бюкебурга, вдовую графиню Сайма, которая в молодые годы была артисткой, с ее дочерью, и датского художника Петерсена.

В самом замке жили только немногие из гостей. Другие имели квартиры в Боцене. Третьи жили в скромной гостинице, расположенной внизу на перекрестке, где более узкая дорога ответвлялась к имению. Но чаще всего, уже в первые послеобеденные часы, весь кружок собирался наверху, и тут, иногда под режиссерством бывшего придворного артиста, иногда под управлением барона, который сам никогда не участвовал, до позднего времени проделывались репетиции, сперва с шутками и смехом, потом все более и более серьезно, пока не приближался день представления, которое давалось, смотря по погоде,

настроению, подготовленности, в зависимости от места действия пьесы, или на лужайке у опушки леса, за садиком замка, или в одноэтажной зале с тремя большими готическими окнами.

Когда я в первый раз посетил барона, у меня не было иного намерения, как провести весело день среди новых людей. Но, как это часто бывает, когда бродишь без цели и с полной свободой, к тому же лишенный каких-либо связей, зовущих назад, на родину, я дал барону уговорить себя остаться дольше. День превратился в два, три и больше, и так, к собственному моему удивлению, прожил я до глубокой осени в замке наверху, где в маленькой башне для меня была устроена уютно обставленная комнатка с видом на долину. Это первое пребывание на горе Гунчна останется для меня навсегда приятным и, несмотря на веселье и шум, окружавшие меня, очень спокойным воспоминанием, так как я ни с кем из гостей не имел никаких, кроме самых мимолетных, сношений, да к тому же проводил большую часть своего времени одинаково расположенный и к мыслям и к труду, в одиноких лесных прогулках. Даже и то обстоятельство, что барон из вежливости поставил однажды одну из моих маленьких пьес, не потревожило покоя моего пребывания, так как

никто не обратил внимания на то, что я писатель. Скорее этот вечер был для меня очень приятным событием, так как, благодаря представлению на траве, под открытым небом, исполнилась скромная мечта моих юношеских лет столь же поздно, как и неожиданно. Оживленное движение в замке мало-помалу затихало, срок отпуска господ, большей частью занимавших разные должности, истек, и только иногда приходили в гости друзья, жившие поблизости. Только теперь приблизился я к барону и заметил в нем не без удивления больше самокритики, чем это обычно свойственно дилетантам. Он нисколько не обманывал себя насчет того, что все, чем занимались в его замке, было не что иное, как более высокий род общественных игр. Но так как в течение его жизни ему было недоступно вступить в длительную и серьезную связь с любимым искусством, то он довольствовался тем отблеском, который как бы издалека озарял скромную сценическую деятельность в замке, и сверх того радовался что здесь совершенно не ощущалось того духа ничтожества, который всюду вносился профессионалами.

На одной из наших прогулок он высказал без всякой навязчивости свое желание увидеть когда-нибудь на своей сцене под открытым небом

пьесу, которая была бы написана в расчете на безграничность сцены и на естественную обстановку. Это замечание так кстати шло навстречу одному плану, который я давно уже вынашивал, что я обещал барону исполнить его желание.

Вскоре затем я покинул замок.

Уже в первые дни ближайшей весны и послал барону, с любезными словами напоминания о прекрасных днях прошлой осени, пьесу, которая, видимо, должна была отвечать требованиям обстоятельств. Вскоре затем прибыл ответ, заключавший в себе благодарность барона и сердечное приглашение на ближайшую осень. Я провел лето в горах и в первые сентябрьские дни, когда наступила холодная погода, я уехал на Гардское озеро, позабыв о том, что нахожусь довольно близко к замку барона фон-Шоттенес. Да, мне кажется теперь, что я совершенно забыл в то время о маленьком замке и кипевшей в нем жизни. По восьмого сентября я получил следом из Вены письмо от барона; в нем высказывалось удивление, что я не шлю о себе никакой вести, и сообщалось, что девятого сентября состоится представление той маленькой пьесы, которую я прислал ему весной, и что я не должен на нем отсутствовать. Особое удовольствие сулил мне

барон от детей, которые участвовали в пьесе и уже теперь не отказывали в удовольствии бегать после репетиции в красивых костюмах и играть на траве. Главная роль, писал он дальше, перешла после целого ряда случайностей к его племяннику Францу фон-Умпрехт, который, как я, конечно, еще помню, только два раза всего участвовал в живых картинах, но который теперь проявил удивительный талант в качестве актера.

Я выехал, к вечеру был в Боцене и в день представления прибыл в замок, где меня любезно приняли барон и его жена; я встретил там и других знакомых: отставного придворного артиста, графиню Сайма с дочерью, господина фон-Умпрехта с его красивой женой, а также четырнадцатилетнюю дочь лесничего, которая должна была читать пролог к моей вещи. Но после обеда ожидалось большое общество, а на вечернем представлении должны были присутствовать более ста зрителей, не только из числа личных гостей барона, но и из жителей окружающих местностей, которым сегодня, как уж то было не раз, был открыт доступ к месту представлений. Сверх того, на этот раз был приглашен маленький оркестр, состоявший из музыкантов одной боценской капеллы, и несколько любите-

лей, которые должны были исполнить увертюру Вебера и затем музыку антракта, написанную самим бароном.

За столом было очень весело, только господин фон-Умпрехт казался мне более сдержанным, чем другие. Вначале я почти вовсе не мог его припомнить, и я заметил, что он часто взглядывал на меня, иногда доброжелательно, иногда с некоторым недоверием, но не сказал мне ни слова. Мало-помалу выражение его лица сделалось мне более знакомым, и вдруг я вспомнил, что в прошлом году он изображал в моей живой картине монаха, который сидел, опираясь на локти, за шахматной доской. Я спросил его, не ошибаюсь ли я. Он почти смутился, когда я заговорил с ним; барон ответил за него и сделал шутливое замечание о новооткрытом сценическом даровании своего племянника.

Тут господин фон-Умпрехт странно засмеялся, потом кинул на меня быстрый взгляд, как бы выражавший какой-то уговор между нами и который я никак не мог объяснить себе. Но с этого момента он опять избегал глядеть на меня.

II

Вскоре после обеда я ушел в свою комнату. И вот опять я стоял перед открытым окном, как часто делал это в прошлом году, и радовался красивому виду, открывавшемуся на сверкающую солнцем долину, которая, суживаясь внизу у моих ног, мало-помалу расширялась и совершенно раскрывалась вдали, чтобы принять в свое лоно город и поля.

Через некоторое время постучали. Вошел господин фон-Умпрехт, остановился в дверях и сказал с робостью:

— Прошу прощения, если я Вам помешал.

Потом он подошел ближе и продолжал:

— Но если Вы согласитесь выслушать меня в течение четверти часа, то я уверен, что Вы извините мое посещение.

Я предложил господину фон-Умпрехту сесть, но он не обратил на это внимания и продолжал оживленно:

— Я странным образом стал Вашим должником и чувствую себя обязанным отблагодарить Вас.

Так как я не мог вообразить ничего другого, кроме того, что эти слова господина фон-Умпрехта относятся к его роли и так как они казались мне

чересчур вежливыми, то я попытался возразить. Но Умпрехт прервал меня тотчас же:

— Вы не можете знать, что подразумевал я в своих словах. Позвольте мне просить Вас выслушать меня.

Он сел на подоконник, заложил ногу на ногу и с явным усилием, желая казаться как можно более спокойным, начал:

— Я теперь помещик, но как Вы, может быть, знаете, я раньше был офицером. И в то время, десять лет тому назад, — десять лет тому назад в этот самый день, — со мной случилось непонятное приключение, под игом которого я жил в известной степени до сегодняшнего дня и которое сегодня, помимо Вашего ведома и содействия, подходит к развязке. Между нами какая-то демоническая связь, которую Вы, должно быть, так же мало сумеете разъяснить, как и я; но Вы должны узнать по меньшей мере о ее существовании.

Мой полк стоял тогда в глухом польском гнезде. В смысле развлечений, кроме службы, которая была не слишком утомительной, существовало только пьянство и игра. Сверх того, перед нами стояла перспектива жить здесь долгие годы, и не все из нас умели переносить эту безнадежную жизнь с достаточным самообладанием. Один

из лучших моих друзей застрелился на третий месяц нашего пребывания. Другой товарищ, бывший прежде любезнейшим офицером, внезапно стал страшным пьяницей, невежливым, вспыльчивым, почти невменяемым, и у него произошла какая-то история с одним адвокатом, за которую он поплатился своей службой. Полковник моего батальона был женат и, не знаю, с основанием или без основания, так ревнив, что однажды выбросил свою жену в окошко. Невероятным образом она осталась целой и невредимой; муж умер в сумасшедшем доме. Один из наших юнкеров, до тех пор очень милый, но удивительно глупый малый, вообразил внезапно, что понимает философию, изучал Канта и Гегеля и заучивал целые отрывки из их произведений наизусть как дети букварь. Что касается меня, то я только скучал, и так ужасно, что иногда после обеда, лежа в постели, я опасался сойти с ума. Наша казарма была расположена за деревней, состоявшей не более, чем из тридцати разбросанных изб; ближайший город, в расстоянии доброго часа езды, был грязен, отвратителен, вонюч и полон жидов. По необходимости нам приходилось иногда иметь с ними дело. Содержатель гостиницы был еврей, равно как и содержатель кофейни,

сапожник и т.п. Что мы вели себя крайне оскорбительно по отношению к ним, это Вам легко себе представить. Особенно мы возмутились против этого племени потому, что один князь, приписанный в чине майора к нашему полку, шутки ли ради или из симпатии, с изысканной вежливостью отвечал на поклоны евреев и сверх того явно протежировал нашему полковому врачу, который был, очевидно, еврейского происхождения. Я не стал бы Вам рассказывать этого, если бы как раз эта прихоть князя не свела меня с тем человеком, которому суждено было столь таинственным образом положить начало нашей связи. Это был шулер, сын еврея-корчмаря из соседнего польского городка. Он молодым парнем был по делам во Львове, потом в Вене и научился там карточным фокусам. Он пополнил самостоятельно свое образование, изобрел еще несколько фокусов и понемножку дошел до того, что мог странствовать и с успехом выступать на сценах кафешантанов и клубов.

Летом он всегда возвращался в свой родной город навестить родителей. Там он никогда не выступал публично, и поэтому я встретился с ним сперва на улице, где он бросился мне в глаза своей внешностью. Это был маленький, худой,

безбородый человек, которому тогда было около тридцати лет, одетый со смешной вычурностью, совсем неподходящей ко времени года; он гулял в черном сюртуке и блестящем цилиндре, носил жилетки из великолепнейшего бархата; при ярком солнце он надевал темное пенсне.

Однажды нас сидело человек пятнадцать или шестнадцать после ужина в офицерском собрании за нашим длинным столом. Была душная ночь, и окна были открыты. Некоторые товарищи начали игру, другие сидели у окна и болтали, третьи пили и курили молча. Вошел дежурный унтер-офицер и доложил о прибытии фокусника. Мы сперва были несколько удивлены. Но, не ожидая дальнейшего, тот, о котором докладывали, вошел и сказал с легким жаргонным акцентом несколько вступительных слов, в которых он благодарил за сделанное ему приглашение. Он обратился при этом к князю, который подошел к нему и, конечно, только на зло нам, пожал ему руку.

Фокусник принял это как должное и заметил, что он покажет сперва несколько фокусов с картами, чтобы затем перейти к магнетизму и хиромантии. Не успел он договорить, как некоторые из офицеров, игравшие в углу в карты,

заметили, что у них исчезли фигуры; но, по мановению волшебника, они влетели в открытое окно. Последующие фокусы очень заняли нас и в значительной мере превосходили все, что я видывал в этой области. Но еще более странными мне показались магнетические эксперименты, которые он произвел потом. Не без ужаса увидели мы все, как философствующий юнкер, погруженный в сон, повинуясь приказаниям волшебника, выскочил в открытое окно, влез по гладкой стене на крышу, обежал по самому краю весь четырехугольник и потом спустился во двор. Когда он стоял уже внизу все еще в состоянии сна, полковник сказал волшебнику:

— Послушайте, если бы он сломал себе шею, то уверяю Вас, Вы не вышли бы живым из казарм.

Никогда не забуду я взгляда, полного презрения, которым еврей без слов ответил на это замечание. Потом он сказал медленно:

— Прочесть ли по Вашей руке, господин полковник, когда Вы мертвый или живой покинете эту казарму?

Я не знаю, что ответил бы полковник или мы, прочие, на это дерзкое замечание, но всеобщее настроение было так приподнято, что уже никто не удивился, когда полковник протянул ему руку

и, подражая его жаргону, сказал:

— Ну, прочтите.

Все это происходило во дворе, и юнкер все еще стоял сонный, расставив руки, как распятый, у стены.

Тогда волшебник схватил руку полковника и стал внимательно изучать ее линии.

— Хорошо ли ты видишь, жид? — спросил один поручик, который был уже достаточно пьян.

Спрошенный быстро обернулся и сказал серьезно:

— Мое сценическое имя — Марко Поло.

Князь положил еврею руку на плечо и сказал:

— У моего друга Марко Поло острое зрение.

— Ну, что же Вы видите? — спросил полковник вежливее.

— Должен ли я говорить? — спросил Марко Поло.

— Мы не можем Вас заставить, — сказал князь.

— Говорите, — крикнул полковник.

— Я предпочел бы молчать, — возразил Марко Поло.

Полковник громко засмеялся.

— Выкладывайте-ка, не так-то уж будет плохо, а если будет плохо, то ведь неизвестно, будет ли это правда.

— Будет очень плохо — сказал волшебник, — и правдой это тоже окажется.

Все молчали.

— Ну? — спросил полковник.

— От холода Вам уже не придется более страдать, — ответил Марко Поло.

— Как? — воскликнул полковник, — ужели же наш полк переведут, наконец, в Риву?

— О полке я не вижу ничего, господин полковник, я вижу только, что осенью Вы будете мертвый человек.

Полковник засмеялся, но все остальные молчали; уверяю Вас, всем нам показалось, что полковник был обречен в то мгновение. Вдруг кто-то внезапно засмеялся намеренно громко, другие подражали ему, и с шумом и смехом все вернулись в офицерское собрание.

— Теперь, — воскликнул полковник, — со мной покончено. Но любопытствует ли еще кто из господ?

Кто-то воскликнул, как бы шутя:

— Нет, мы не хотим ничего знать!

Другой вдруг нашел, что следовало бы по религиозным причинам не допускать подобного рода предсказаний судьбы, а молодой лейтенант заявил, что таких людей, как Марко Поло, надо

бы сажать в тюрьму на всю жизнь. Я увидел, что князь стоял с одним из более старых офицеров в углу и курил; я услышал, как он сказал:

— Где тут начинается чудо?

Между тем я подошел к Марко Поло, который уже собирался уходить, и сказал ему так, что никто не слышал:

— Предскажите мне что-нибудь.

Он как бы машинально схватил мою руку.

Потом он сказал:

— Здесь плохо видно. — Я заметил, что пламя ламп колебалось и линии моей руки как бы дрожали.

— Пойдемте наружу, господин поручик, во двор. Мне будет удобнее при лунном свете.

Он не отпускал моей руки, и я последовал за ним через открытую дверь наружу.

Мне вдруг пришла в голову странная мысль.

— Послушайте, Марко Поло, — сказал я, — если вы не можете ничего другого, кроме того, что Вы сделали сейчас с нашим полковником, то лучше бросим.

Тотчас же волшебник отпустил мою руку и улыбнулся:

— Господин поручик боятся.

Я быстро обернулся, чтобы посмотреть, не

слыхал ли нас кто-нибудь; но мы вышли уже из ворот казармы и находились на шоссе, ведущем к городу.

— Я хочу знать что-нибудь более определенное, — сказал я. — Слова всегда можно толковать различным образом.

Марко Поло поглядел на меня.

— Чего желает, господин поручик?.. быть может, портрет будущей супруги?

— Разве Вы можете это?

Марко Поло повел плечами.

— Да можно бы… было бы возможно…

— Но я не хочу этого, — прервал я. — Я хотел бы знать, что случится со мной позже, ну хотя бы через десять лет.

Марко Поло покачал головой:

— Этого я не мог бы сказать, но что-нибудь другое я пожалуй могу.

— Что именно?

— Какое-нибудь мгновение, господин поручик, из Вашей будущей жизни я могу показать как картину.

Я его не сразу понял.

— То есть что Вы думаете?

— Вот что я думаю: Я могу вызвать мгновение из Вашей будущей жизни сюда, в эту местность,

где мы сейчас с Вами стоим.

— Каким образом?

— Господин поручик должны мне только сказать, какой именно момент.

Я не вполне его понял, но был крайне заинтересован.

— Хорошо, — сказал я, — если Вы можете, то я хотел бы видеть, что произойдет со мной в этот самый день и в эту самую секунду через десять лет… понимаете ли Вы меня, Марко Поло?

— Конечно, господин поручик — отвечал Марко Поло и поглядел на меня застывшим взглядом.

И вот он уже исчез… но и казарма, только что сверкавшая в лунном свете, исчезла, исчезли бледные избы, рассеянные по равнине, и я увидел себя самого, как иногда видишь себя самого во сне… старше на десять лет, с большой темной бородой, со шрамом на лбу, лежащим на носилках посреди поляны, около меня на коленях красивая женщина с рыжими волосами, закрывшая лицо руками, рядом со мной мальчик и девочка, темный лес на заднем плане и два охотника с факелами поблизости… Вы удивляетесь, не правда ли, Вы удивляетесь?

Я действительно удивлялся, потому что то, что он мне описывал, было как раз той картиной, ко-

торой должна была закончиться сегодня вечером в десять часов моя пьеса и в которой он должен был играть умирающего героя.

— Вы сомневаетесь, — продолжал фон-Умпрехт, — и я нисколько не могу сердиться на Вас за это, но сейчас я положу конец Вашему недоверию.

Фон-Умпрехт опустил руку в карман сюртука и вынул запечатанный конверт.

— Прошу Вас, посмотрите, что написано на обороте.

Я прочел громко: «Нотариально запечатано 4 января 1859 года, открыть 9 сентября 1868 года». Под этим находилась подпись лично знакомого мне нотариуса, доктора Артинера в Вене.

— Это сегодня, — сказал мне фон-Умпрехт. — И сегодня как раз прошло десять лет после загадочной встречи с Марко Поло, которая таким образом получает развязку, но не разъяснение. Ибо из года в год судьба как будто играла со мной в капризную игру, самым странным образом колебались возможности осуществления этого предсказания, исчезали, становились неумолимо достоверными, уносились и возвращались… Но позвольте мне вернуться к моему рассказу.

Видение продолжалось не дольше, как одно мгновение, ибо еще доносился из казармы гром-

кий смех поручика, который я слышал раньше, чем появилось видение. И вот Марко Поло опять стоял передо мной с улыбкой, о которой я не мог бы сказать, была ли она страдальческой или насмешливой. Он снял цилиндр, и сказал:

— Доброго вечера, господин поручик, я надеюсь, Вы остались довольны, — повернулся и медленно пошел по направлению к городу. На другой день он уехал.

Моей первой мыслью, когда я возвращался к казарме, было то, что Марко Поло, быть может, с помощью неведомого помощника, посредством каких-нибудь зеркал вызвал это явление. Когда я шел через двор, я увидел к своему ужасу, что юнкер все еще стоит в положении распятого, прислонившись к стене. Слышно было, как внутри в большом возбуждении говорили и спорили. Я схватил юнкера за руку, и он тотчас же проснулся, нисколько не был удивлен и только не мог объяснить себе возбуждения, в котором находились все офицеры полка. Я сам вмешался сейчас же с каким-то ожесточением в возбужденный, но пустой разговор, который возник по поводу всех тех странностей, которых мы были свидетелями, и говорил должно быть, не умнее других. Вдруг полковник воскликнул:

— Ну-с, господа, я готов биться об заклад, что я еще доживу до ближайшей весны! Сорок пять против одного!

И он обратился к одному из наших офицеров, поручику, пользовавшемуся славой игрока и спорщика.

— Вы держите?

Хотя и ясно было, что тот, к которому обращались, с трудом устоял против искушения, но, очевидно, он нашел невозможным держать пари относительно смерти своего начальника с ним самим, и поэтому ом молча улыбался. Должно быть, он потом пожалел. Потому что уже через дне недели, на второе утро больших императорских маневров, наш полковник упал с лошади и умер на месте. При этом мы все заявили, что не ожидали ничего другого. Я же с этой поры начал думать с беспокойством о ночном предсказании, о котором я из странной робости не сообщил никому. Только на Рождество по случаю одной поездки в Вену открылся я одному товарищу, некоему Фридриху фон-Гулянд, Вы, может быть, слыхали о нем, он писал красивые стихи и умер очень молодым… Ну, так вот, с ним мы набросали схему, которую Вы найдете в этом конверте. Он держался того мнения, что такие случаи не

должны быть потерянными для науки, хотя бы в развязке своей они оказались и неверными. С ним мы были у доктора Артинера, на глазах которого запечатали эту схему в этот конверт. Он хранился до сих пор в канцелярии нотариуса и только вчера, по моему желанию, был доставлен мне. Должен признаться, что серьезность, с которой Гулянд отнесся к этому делу, сначала меня расстроила, но когда я больше не видел его и в особенности, когда он вскоре после этого умер, вся история стала казаться мне смешной. Прежде всего мне стало ясно, что судьба моя всецело в моих руках. Ничто в мире не могло заставить меня 9 сентября 1868 года в десять часов вечера лежать на носилках с большой темной бородой; я мог избежать леса и поля так же, как мог не жениться на женщине с рыжими волосами и не иметь детей. Естественно, чего, быть может, я не сумел бы избегнуть, это — несчастного случая или дуэли, от которой у меня остался бы шрам на лбу. Я, значит, успокоился на первое время.

Через год после этого предсказания женился я на фрейлейн фон-Геймзаль, моей теперешней жене, вскоре после того я вышел в отставку и посвятил себя сельскому хозяйству. Я осматривал разные маленькие поместья и, как Вам

ни покажется смешно, я обращал внимание на то, чтобы в них по возможности не оказалось участка, напоминающего лужайку моего сна (как я любил называть это видение). Я уже готов был совершить покупку, когда жена моя получила наследство, благодаря которому нашей собственностью стало поместье в Каринтии с хорошей охотой. При первой прогулке через новое владение я набрел на лужайку, которая, ограниченная лесом и слегка покатая, странным образом напоминала мне ту местность, опасаться которой я, может быть, имел все основания. Я несколько испугался. Жене я ничего не рассказывал о предсказании; она так суеверна, что своим признанием я отравил бы ей всю жизнь до сегодняшнего дня.

Он облегченно улыбнулся.

— Итак, я не мог ей сообщить моих опасений. Но сам я успокоил себя тем соображением, что могу не проводить сентября 1868 года в своем имении.

В 1860 году у меня родился мальчик. Уже на первом году он, казалось, напоминал черты мальчика из моего сна; то это сходство терялось, то вновь сказывалось более ясно, и сегодня я могу признаться, что мальчик, который будет сегодня

вечером стоять в десять часов у моих носилок, как две капли воды похож на мальчика моего сновидения. Дочери у меня нет, но вот три года тому назад овдовевшая сестра моей жены, до тех пор жившая в Америке, умерла и оставила дочь. По просьбе моей жены, я поехал за море и привез девочку, чтобы воспитывать в нашем доме. Когда я увидел ее в первый раз, мне показалось, что она вполне напоминает девочку из сна. У меня в голове пронеслась мысль оставить ребенка в чужих краях у чужих людей. Конечно, я тотчас же оттолкнул этот неблагородный замысел, и мы приняли ребенка в наш дом. Опять я вполне успокоился, несмотря на все растущее сходство детей с детьми моего пророческого видения, так как я решил, что воспоминание в лицах детей того сна легко могло меня обмануть. Жизнь моя протекала некоторое время в полном спокойствии. Да, я почти перестал думать о том странном вечере в польском городишке, когда два года тому назад новое предупреждение судьбы снова потрясло меня. Я должен был уехать на два месяца; когда я вернулся, жена моя вышла мне навстречу с рыжими волосами, и ее сходство с женщиной сна, лица которого я не видел, показалось мне совершенным. Я счел удобным скрыть свой страх

выражением гнева; да, я намеренно становился все более и более резким, потому что мне внезапно пришла граничащая с безумием мысль: если я разлучусь с женой и детьми, то ведь всякая опасность должна исчезнуть, и я оставлю судьбу в дураках. Жена моя плакала, упала на колени, просила у меня прощения и объяснила причину своей метаморфозы. Год назад, во время поездки в Мюнхен, я особенно восхищался на выставке картин портретом дамы с рыжими волосами, и моя жена ужо тогда возымела план при подходящих обстоятельствах покрасить себе волосы в рыжий цвет, чтобы тем стать похожей на портрет.

Я, конечно, умолял ее как можно скорее вернуть ее волосам их естественный темный цвет, и когда она сделала это, то, казалось вновь пришло все в порядок. Разве я не видел ясно, что опять судьба была в моей власти?.. Разве не все, что совершалось до сих пор, можно было объяснить естественным путем?.. Разве не имели тысячи других людей имения с лужайками и лесом, жены и детей?.. И единственно, что могло бы испугать суеверного, еще отсутствовало — до нынешней зимы: шрам, который Вы видите на моем лбу. Я не трус, позвольте уверить Вас в этом; но будучи офицером, я дважды дрался на дуэли при очень

опасных условиях, и еще раз, восемь лет тому назад, вскоре после моей женитьбы, когда я уже оставил службу.

Когда же в прошлом году по какому-то смешному поводу — из-за не совсем вежливого поклона — какой-то господин потребовал у меня объяснения, я предпочел, — тут фон-Умпрехт слегка покраснел, — извиниться. Все было улажено, конечно, самым корректным образом, но знаю наверное, что и на этот раз я дрался бы, если бы не нашла на меня внезапно боязнь, что мой противник ранит меня в лоб и тем самым даст судьбе новый козырь в руки… Но Вы видите — это не помогло мне: шрам существует. И тот момент, когда я был ранен, быть может, больше всего за все десять лет способствовал глубокому сознанию моей беспомощности. Это было нынешней зимой к вечеру; я ехал с несколькими другими лицами, которые мне были совершенно незнакомы, по железной дороге от Клагенфурта в Виллах. Вдруг зазвенели оконные стекла, и я почувствовал боль во лбу; одновременно я услышал, как что-то твердое упало на пол; я схватился за раненое место — текла кровь; тогда я быстро наклонился и поднял с полу острый камень; люди в купе вскочили.

— Что случилось? — воскликнул один из них.

Заметили, что у меня идет кровь, стали оказывать мне помощь. Но один господин — я заметил его ясно — как бы откинулся в угол. На ближайшей остановке приносят воды, железнодорожный врач накладывает мне необходимую повязку, но я, конечно, не боюсь, что умру от этой раны: ведь я знаю, что она должна стать шрамом. Завязался разговор в вагоне, строят догадки о том, было ли тут задумано преступление или же это только обычная ребячья выходка; господин в углу молчит и глядит прямо перед собой. В Виллахе я вылезаю. Вдруг этот человек подходит ко мне и говорит:

— Это предназначалось мне. — Раньше, чем я успел ответить, он исчез; я никогда не мог узнать, кто это был. Быть может, страдавший манией преследования… но может быть и кто другой, имевший полное основание предполагать, что его преследует оскорбленный супруг или брат, и который, так сказать, был спасен мною, так как шрам предназначался мне… Кто может знать?..

Через несколько недель шрам красовался на лбу моем, на том самом месте, где я видел его во сне. И мне становилось все яснее, что я борюсь с какой-то неведомой насмешливой силой, и с

возрастающим беспокойством я глядел навстречу тому дню, когда должно было осуществиться последнее.

Весной мы получили приглашение от моего дяди. Я был твердо намерен не последовать ему, потому что мне казалось возможным, хотя ясно картина и не вставала в моем воспоминании, что как раз в его имении находится проклятое место. Но жена моя не поняла бы этого отказа, и поэтому я решился с ней и детками приехать в начале июля с определенным намерением как можно скорее покинуть замок и уехать дальше на юг, в Венецию или на Лидо.

В один из первых дней нашего пребывания разговор зашел о Вашей пьесе, и дядя говорил об имеющихся в ней маленьких детских ролях и просил меня позволить участвовать моим детям. Я ничего не имел против. Тогда было решено, чтобы героя играл профессиональный актер. Через несколько дней меня охватила боязнь, что я опасно заболею и не буду в состоянии уехать. Тогда я объявил однажды вечером, что на следующий день я покину на некоторое время замок и уеду на морские купанья. Я должен был обещать, что вернусь в начале сентября. В тот же вечер пришло письмо от актера, который по каким-то

причинам возвращал барону роль. Дядя мой был очень раздосадован. Он просил меня прочесть пьесу, быть может, я сумею найти кого-нибудь из знакомых, который взялся бы играть эту роль. Таким образом я взял пьесу к себе и прочел ее. Теперь попробуйте себе представить, что произошло со мной, когда я дошел до конца и нашел здесь слово в слово изображенным то положение, которое предсказывалось мне на 9 сентября этого года. Я не мог дождаться утра, чтобы сказать дяде, что я хочу играть эту роль. Я боялся, что он будет противиться, так как с тех пор, как я прочел пьесу, я почувствовал себя в безопасности, и если бы я утратил возможность играть в Вашей пьесе, то я бы снова был отдан в жертву неведомой силе. Мой дядя тотчас же согласился, и с тех пор все пошло верным и хорошим ходом. Мы репетировали уже несколько недель день за днем, и я испытал предстоящее мне сегодня положение уже пятнадцать или двадцать раз: я лежу на носилках, молодая графиня Сайма со своими прекрасными рыжими волосами стоит передо мной на коленях, закрыв лицо руками, и дети стоят рядом со мной.

В то время как господин Умпрехт говорил эти слова, мой взор опять упал на конверт, который,

все еще запечатанный, лежал на столе. Господин фон-Умпрехт улыбнулся.

— Действительно, я еще не дал Вам доказательство, — и сломал печать. Сложенная бумага показалась на свет Божий. Передо мной лежал совершенный, как бы самим мною набросанный mise-en-scéne заключительного действия пьесы, задний план и кулисы были схематически намечены и снабжены обозначением — лес; черточка с мужской фигурой находилась почти посередине, над ней было написано: «носилки»... У других схематических фигур были надписи красными чернилами: «женщина с рыжими волосами», «мальчик», «девочка», «факельщик», «человек с поднятыми руками».

Я обратился к господину фон-Умпрехту:

— Что это обозначает, человек с поднятыми руками?

— Об этом, — сказал господин фон-Умпрехт, смутившись, — я чуть было не позабыл. Дело обстоит таким образом: в том видении был еще ярко освещенный факелами старый, совсем лысый человек, гладко выбритый, в очках, с темно-зеленой шалью вокруг шеи, широко раскрытыми глазами и поднятыми руками.

На этот раз я был поражен. Мы помолчали

некоторое время. Потом я спросил, странно встревоженный:

— Что Вы предполагаете в сущности, кто бы это должен был быть?

— Я предполагаю, — сказал фон-Умпрехт спокойно, — что это кто-нибудь из зрителей, быть может из слуг дяди… или кто-нибудь из крестьян пришедший в конце пьесы в особое возбуждение и бросившийся на сцену… но, быть может, судьба хочет, чтобы кто-нибудь, убежавший из сумасшедшего дома, по одной из тех случайностей, которые меня уже не удивляют больше, пробежал бы по сцене, где я буду лежать на носилках.

Я покачал головой.

— Как говорите Вы?.. плешивый — очки — зеленая шаль?.. теперь это дело кажется мне еще более странным, чем раньше. Фигура человека, которого Вы тогда видели, действительно замышлялась мною в пьесе, но я отказался от нее. Это должен был быть сумасшедший отец жены, о котором говорится в первом акте и который к концу должен был броситься на сцену.

— Но шаль и очки?

— Это актер сделал бы уже от себя. Как Вы думаете?

— Это возможно.

Нас прервали. Госпожа фон-Умпрехт просила мужа к себе, чтобы поговорить с ним перед представлением, и он простился со мной.

Я оставался еще некоторое время и внимательно рассматривал mise-en-scéne, оставленную Умпрехтом на столе.

III

Скоро меня потянуло к тому месту, где должно было происходить представление. Оно было расположено за замком и отделено от него красивой аллеей. Там, где она кончалась низкими кустами, было расставлено около десяти рядов простых деревянных скамеек; передние были покрыты красным ковром. Перед первым рядом стояло несколько пюпитров и стулья; занавеса не было. Граница сцены и зрительного зала отмечалась двумя высокими елями по сторонам; справа примыкал дикий кустарник, за которым стояло удобное кресло, невидимое зрителям и предназначенное суфлеру. Слева площадка была открыта и открывала вид в долину. Задний план сцены был образован высокими деревьями; они густо срослись только посередине, а слева из тени выходили узкие тропинки. Дальше в глубине леса на маленькой просеке были поставлены стол

и стулья, где актеры могли дожидаться своих выходов. Для освещения поставили по сторонам сцены и зрительного зала высокие паникадила с громадными свечами. Справа за кустарником было нечто вроде бутафорской на открытом воздухе; здесь, среди других предметов, нужных для пьесы, я увидел носилки, на которых фон-Умпрехт должен был умирать в конце пьесы.

Когда я шел через поляну, она озарялась спокойным вечерним солнцем… Я, конечно, подумал о рассказе господина фон-Умпрехта. Я не считал невозможным, что фон-Умпрехт принадлежит к породе тех фантастических лгунов, которые издалека подготовляют мистификацию, чтобы возбудить к себе интерес. Я даже считал возможным, что подпись нотариуса подложна и что фон-Умпрехт посвятил и других людей в это дело, чтобы провести его как следует. Особые сомнения возникли у меня по поводу человека с поднятыми руками, пока еще неведомого, но с которым Умпрехт, должно быть, условился; но этим сомнениям противоречила та роль, которую этот человек играл в моем никому неизвестном первоначальном плане — и, кроме того, благоприятное впечатление, которое производила на меня личность господина фон-Умпрехта. И как

ни невозможным, и ужасным казался мне его рассказ, что-то меня все-таки располагало ему верить; может быть, глупое тщеславие считать себя исполнителем властвующей над нами воли.

Между тем, вблизи меня поднялось движение; слуги приходили из замка, зажигались свечи, люди из окрестностей, многие в деревенском одеянии, всходили по холму и скромно становились около скамей. Вскоре появилась хозяйка дома с несколькими господами и дамами, непринужденно занявшими места. Я присоединился к ним и болтал с прошлогодними знакомыми. Появились музыканты и заняли свои места; состав был довольно необыкновенный: две скрипки, виолончель, виоль д'амур, контрабас, флейта и гобой. Они тотчас же, очевидно слишком рано, заиграли увертюру Вебера. Совсем впереди, вблизи оркестра; стоял старый мужик, лысый и завернувший шею чем-то вроде темного платка. «Быть может, он был назначен судьбой, — подумал я, — вынуть потом очки, сойти с ума и броситься на сцену».

Дневной свет совершенно угас и пламя свечей слегка колебалось, так как поднялся легкий ветерок. Только теперь я опять подумал о других участниках и вспомнил, что я не видел еще никого, кроме Умпрехта, его детей и дочери лесничего.

Теперь я услышал громкий голос режиссера и смех молодой графини Сайма. Все скамейки были заняты, барон сидел в одном из первых рядов и говорил с графиней. Оркестр начал играть, вышла дочь лесничего и сказала пролог, которым начиналась пьеса. Содержанием ее была судьба человека, который, охваченный внезапной тоской по приключениям и далям, покидает своих, не простившись с ними, и в течение одного дня переживает так много боли и невзгод, что замышляет вернуться, пока жена и дети не заметили еще его отсутствия; но последнее приключение на обратном пути, у самой двери его дома, кончается его убийством, и только умирая, может он передать последний привет покинутым, для которых его бегство и смерть составляют неразрешимую загадку.

Представление началось. Господа и дамы хорошо говорили свои роли; я радовался простоте передачи и не думал больше о рассказе фон-Умпрехта.

После первого действия оркестр опять заиграл, но его никто не слушал вследствие оживленного разговора на скамьях. Я сам не сидел, а стоял невидимый другими, довольно близко к сцене, на левой стороне, там, где дорога свободно опуска-

лась к долине. Начался второй акт; ветер слегка крепчал, и колеблющееся освещение немного содействовало эффекту пьесы.

Опять исполнители исчезли в лесу, и заиграл оркестр. Мой взгляд случайно упал на флейтиста, который был в очках и гладко выбрит; но у него были длинные белые волосы, и никакой шали не было видно. Оркестр смолк, и исполнители снова вышли на сцену. Тут я заметил, что флейтист, положивший свой инструмент перед собой на пюпитр, полез в карман, вынул большую зеленую шаль и обернул ею шею. Я был удивлен в высшей степени; в следующий момент выступил господин фон-Умпрехт; я увидел как взгляд его вдруг остановился на флейтисте, как он заметил зеленую шаль и на одно мгновение запнулся; но вскоре он оправился и продолжал спокойно свою роль. Я спросил у молодого, просто одетого парня, стоявшего около меня, не знает ли он флейтиста, и узнал от него, что это учитель из Кальтерна. Представление продолжалось, близилась развязка. Двое детей бродили, как требовалось, по сцене, шум в лесу все приближался, слышны были крики и призывы; не дурно было, что ветер становился сильнее и качал ветвями; наконец, вынесли господина фон-Умпрехта, умирающе-

го искателя приключений, на носилках. Дети бросились к ним, неподвижно стояли в стороне факельщики, жена подошла позже, чем другие, и с искаженным от страха лицом опустилась рядом с убитым; тот хочет открыть уста, пытается подняться, но, как предписано ролью, это ему не удается. Вдруг налетает странный порыв ветра, так что факелы почти гаснут; я вижу, как кто-то вскакивает в оркестре — это флейтист; к моему удивлению, он плешивый, его парик улетел; поднял руки, с развевающейся зеленой шалью бросается он на сцену. Невольно я гляжу на Умпрехта. Его взгляд застыл, как зачарованный, на флейтисте. Он хочет сказать что-то, но, очевидно, не может и падает… Еще многие думают, что все это относится к пьесе, я сам не знаю, как объяснить это вторичное падение; между тем человек пробежал мимо носилок за своим париком и исчез в лесу. Умпрехт не встает, новый порыв ветра гасит один из факелов; некоторые впереди становятся беспокойными, я слышу голос барона: «Тише, тише!» Все стихает, и ветер не движется больше; но Умпрехт лежит вытянутый, не движется, и губы его не шевелятся. Графиня Сайма вскрикивает, люди думают, что и это относится к пьесе. Но я протискиваюсь сквозь толпу, бро-

саюсь на сцену, слышу, как сзади меня растет беспокойство — люди подымаются, следуют за мной, носилки окружены…

— Что такое, что случилось?..

Я вырываю у одного из факельщиков факел, освещаю лицо лежащего… я трясу его, рву его жилет; между тем врач подошел ко мне, он ощупывает сердце Умпрехта, он хватает его пульс, он просит всех отойти, он шепчет барону несколько слов… Жена лежащего на носилках пробралась к нему, она вскрикивает, бросается к мужу, дети стоят, как уничтоженные, и не могут ничего понять… Никто не верит тому, что случилось, и все же один передает другому, и через минуту все кругом знают, что господин фон-Умпрехт внезапно умер на носилках, на которых его внесли… Я сам уехал в тот же вечер в долину, пораженный ужасом. В каком-то странном страхе, я не решался больше вернуться в замок. С бароном я виделся на другой день в Боцене; я рассказал ему историю Умпрехта, как он сам сообщил мне. Барон не хотел верить; я полез в бумажник и показал ему таинственный листок; он посмотрел на меня странно, даже с испугом, и вернул мне листок. Он был чист; на нем ничего не было ни написано, ни нарисовано…

Я делал попытки отыскать Марко Поло, но единственное, что я мог узнать о нем, это было то, что он три года тому назад в последний раз выступал в увеселительном заведении низкого разряда в Гамбурге. Но что всего непонятнее во всем этом непонятном, это то, что учителя, побежавшего тогда с поднятыми руками за своим париком и исчезнувшего в лесу, никто никогда более не видел, и даже труп его не был найден.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Автора вышеозначенного рассказа я не знавал лично. Он был в свое время довольно известным писателем, но почти совершенно забыт с тех пор, как около десяти лет тому назад, достигнув шестидесятилетнего возраста, умер. Все его наследие перешло без особого завещания к поименованному на этих страницах меранскому другу его молодости. От последнего, врача, с которым я во время моего пребывания в Мерране прошлой зимой нередко толковал о разных темных вопросах, в особенности о духовидении, телепатии, предсказаниях, я получил эту рукопись для напечатания. Я охотно считал бы ее содержание сочиненным рассказом, если бы, как и видно из него, не присутствовал врач при кон-

це описанного представления, который лично знал исчезнувшего учителя. Что же касается до волшебника Марко Поло, то я хорошо помню, что, будучи молодым человеком, я видел его имя напечатанным на афише в дачной местности около Вердского озера; он остался у меня в памяти, потому что как раз в это время я читал описание путешествия знаменитого мореплавателя того же имени.

ГУСТАВ МЕЙРИНК

ДЕЙСТВО СВЕРЧКОВ

Перевод с немецкого Д. Крючкова

— Ну? — воскликнули все разом, словно один человек, когда профессор Гоклениус вошел скорее, чем это было для него обычно, с явно расстроенным видом, — ну что же, выдали вам письма? — Находится ли Иоган Скопер на пути в Европу? — Как его дела? Присланы ли сюда собранные им коллекции? — кричали все, перебивая друг друга.

— Пока лишь это, — сказал серьезным тоном профессор и положил на стол связку писем и бутылочку, в которой находилось мертвое, беловатое насекомое величиной с жука-оленя, — китайский посланник передал мне все лично, заметив, что это прибыло сегодня кружным путем через Данию.

— Я боюсь, что у него получены плохие известия о нашем коллеге Скопере, — прошептал безбородый господин на ухо своему соседу по столу — старику ученому с волнистой львиной гривой, который, будучи, как и первый, препа-

ратором в естественно-научном музее, сдвинул очки на лоб и с глубочайшим интересом рассматривал насекомое, находившееся в бутылочке.

Присутствующие — их было всего шестеро — все специалисты в области изучения бабочек и жуков — собрались в довольно странном помещении.

Одуряющий запах камфоры и сандалового дерева настойчиво усиливал впечатление странной мертвенности, исходившее от ежерыб, подвешенных на веревках к потолку — вытаращивших глаза, словно отсеченные головы призрачных зрителей; от грубо размалеванных белым и красным сатанинских масок диких островитян, от страусовых яиц, открытых пастей акул, зубов нарвала, искривленных обезьяньих тел и всех тысячеликих странных образов далеких стран.

На стенах, над коричневыми, источенными червями шкафами, имевшими в себе нечто монастырское, когда бледный свет вечерней зари светил на них из запущенного музейного сада сквозь окно с пузатой решеткой, висели, любовно украшенные золотыми рамками, подобно родовым портретам, выцветшие гигантски увеличенные изображения древесных клопов и медведок.

Любезно согнув руку, со смущенной улыбкой вокруг носа пуговицей и желтых, совершенно круглых стеклянных глаз, с цилиндром господина препаратора на голове, напоминая своей позой допотопного деревенского старосту, впервые в жизни снимающегося у фотографа, стоял в углу ленивец, украшенный болтающимися змеиными кожами.

Спрятав хвост в сумрачных далях коридора, с покрытыми блестящей лакировкой, согласно желанию министра народного просвещения, более благородными частями тела, гордость учреждения, крокодил в двенадцать метров длины, глядел из дверей в комнату коварным кошачьим взглядом.

Профессор Гоклениус сел, развязал пачку писем и пробежал, бормоча, вступительные строки.

— Помечено Бутаном — юго-восточный Тибет — а именно от 1-го июля 1914 года — значит, за четыре недели до начала войны; письмо, следовательно, находилось более года в дороге, — прибавил он громко. — Коллега Иоганн Скопер пишет здесь между прочим: — Относительно богатой добычи, которую я собрал во время моего длинного путешествия из китайских пограничных областей через Ассам в неисследованную до

сих пор страну Бутан, я подробно сообщу в ближайшее время; сегодня же только напишу кратко о странных обстоятельствах, сопровождавших открытие мною нового вида белого сверчка, — профессор Гоклениус указал на насекомое в бутылочке, — «который употребляется шаманами для суеверных целей и называется «факом» — слово, служащее в то же время бранным обозначением для всех похожих на европейца или человека белой расы.

Итак, однажды утром, я узнал от ламаистов-богомольцев, шедших в Лхассу, что недалеко от нашего лагеря находится весьма знаменитый тип, называемый «дугпа» — один из тех устрашающих весь Тибет сатанинских жрецов, которые, отличаясь своими ярко-алыми камилавками, считают себя прямыми потомками демона мухоморов. Во всяком случае, «дугпа» исповедуют древнюю тибетскую религию, о которой мы почти ничего не знаем, и являются потомками чужеземной расы, происхождение которой теряется во мгле времен. Этот «дугпа», как рассказывали мне богомольцы, вертя при этом в порыве суеверного ужаса свои маленькие молитвенные мельницы «самтше митшеба», то есть, существо, которое не может быть названо

человеком, могущее «вязать и разрешать», для которого, короче и проще говоря, нет ничего невозможного на земле, благодаря способности обращаться с временем и пространством, как с условными представлениями. Мне сказали, что существуют два пути для того, чтобы подняться над человеческой природой: один — путь света — слияние с Буддой; другой, противоположный — «тропа, ведущая влево», войти на которую умеет лишь прирожденный «дугпа» — духовный путь, полный ужасов и страхов. Такие прирожденные дугпы встречаются — как единичное явление — во всех странах и, удивительным образом, бывают почти всегда детьми особенно благочестивых родителей. «Тут» — сказал мне рассказывавший это богомолец, «словно рука властителя тьмы прививает ядовитый побег к дереву святости»; существует лишь одно средство узнать принадлежит ли ребенок к духовному союзу «дугпа» или нет — если только вихор на черепе загибается слева направо, а не наоборот.

Я сейчас же, из чувства любопытства, высказал желание увидеть вышеупомянутого знаменитого «дугпу», но проводник моего каравана, житель восточного Тибета, жестоко воспротивился этому намерению. Он кричал, что все это глупости, в

стране Бутан нет ни одного «дугпы»; кроме того, «дугпа» — в особенности же «самтше митшеба» — никогда не станет показывать белому человеку свое искусство.

Слишком упорное сопротивление этого человека становилось все более и более подозрительным, и после многочасовых расспросов мне удалось добиться от него признания в том, что он сам исповедует древнюю религию и совершенно точно знает — по красноватой окраске земных испарений, как он солгал мне — что вблизи находится «посвященный дугпа».

«Но он никогда не покажет тебе своего искусства», — заключал он всякий раз свою речь.

«Почему же?» — спросил я наконец.

«Потому что он не берет на себя ответственности».

«Какой ответственности?» — допытывался я дальше.

«Благодаря перерыву, произведенному в области причин, он мог бы быть снова вовлечен в поток перевоплощений, а то и испытать более худшие последствия».

Мне было интересно получить более подробные сведения о таинственной религии, и я поэтому спросил: «Веришь ли ты, что человек

имеет душу?»

«И да, и нет».

«Каким образом?»

В качестве ответа тибетец взял травинку и связал ее узлом: «Есть ли теперь на ней узел?»

«Да»

Он снова развязал узел: «А теперь?»

«Теперь его больше нет».

«Так точно и у человека — есть душа и нет ее», — сказал он просто.

Я попробовал другим способом получить представление об его взглядах: «Хорошо, положим, что ты пробираясь по ужасной горной тропинке, шириной в ладонь, вроде той, по которой мы недавно шли, упал бы в пропасть — жила ли бы душа твоя после падения или нет?»

«Я не упал бы!»

Я думал подойти к нему иначе и показал на мой револьвер: «Если я тебя сейчас застрелю, будешь ты жить или нет?»

«Ты не можешь меня застрелить».

«Однако»…

«Ну, попробуй».

«Ну нет, я воздержусь от этого, — подумал я про себя, — хорошо было бы блуждать без проводника по этому беспредельному горному плато».

Он, по-видимому, угадал мои мысли и насмешливо усмехнулся.

Это вывело меня из себя. Я замолчал.

«Ты не можешь хотеть», — внезапно начал он. «Позади твоей воли стоят желания, которые ты знаешь и которых ты не знаешь — и те, и другие сильнее тебя самого».

«Следовательно, что же такое душа по твоей вере?» спросил я с досадой: «например, имею ли я душу?»

«Да».

«А когда я умру, будет ли жить моя душа?»

«Нет».

«А твоя, как ты думаешь, будет ли жить после смерти?»

«Да — потому что у меня есть имя».

«Какое имя? Ведь оно есть и у меня!»

«Да, но ты не знаешь своего настоящего имени — следовательно, не обладаешь им. То, что ты считаешь своим именем, есть лишь пустое слово, взятое твоими родителями. Когда ты спишь, то забываешь его, а я и во сне не забываю моего имени».

«Но ведь когда ты умрешь, то тоже не будешь знать его!» — возразил я.

«Нет. Но учитель знает его и не забудет, а когда

он произнесет его, то я встану; но только я, и никто иной, потому что только у меня есть это имя. Никто другой не обладает им. То, что ты называешь своим именем, имеют сообща с тобой многие другие — словно псы», — пробормотал он про себя с презрением. Я слышал эти слова, но не дал этого заметить.

«Что разумеешь ты под словом учитель?» — сказал я непринужденным тоном.

«Самтше митшеба».

«Который здесь по близости?»

«Да, но вблизи находится лишь его отражение; сам он в действительности пребывает повсюду. И если захочет, может не быть нигде».

«Значит, он может быть невидимым?» — тут я невольно усмехнулся. «Ты думаешь — иногда он находится в мировом пространстве, а иногда вне его; иногда он тут — а иногда его нет?»

«Ведь имя здесь, когда его произносят, и его нет больше, когда его не произносят», — заметил тибетец.

«А можешь ли ты, например, когда-нибудь стать учителем?»

«Да».

«Значит тогда будет двое учителей, не правда ли?»

Я внутренно торжествовал, потому что, говоря откровенно, меня раздражало духовное высокомерие этого человека; теперь он попался, думал я, (мой следующий вопрос должен был быть таков: если один учитель захочет, чтобы светило солнце, а другой прикажет итти дождю, кто же одержит верх?) — тем более меня поразил странный ответ, данный им: «Если я буду учителем, то стану тогда «самтше митшеба». Или ты полагаешь, что две вещи могут совершенно быть равными друг другу, не будучи одним и тем же?»

«Но все же ведь вас двое, а не один; если бы я с вами встретился, то увидел бы двух людей, а не одного человека », — возразил я.

Тибетец нагнулся, отыскал в массе валявшихся вокруг кристаллов известкового шпата наиболее прозрачный и сказал насмешливо: «Приложи его к глазу и посмотри на то дерево; ты видишь теперь его вдвойне — не правда ли? Но разве от этого там — два дерева?»

Я не сумел ему сразу на это ответить, да и кроме того мне было бы трудно логически развить столь запутанную тему на монгольском языке, которым мы пользовались в целях взаимного понимания, и поэтому предоставил ему торжествовать. Но внутренно я не мог достаточно наудивляться

умственной ловкости этого полудикаря с его косыми калмыцкими глазами и грязной овечьей шкурой со стоящей дыбом шерстью. Есть нечто странное в этих горных азиатах — снаружи они походят на животных, но стоит коснуться их души, как перед вами появляется философ.

Я снова вернулся к исходному пункту нашего разговора: «Ты, значит, думаешь, что «дугпа» не покажет мне своего искусства оттого, что отклоняет от себя ответственность?»

«Наверно не покажет».

«Однако, если бы я принял на себя эту ответственность?»

В первый раз с начала нашего знакомства тибетец утратил самообладание. Беспокойство, с которым он едва мог совладать, отразилось на его лице. Выражение дикой, необъяснимой для меня жестокости сменялось коварным ликованием. В течение многих месяцев нашей совместной жизни мы часто целыми неделями глядели в глаза смертельным опасностям всякого рода, переходили через ужасные пропасти по колеблющимся бамбуковым мостикам шириной в человеческую ступню, так что у меня от ужаса переставало биться сердце, и путешествовали по пустыням, почти умирая от жажды, но никогда еще он ни на

одну минуту не терял душевного равновесия. А теперь? Какова могла быть причина того, что он вдруг пришел в такое сильное волнение? Я убедился по его виду, что в его мозгу мысли гнались одна за другою.

Отведи меня к «дугпе», и тебе дам хорошее вознаграждение», — сказал я ему поспешно.

«Я подумаю об этом», — сказал он мне наконец.

. . . . . .

Еще была глубокая ночь, когда он разбудил меня в моей палатке и сказал, что он готов исполнить мое желание.

Он оседлал двух наших косматых монгольских лошадей, ростом не больше крупной собаки, и мы поехали.

Люди моего каравана спали крепким сном близ тлеющих костров.

Прошло несколько часов, но мы не обменялись ни единым словом; своеобразный мускусный запах, выделяемый тибетскими степями в июньские ночи, и однотонный шелест дрока, раздвигаемого ногами наших лошадей почти одуряли меня, так что я, желая бодрствовать, должен был неотвратимо глядеть на звезды, которые в этой

дикой, горной стране имеют в себе нечто пылающее, вспыхивающее словно горящие клочки бумаги. От них исходит возбуждающее влияние, наполняющее сердце тревогой.

Когда утренний рассвет взобрался на горные вершины, я заметил, что глаза тибетца были широко раскрыты и, не мигая, все время глядели в одну точку на небе. — Я увидел, что он был в духовном отсутствии.

Я спросил его несколько раз, знает ли он настолько местопребывание «дугпы», что не нуждается в отыскивании дороги, но не получил от него никакого ответа.

«Он притягивает меня, как магнит железо», — пробормотал он наконец, еле шевеля языком, словно во сне.

Мы не останавливались на отдых даже в полдень, он снова и снова молча подгонял свою лошадь. Я должен был не слезая с седла, съесть захваченные с собою несколько кусков вяленой козлятины.

Вечером, огибая подножие голого холма, мы остановились вблизи одного из тех фантастических шатров, какие иногда приходится видеть в Бутане. Они черны, остроконечны, внизу шестиугольны с раздувающимися кверху боками и

стоят на высоких подпорках, напоминая таким образом гигантского паука, касающегося брюхом земли.

Я ожидал, что встречу грязного шамана со всклокоченными волосами и бородой, одно из тех сумасшедших или эпилептических существ, которые часто встречаются среди монголов и тунгусов, опьяняются настойкой из мухоморов и затем воображают, что видят духов или же выкрикивают непонятные пророчества; вместо этого передо мной неподвижно стоял человек, добрых шести футов росту, удивительно худощавого телосложения, безбородый, с лицом оливково-зеленоватого оттенка — такого цвета, которого я еще не видал ни у одного живого человека, с косыми, неестественно широко расставленными глазами. Тип какой-то мне совершенно неизвестной человеческой расы.

Губы его, гладкие, словно кожа лица, точно из фарфора, были ярко-алы, тонки, как острие ножа, и так сильно изогнуты — в особенности у далеко отстоящих углов рта, — что на них словно застыла беспощадная усмешка, и казались при этом нарисованными.

Я не мог долго отвести взора от «дугпы» и, вспоминая все теперь, готов почти признаться,

что чувствовал себя ребенком, у которого захватывает от ужаса дыхание при виде внезапно выпорхнувшей из темноты ужасной маски.

На голове «дугпа» носил плотно прилегающую ярко-алую камилавку; одет он был в доходящую до лодыжек дорогую шубу из собольего меха, окрашенного в оранжево-желтый цвет.

Он и мой спутник не сказали друг другу ни слова; и предполагаю, что они объяснились тайными знаками, так как, не спрашивая о моих намерениях, «дугпа» внезапно обратился непосредственно ко мне и сказал, что готов показать мне все мною желаемое, если только я определенно возьму на себя ответственность за это, даже не зная, в чем она состоит.

Конечно, я немедленно согласился на эти условия.

Тогда он потребовал, чтобы я, в знак согласия, коснулся земли левой рукой.

Я сделал так, как он хотел.

Затем он молча пошел вперед, а мы следовали за ним до тех пор, пока он не сказал, чтобы мы сели.

Мы уселись у краев столообразного возвышения.

«Нет ли у тебя с собою белого платка?» — спро-

сил он.

Я напрасно рылся у себя в карманах, наконец отыскал завалившуюся за подкладку старую, выцветшую, складывающуюся карту Европы (очевидно я носил ее с собою в течение всего моего длинного путешествия по Азии), разостлал ее перед нами и объявил «дугпе», что этот рисунок изображает мою родину.

Он обменялся быстрым взглядом с моим проводником — и я снова увидал на лице тибетца выражение исполненной ненависти злобы, которое кинулось мне в глаза еще вечером.

Не хочу ли я видеть волшебное действо сверчков?

Я кивнул головой и мне мгновенно стало ясно все, что затем последует: обычный трюк — вызывание насекомых из-под земли свистом или чем-нибудь подобным.

Действительно, я не ошибся; «дугпа» стал производить тихое, металлическое чириканье (они делают это с помощью маленького, серебряного колокольчика, тайно носимого с собою) — и сейчас же из укромных уголков в земле стало появляться множество сверчков, которые вползали на белую географическую карту.

Все больше и больше.

Бесчисленное множество.

Я стал было уже сердиться на то, что ради нелепого фокуса, который раньше достаточно видел в Китае, предпринял такую утомительную поездку, но последующее щедро вознаградило меня за все. Сверчки не только принадлежали к какой-то совершенно новой, с научной точки зрения, породе — это было бы уже само по себе достаточно интересно — но кроме того вели себя самым странным образом.

Едва вступив на карту, они сначала, правда, беспорядочно бегали вокруг, но затем стали образовывать группы, враждебно относившиеся друг к другу. Внезапно на средину карты упало световое пятно радужного цвета (оно происходило от стеклянной призмы, которую «дугпа» держал против солнца, как я успел в том быстро убедиться) и спустя несколько секунд из мирных до тех пор сверчков образовался комок ужаснейшим образом раздирающих друг друга насекомых. Это зрелище было слишком отвратительно для того, чтобы я мог изобразить его. Шелест многих тысяч крыльев производил высокий, певучий звук, который проникал повсюду — в мозг и тело, слышалось верещанье — смесь столь адской ненависти и ужасных предсмертных мук, что я

никогда не смогу забыть его.

Густой, зеленоватый сок начал течь из-под кучи.

Я приказал «дугпе» немедленно прекратить все происходящее — он уже спрятал призму и теперь только пожал плечами.

Напрасно я старался разогнать сверчков палкой; их безумное стремление к убийству не знало пределов.

Подбегали все новые и новые толпы, копошащийся, отвратительный комок громоздился все выше и выше и достиг наконец высоты мужского роста.

На далеком пространстве вся земля кишела копошащимися, обезумевшими насекомыми. Беловатая, слипнувшаяся масса, тяготевшая к центру, одушевленная лишь единым помыслом: убивать, убивать, убивать.

Некоторые из сверчков, упав полуискалеченными с кучи и не имея более возможности взобраться на нее, раздирали самих себя своими же клещами.

Звенящий гул становился иногда настолько громок и отвратительно резок, что я зажимал уши, думая, что дальше не смогу вынести.

Наконец, благодарение богу, насекомых начало

становиться все меньше и меньше, подползающие толпы стали редеть и в конце концов вовсе исчезли.

«Что это он еще делает?» — спросил я тибетца, когда увидел, что «дугпа» по-видимому и не думает удаляться, а скорее хочет сконцентрировать свои мысли на чем-то. Он приподнял верхнюю губу настолько, что я мог ясно видеть его острые зубы. Они были черны, как смола, должно быть от принятого там жеванья бетеля.

«Он связывает и разрешает», — услышал я ответ тибетца.

Хотя я все время беспрестанно повторял, что то были лишь насекомые, нашедшие здесь свою смерть, все же я ощутил сильнейшее волнение и почувствовал себя близким к обмороку, в то время как из какой-то неведомой дали прозвучал голос: «Он связывает и разрешает!»

Я не понял, что должны были значить эти слова, и не понимаю их до сих пор; в дальнейшем не произошло ничего удивительного. Почему же я, несмотря на это, просидел не двигаясь несколько часов — не могу даже представить сейчас сколько? У меня исчезла воля к вставанию — иначе не могу объяснить этого.

Солнце постепенно спускалось, и окружающий

пейзаж и облака приняли ту кричаще красную и оранжево-желтую невероятную окраску, которая знакома всем, хоть однажды побывавшим в Тибете.

Впечатление от такой картины можно сравнить лишь с варварски раскрашенными стенами палаток европейских зверинцев, встречаемых на ярмарках.

Я не мог забыть слов: «Он связывает и разрешает!»; мало-помалу они приобрели в моем мозгу какой-то ужасный смысл — фантазия превратила содрогающийся комок сверчков в миллионы умирающих солдат. Меня душила невероятная тяжесть загадочной, чудовищной ответственности, которая становилась тем мучительнее, чем напраснее я искал для нее основания.

Затем мне снова показалось, что «дугпа» внезапно исчез и вместо него появился окрашенный в оливково-зеленый и ярко-алый цвета отвратительный идол — тибетский бог войны.

Я боролся с этим видением до тех пор, пока снова перед моими глазами не восстановилась голая действительность, но и она не была для меня достаточно реальна: испарения, поднимавшиеся из земли, зубчатые вершины великанов-глетчеров на дальнем горизонте, «дугпа» в красной

камилавке, я сам в моем полуевропейском, полумонгольском костюме, черная палатка с паучьими ногами — все это не могло быть действительностью! Реальность, фантазия, видение — что было на самом деле и что только казалось? В то же время мысли мои разбегались в разные стороны и возростал удушающий страх перед непостижимой, ужасающей ответственностью.

Позже, много позже, на обратном пути, все случившееся стало вставать в моей памяти, словно ядовитое растение, которое я тщетно старался вырвать из почвы.

Ночью, когда я не могу уснуть, во мне постепенно пробуждается ужасающее предчувствие смысла фразы: «Он связывает и разрешает!» и я стараюсь отогнать эту мысль, дабы она не нашла выражения в словах, а угасла в самом зародыше, как только что показавшийся огонь. — Но мне не помогают все мои старания — духовным оком я вижу, как над грудой мертвых сверчков поднимается красноватое испарение и превращается в облака, которые, окутывая небо страшным призраком урагана, плывут на запад.

И даже теперь, когда я это пишу, на меня нападает — я…я»…

— Здесь по-видимому письмо было внезапно

прервано, — заметил профессор Гоклениус: — к сожалению, теперь я должен сообщить вам то, что мне удалось узнать в китайском посольстве относительно неожиданной кончины нашего дорогого коллеги Иоганна Скопера в далекой Азии… — профессор не смог продолжать — его прервал громкий крик присутствующих: «Невероятно — сверчок еще жив — теперь — по прошествии целого года»!

— Невероятно! Поймайте его! Он улетит! — дико кричали все, перебивая друг друга. Ученый с львиной гривой раскрыл бутылочку и вытряхнул оттуда мнимоумершее насекомое.

Спустя одно мгновенье сверчок вылетел через окно в сад и ученые, устремившись за ним в погоню, чуть было не сшибли с ног появившегося в дверях старого музейного служителя Димитрия, который, ничего не подозревая, пришел зажигать лампы.

Качая головой, старик посмотрел на них сквозь оконную решетку и увидел, как они бегали взад и вперед с сачками для ловли бабочек. Затем он взглянул на темнеющее закатное небо и пробормотал:

— Какие странные формы принимают облака в это ужасное военное время! Вот, например,

сейчас одно выглядит точь-в-точь как человек с темным лицом в красной камилавке; это было бы вполне человеческое лицо, если бы глаза не были так широко расставлены. По правде сказать, можно еще сделаться теперь суеверным на старости лет!

РАСТЕНИЯ ДОКТОРА ЧИНДЕРЕЛЛА

Перевод с немецкого Е. Бертельса

Видишь ли там эту маленькую черную бронзу между подсвечниками? Она была причиной всех моих странных переживаний за последние годы.

Как звенья цепи связаны между собой эти призрачные беспокойства, высасывавшие из меня жизненные силы, и когда я прослеживаю эту цепь назад, в прошлое, исходным пунктом является всегда одно и то же — бронза.

Если я стараюсь найти другие причины, всегда выплывает она же, словно верстовой столб на дороге.

И куда ведет этот путь, к свету ли познания, или все дальше к разрастающемуся ужасу, я не хочу знать и цепляюсь за короткие дни отдыха, даруемые мне роком перед следующим потрясением.

В Фивах я выкопал ее из песка пустыни, — статуэтку, — совершенно случайно, палкой, и с первой же минутой, когда я внимательнее рассмотрел ее, я был охвачен болезненным любопытством узнать, что она, собственно говоря, изображает.

Вообще же я не любознателен.

Сначала я спрашивал всевозможных исследователей, но без результата.

Только один из старых арабских коллекционеров, казалось, догадывался, в чем было дело.

Изображение египетского иероглифа, предполагал он, и странное положение рук у фигуры обозначает, вероятно, какое-то неизвестное состояние экстаза.

Я взял эту бронзу с собой в Европу, и не проходило почти ни одного вечера без того, чтобы я не погрузился в самые странные размышления по поводу ее таинственного происхождения.

Часто мною овладевало неприятное чувство, словно я раздумываю о чем-то ядовитом, злом, коварно и с удовольствием дающим мне возможность освободить его из оков безжизненности, чтобы потом оно могло присосаться ко мне, как неизлечимая болезнь, и остаться мрачным тираном моей жизни. И однажды, при каком-то совсем постороннем занятии, у меня мелькнула мысль, разгадавшая мне загадку с такой силой и неожиданностью, что я вздрогнул.

Такие молниеносные откровения подобны метеорам в нашей внутренней жизни. Мы не знаем, откуда они пришли, мы видим только их

раскаленное состояние и падение…

Это почти-что чувство страха… потом… тихое… так… так… словно кто-то чужой… Что я хотел сказать… Извини, я часто становлюсь странно отсутствующим с тех пор, как мне приходится волочить за собой мою парализованную ногу… Да, ответ на мои размышления стал мне вдруг так ясен…

— *Подражание.*

И как будто это слово разрушило стену, так зародилось во мне сознание, что лишь это одно явится ключом ко всем загадкам нашего бытия.

Тайное автоматическое подражание, неосознанное, беспрерывное, — тайный руководитель всех существ…

Всемогущий, таинственный руководитель, — лоцман с маской на лице, молча на рассвете входящий на корабль жизни.

Приходящий из тех пропастей, куда направляется наша душа, когда глубокий сон закрывает врата дня. И, может быть, там, глубоко внизу, в ущельях бестелесного бытия, воздвигнуто бронзовое изображение демона, желающего, чтобы мы были похожи на него и стали бы его отображением…

И это слово: «подражать», этот короткий при-

зыв «откуда-то», вывел меня на путь, на который я тотчас же вступил. Я встал, поднял обе руки над головою так же, как статуя, и опускал пальцы до тех пор, пока не дотронулся до темени ногтями.

Но ничего не случилось.

Никакого изменения ни внутри, ни снаружи.

Чтобы не сделать ошибки в положении, я внимательно посмотрел на фигуру и заметил, что глаза ее были закрыты и как будто спали.

Тогда я понял в чем дело, прервал упражнение и подождал, пока не наступила ночь. Остановил тогда тикающие часы и лег, повторяя положение рук и кистей.

Прошло несколько минут, но я не могу поверить, что заснул.

Вдруг мне показалось, что из меня поднимается далеко раздающийся шум, как если бы большой камень катился в глубину.

И словно мое сознание вслед за тем упало с чудовищной лестницы, — перескакивая две, четыре, восемь, все больше и больше ступенек, — так рушилось толчками мое воспоминание о жизни, и призрак мнимой смерти навалился на меня.

Что наступило затем, этого я не скажу, это не скажет никто.

Правда, смеются над тем, что у египтян и халдеев была магическая тайна, охраняемая змеями Урея, тайна, которую из тысячи посвященных в нее никогда не видал никто.

Не может быть клятв, думаем мы, связывающих так крепко.

И я когда-то думал так же, но в тот момент я понял все.

Это не относится к числу данных человеческого опыта, восприятия в нем не идут одно за другим и не клятва связывает язык, а только одна мысль о намеке на эти вещи здесь, — здесь в этом мире, — и уже ядовитые змеи жизни нацеливаются на твое сердце.

Потому молчат об этой большой тайне, что она молчит сама о себе и останется тайной, пока стоит мир.

Но все это имеет только отдаленное отношение к тому опалившему меня удару, после которого я не смогу никогда оправиться. И внешняя судьба человека идет по другому пути, если хотя бы на одну минуту его сознание перейдет через границы земного познавания.

Это факт, и я живой пример тому.

С той ночи, когда я вышел из моего тела, я не могу назвать это иначе, изменился полет моей

жизни, и мое ранее столь спокойное существование устремляется теперь от одного загадочного, внушающего ужас переживания, к другому, к какой-то темной, незнакомой цели.

Кажется, что какая-то дьявольская рука дает мне отдых через все более короткие промежутки времени и выдвигает на мой жизненный путь картины ужаса, становящиеся с каждым разом все страшнее.

Словно для того, чтобы вызвать у меня новый, незнакомый род сумасшествия, — медленно и с крайней осторожностью, — вид сумасшествия, незаметный для окружающих и ощущаемый только тем, кто охвачен им, причиняющий ему неописуемые муки.

В один из следующих дней после того опыта с иероглифом, я сразу сделал открытия, принятые мною вначале за обман чувств: я слышал странно свистящие или резкие звуки, прорезывавшие повседневный шум, видел блистающие цветы, незнакомые мне до тех пор. Загадочные существа появлялись передо мной, неслышные и невидимые для людей, и производили в призрачной полутьме непонятные и бесцельные движения.

Так, например, они могли изменить свою форму и внезапно лежать как мертвые, спускались

потом как длинные слизистые веревки по водосточным трубам или сидели скрючившись, словно усталые, в тупой неподвижности в темных сенях.

Это состояние ясновидения продолжается у меня недолго, — оно растет и исчезает как месяц.

Постоянное уменьшение интереса к человечеству, желания и надежды которого проникают ко мне словно издалека, говорит мне, что душа моя постоянно находится на темном пути — далеко, очень далеко от человечества.

Вначале я позволял шепчущим предчувствиям, наполнявшим меня *руководить* собой, — теперь, — я, как запряженная лошадь, и должен итти по тому пути, на который меня направляют.

И вот, видишь ли, однажды ночью что-то заставило меня встать и погнало меня бесцельно по тихим улицам старого города ради фантастического впечатления, получающегося от этих старинных домов.

Неуютно в этой части города, как нигде в мире.

Так никогда не бывает совсем светло, никогда не бывает полного мрака.

Какой-то бледный, тусклый свет исходит откуда-то, и струится, как фосфоресцирующий пар, с Градшина на крыши.

Завернешь в какую-нибудь улочку и видишь мертвую тьму и вдруг, из какой-то щели, выглянет призрачный луч света и, как длинная злая булавка, вонзится в зрачки.

Из тумана вынырнет дом, — с обломанными плечами и уходящим назад лбом, и начнет таращить бессмысленно, как околевающий зверь, свои пустые чердачные отверстия на черное небо.

Стоящий рядом вытягивается, жадно стремясь посмотреть своими тлеющими глазами на дно колодца, чтобы узнать, там ли еще дитя ювелира, утонувшее сто лет тому назад. А если итти дальше по торчащим камням мостовой и вдруг взглянуть вокруг себя, захочется держать пари, что только что на вас из-за угла глядело губчатое бледное лицо, — но не на уровне плеча, — нет, совсем внизу, где могла бы быть голова большой собаки…

Ни одного человека не было на улице.

Мертвая тишина.

Древние ворота молча стояли.

Я свернул на Тунскую улицу, где находится дворец графини Морцин.

Там, съежившись, стоял в тумане узкий дом, имевший в ширину только два окна, чахоточное, злобное строение, там я остановился, прико-

ванный, и почувствовал, что меня охватывает состояние ясновидения.

В таких случаях я действую молниеносно, словно под влиянием чужой воли, и вряд ли знаю, что прикажет мне следующая секунда.

Итак, я открыл здесь только прислоненную дверь и, пройдя через какой-то проход, спустился вниз по лестнице в погреб, словно я был из числа обитателей дома.

Внизу незримые возжи, ведшие меня, как несвободное животное, были отпущены, и я остановился в темноте с мучительным сознанием, что действие совершено мною бесцельно.

Зачем я спустился вниз, почему у меня не явилось даже мысли прекратить такие бессмысленные выходки…

Я был болен, по-видимому, болен, и я радовался, что ничто другое, никакая таинственная, загадочная рука не принимала в этом участия. Но уже в следующий момент мне стало ясно, что я открыл дверь, вошел в дом, спустился по лестнице, не натолкнувшись ни разу, совсем как кто-то, знающий каждый шаг, и моя надежда рассеялась как дым.

Постепенно глаз мой привык к темноте, и я посмотрел вокруг себя.

Там, на ступеньке лестницы кто-то сидел. Как это я не задел его, проходя мимо.

Я видел сгорбленную фигуру, расплывавшуюся в темноте. Черную бороду на обнаженной груди. — И руки были обнажены. Только ноги, казалось, были в штанах или платке.

В положении рук было что-то страшное, они были странно отогнуты, почти под прямым углом к телу.

Долго я, не отрываясь, смотрел на человека. Он был так мертвенно неподвижен, что казалось, очертания его въелись в задний фон и останутся там до тех пор, пока не разрушится дом.

Меня охватил холодный ужас, и я бесшумно пошел дальше по коридору, вдоль его изгибов.

Один раз я схватился за стену и попал рукой в деревянную решетку, какую употребляют для того, чтобы выращивать ползучие растения. По-видимому их там было много, так как я чуть не повис в сети стебельчатых разветвлений.

Непонятно было одно, что эти растения или, может быть, что-либо другое, были на ощущение теплокровными и топорщились и вообще производили на осязание впечатление животных.

Я еще раз протянул руку, и испуганно отпрянул, на этот раз я дотронулся до шарообразного пред-

мета, величиною в орех, мокрого на ощущение и тотчас же отскочившего. Был ли это жук?

В это мгновение где-то вспыхнул свет и на одну секунду осветил стену передо мной.

Все страшное и ужасное, что я когда-либо переживал, было ничто по сравнению с этим мгновением.

Каждый фибр моего тела вопил в неописуемом ужасе.

Немой крик при парализованных горловых связках, пронизывающий человека, как ледяной холод.

Сетью из усиков кроваво-красных жилок была покрыта стена до самого потолка и из нее, как ягоды, смотрели сотни вытаращенных глаз.

Один из них, бывший только что в моей руке, быстро вздрагивая, двигался взад и вперед и зло косился на меня.

Я почувствовал, что упаду и бросился два, три шага вперед, облако жирных, гнилых запахов словно от грибов и айлантуса обдало меня.

Колени мои подкосились, и я дико колотил вокруг себя. Вдруг передо мной явилось маленькое, тлеющее кольцо: потухающий фитиль лампы, наполненной маслом, вспыхнувшей еще раз в следующую затем минуту.

Я бросился к ней и открутил дрожащими руками фитиль, так что успел спасти маленькое коптящее пламя.

Потом одним движением я повернулся, протягивая вперед лампу как бы для защиты.

Помещение было пусто.

На столе, где стояла лампа, лежал длинный, блестящий предмет.

Я протянул к нему руку, думая найти оружие. Но это была легкая, шершавая вещь.

Нигде ничего не шевелилось, и я облегченно застонал. Осторожно, чтобы не потушить пламени, осветил я стены. Везде те же деревянные шпалеры, как я теперь ясно видел, переплетенные, по-видимому, сшитыми венами, в которых пульсировала кровь.

Между ними ужасно сверкали бесчисленные глазные яблоки, чередуясь с противными ежевикообразными луковицами, и медленно провожали меня взглядом, когда я проходил мимо. Глаза всех размеров и цветов. Начиная с ясно сияющего ириса и кончая светло-голубым мертвенным лошадиным глазом, неподвижно поднятым кверху.

Многие из них морщинистые и почерневшие, походили на высохшие ягоды белладонны. Глав-

ные стволы все вырастали из наполненных кровью чашек, высасывая из них при помощи какого-то непонятного процесса необходимый для них сок.

Я наткнулся на чаши, наполненные беловатыми кусочками жира, из них росли мухоморы, обтянутые стеклообразной кожей. Грибы из красного мяса, вздрагивавшие при каждом прикосновении.

И все это казалось, были части, вынутые из живых тел, составленные с непонятным искусством, лишенные своей человеческой одушевленности и доведенные до чисто животного существования.

Что в них таилась жизнь, это я видел ясно, ближе освещая глаза, я замечал, что зрачки тотчас же суживались. Кто же был дьявольский садовник, занимавшийся этой ужасной рассадкой?

Я вспомнил человека на ступеньке погреба.

Инстинктивно я полез в карман за каким-нибудь оружием, и почувствовал там, положенный мною туда потрескавшийся предмет. Он сверкал тускло и чешуйчато, — еловая шишка из розовых человеческих ногтей.

Содрогнувшись, я уронил его и сжал зубы: прочь отсюда, скорее прочь, даже если человек

на лестнице проснется и бросится на меня.

И вот я уже был около него и хотел ринуться на него, и вдруг увидел, что он был мертв, — желтый, как воск.

Из выкрученных рук были вырваны ногти. Маленькие порезы на груди и висках показывали, что он был анатомирован. Я хотел пройти мимо него и, кажется задел его рукой. В ту же минуту мне показалось, что он соскочил с двух ступенек прямо на меня, встал вдруг выпрямившись передо мной, выгнув руки наверх, и приложив кисти рук к темени.

Как египетский иероглиф, то же положение, то же положение…

Я помню только, что лампа разбилась, что я распахнул наружную дверь и почувствовал, как демон столбняка взял мое содрогающееся сердце в свои холодные пальцы…

Тогда, наполовину проснувшись, я постарался, что-то объяснить себе, что человек был веревками подвешен за локти, и только благодаря тому, что он соскользнул со ступенек, его тело могло очутиться в стоячем положении… и потом… кто-то растолкал меня: «Вы должны отправиться к господину комиссару».

И я пришел в ярко освещенную комнату, трубки

для табаку были прислонены к стене, форменное пальто висело на вешалке… Это была комната в помещении.

Полицейский поддерживал меня. Комиссар сидел у стола и, отвернувшись от меня, бормотал: «Вы записали его национальность?»

— У него были при себе визитные карточки, мы взяли их у него», — слышал я ответ полицейского.

— Что вам нужно было в Тунском переулке, перед открытыми воротами?»

Длинная пауза.

— Вы, — сказал полицейский и толкнул меня.

Я прошептал что-то об убийстве в погребе в Тунском переулке. После этого полицейский вышел. Комиссар, по-прежнему отвернувшись от меня, сказал длинную фразу.

Я услышал только: «Что же вы думаете, доктор Чиндерелла большой ученый — египтолог, и он выращивает новые сорта пожирающих мясо растений, непентес, дрозерии, или что-то в этом роде, кажется, я не знаю… Вам бы следовало ночью оставаться дома».

Вдруг за моей спиной открылась дверь, я обернулся и увидел длинного человека с клювом коршуна — египетского Анубиса.

У меня потемнело в глазах, а Анубис сделал поклон, комиссар подошел к нему и шепнул мне: «Доктор Чиндерелла».

Доктор Чиндерелла…

И вот, в этот момент мне вспомнилось что-то важное из прошлого, что я тотчас же забыл.

Когда я вновь взглянул на Анубиса, он сделался писцом и имел только птичье лицо и отдал мне мои собственные визитные карточки, а на них было напечатано: «Доктор Чиндерелла».

Комиссар вдруг взглянул на меня, и я услышал, как он сказал: «Ведь это же вы сами и есть. Вы должны были бы по ночам оставаться дома».

И писец вывел меня из комнаты, и, проходя мимо, я зацепил за форменное пальто на вешалке.

Оно медленно упало и повисло на рукавах.

Его тень на выбеленной известковой стене подняла руки кверху над головой и я увидел, как она неловко старалась подражать позе египетской статуэтки.

. . . . . .

«Вот, видишь ли, это было мое последнее приключение три недели тому назад. Я с тех пор разбит параличом: у меня две совершенно различных половины лица и я волочу за собой

левую ногу.

Узкий чахоточный дом я искал напрасно, и в комиссариате никто ничего не знает о той ночи»…

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

ТАЙНА ГРАФИНИ БАРБАРЫ

Перевод с французского А. Смирнова

Человек, странную исповедь которого вы сейчас прочтете, был из хорошего венецианского дома. Я говорю — был, потому что за несколько недель до того, как я познакомился с настоящим документом, автор его умер в госпитале острова Сан Серволо, где он находился в заключении несколько лет.

Без сомнения это обстоятельство побудило любезного директора лечебницы для душевнобольных, г-на С., познакомить меня с этой симптоматичной галиматьей. Правда, я имел наилучшие рекомендации к г-ну С., и психомедицинские исследования, ради которых я явился в венецианский «Маникомио», служили гарантией моих намерений. Он знал, что я не злоупотреблю признаниями его покойного пансионера. Поэтому он без всякого колебания разрешил мне снять копию с помещаемого ниже документа, который я теперь публикую.

Впрочем, я это делаю без всякого опасения,

потому что события, в нем излагаемые, относятся ко времени за двадцать пять лет тому назад. И ровно двенадцать прошло с тех пор, как наблюдения, занимавшие меня тогда и позже мною оставленные, привели меня в Венецию. В те годы они до того увлекали меня, что мне не приходило в голову наслаждаться поэтичными и живописными красотами Города Дожей. Я кое-как, наскоро осмотрел его памятники и ни на минуту не подумал о том, чтобы вкусить отдохновение, которое предлагает этот единственный в мире город, где можно почти всецело забыть современную жизнь.

Среди стольких прекрасных вещей, которые я видел впервые в своей жизни, я был занят лишь своей работой. Сейчас я смотрю на вещи иначе и не без некоторого презрения вспоминаю о былом посетителе Венеции, который жил в ней как в любом городе, для которого базилика святого Марка была лишь одним из множества мест и который окидывал Дворец Дожей небрежным взглядом. Да, я довел мое безразличие до того, что поселился рядом с вокзалом! Выбирая это жилище, я принял в соображение лишь его удобство и недорогую цену. Из этих признаний явствует, что чувство красоты было в те годы совершенно во

мне атрофировано до такой степени, что самыми интересными для меня местами в Венеции были кафе Флориана, шербет которого я очень ценил, Лидо, где я любил купаться, и остров Сан Серволо, где любезный директор, заинтересованный моими исследованиями, давал мне свои просвещенные указания.

Ах, что за милый человек был этот сеньор С!... Я сохранил чудесное воспоминание о наших беседах в его рабочем кабинете на острове умалишенных. Окна этой комнаты выходили на террасу с тремя разного роста кипарисами, откуда открывался широкий вид на лагуну, в направлении Маламокко и Кьоджи. Мы часто располагались на ней, чтобы поговорить. Там царила удивительная тишина, лишь изредка прерываемая криком, доносившимся из помещения буйных больных, или, в часы отлива, скрежетом крыс, бесчисленная толпа которых копошилась в тине у подножия стен.

В одну из таких бесед на террасе вручил мне г-н С. документ, который вы сейчас прочтете и который я перевел с моей копии.

*

Маникомио на Сан Серволо

12 мая 18.. года

«Теперь, когда я прочно и окончательно признан сумасшедшим и заперт в этой лечебнице, по всей вероятности, до конца моих дней, ничто больше не мешает мне рассказывать правдиво и со всею точностью события, которые повлекли за собой мое заключение.

Пусть, однако, тот, кто, быть может, станет читать эти строки, не думает, что имеет дело с одним из маньяков, сочиняющим бесконечные жалобы на врачебную ошибку, жертвой которой они оказались, или изобличающих мрачные семейные интриги и интимные драмы, имевшие для них последствием утрату свободы. Нет, я далек от мысли жаловаться на мою судьбу и протестовать против принятых в отношении меня мер! Ни разу, с тех пор, как я здесь, план бегства не приходил мне в голову. Наоборот, моя келья на Сан Серволо для меня — не темница, а прибежище. Она обеспечивает мне безопасность, которую я нигде больше не найду, и я не имею ни малейшего желания покидать ее. Я благословляю толстые стены и крепкую решетку, оградившие меня, притом навсегда, от общества людей, в особенности тех из них, чья профессия состоит в том, чтобы судить человеческие поступки.

И в самом деле, если даже эти строки попадутся на глаза властям, они не будут иметь для них значения и для меня не представят опасности по той простой и вполне достаточной причине, что я медициною и судом зачислен в сумасшедшие. Это положение дает мне полную возможность говорить свободно. Мое сумасшествие служит мне охраной. Потому то, в момент прибытия сюда, я сделал все нужное, чтобы подтвердить мое состояние. Я катался по земле, делал вид, что хочу задушить служителя, нес чепуху с добросовестным старанием и ловкостью, способною обмануть меня самого. Не должен ли я был хорошенько укрепить свое положение, чтобы спокойно пользоваться даруемым им преимуществом ?

Ибо вы уже угадали, я в этом уверен: я вовсе не сумасшедший, но лишь жертва ужасного приключения, одного из тех приключений, которым люди отказываются верить и которые все же достоверны, хотя они и не вмещаются в наш слабый разум. Выслушайте же мою историю, а потом судите.

Первым несчастием моей жизни было то, что я родился бедным, вторым — то, что природа создала меня ленивым. Мои родители проис-

ходят из хорошего рода, но фортуна им мало благоприятствовала. Тем не менее, они дали мне превосходное воспитание. Я был помещен пансионером в одно из лучших заведений Венеции. В нем были многие сыновья знатных фамилий. Там то и познакомился я с графом Одоардо Гриманелли, о котором будет речь дальше.

Наши успехи в занятиях были посредственны, и, когда я закончил кое-как свое ученье, мои родители потребовали, чтобы я избрал себе профессию. В этот момент во мне заговорила моя леность. Она оказалась непобедимой, и в этом отношении я — истинный венецианец. К чему родиться в прелестнейшем городе мира, если нужно работать как всюду? Венеция сама по себе была для меня достаточным занятием. Я любил наслаждаться ею в ее настоящем и в ее прошлом. Я охотно проводил бы свое время, роясь в ее древних исторических архивах, но для этого нужны были деньги, а я был лишен их в полном смысле этого слова. Как помочь нищете, являющейся препятствием моему влечению к бесцельным прогулкам и любительским занятиям историей?

Однажды, когда я размышлял об этих трудностях, меня внезапно осенила мысль, которая и привела меня сюда. Я зашел в собор святого

Марка. Сев на скамью, я погрузился в созерцание драгоценного мрамора и мозаик, украшающих это чудо искусства. Все золото, там разлитое, вся эта сверкающая роскошь, превращающая внутренность церкви в грот, полный волшебства, меня гипнотизировали. При виде этого, ощущение моей бедности подавило меня, когда внезапно, сам не знаю почему, мне припомнилось содержание старых городских документов, которые я в это самое утро перелистывал в Архиве. Это был доклад инквизиторов по поводу некоего немецкого авантюриста, Ганса Глуксбергера, который утверждал, что обладает искусством превращать металлы. Он приехал для занятия этим в середине XVIII века в Венецию, где нашел много последователей!..

Тотчас же словно молния озарила мою мысль. Золотые своды святого Марка завертелись надо мной, и я почувствовал головокружение. Если эта чудесная тайна была раньше известна, то почему ей быть утраченной сейчас? Она наверное имела своих хранителей. Возможно было отыскать их следы, сблизиться с ними и быть ими также посвященным в искусство обогащения.

Мною было немедленно принято решение. Я добился от своих родных новой отсрочки и

погрузился в лихорадочное изучение трудов по оккультизму и алхимических трактатов. Вскоре я убедился, что возможность добывать золото отнюдь была не басней. Ганс Глуксбергер, без сомнения, владел этой тайной. Он наверное передал свою формулу кому-нибудь из его венецианских учеников. Эта уверенность удвоила мои силы. Я продолжал свои разыскания. Внезапно обнаружился след.

Среди учеников немца упоминалась некая графиня Барбара Гриманелли. Эта дама, по свидетельству современников, личность выдающегося ума, в течение нескольких лет восстановила сильно расшатанное благосостояние своей семьи. Это она отстроила заново дворец Гриманелли и украсила его фресками Пьетро Лонги. Для меня не оставалось больше никаких сомнений. Внезапным своим обогащением графиня Барбара была обязана обладанию чудесной тайной, живым наследником которой был ее правнук Одоардо!

О, да ведь лицо этой графини Барбары было мне хорошо знакомо! Я его отлично помнил, помещенное в центре композиции, где Лонги изобразил несколько членов семьи Гриманелли за карточными столами. Сцена была занимательна и полна жизни, с ее фигурами в натуральную

величину и обстановкой, до иллюзии передававшей действительность. Посреди игроков стояла графиня Барбара. Это была высокая женщина с жестоким и надменным выражением лица. Ее рука развертывала лист бумаги с кабалистическими знаками. Как эти знаки не натолкнули меня раньше на верный путь?

И не сразу ли теперь объяснялся образ жизни, который вел Одоардо по достижении совершеннолетия? Всем было известно, что отец Одоардо умер, растратив свое состояние; между тем, вот уже два года, как Одоардо позволял себе огромные расходы. Дворец Гриманелли был отремонтирован и великолепно обставлен. Одоардо совершал дорогостоящие поездки в Лондон и Париж. Не было ли это доказательством того, что он также обладал тайной графини Барбары и Ганса Глуксбергера, чудесной тайной, в которую и я хотел проникнуть?

Ибо этой тайной я хотел завладеть во что бы то ни стало. Мог ли Одоардо отказаться со мной ею поделиться, если моя проницательность открыла ее существование? Но как добиться моей цели! Первым условием было повидаться с Одоардо. Он был в то время в Венеции, и на следующий же день я отправился во дворец Гриманелли. Меня

привели в ту самую галерею, где находилась фреска.

Так как Одоардо медлил выйти ко мне, я имел время хорошенько рассмотреть произведение Лонги. Лишь одна фигура интересовала меня, фигура графини Барбары. Я был поражен ее жестоким и угрожающим выражением. Ее рука, казалось, с гневом сжимала тайнопись, все равно другим недоступную, желая скрыть ее от нескромных взоров.

Приход Одоардо прекратил мои размышления. Одоардо принял меня очень любезно. Он стал мне рассказывать о своем последнем пребывании в Лондоне, потом дружески спросил меня о моих делах. Решился ли я, наконец, избрать какое-нибудь ремесло? Я ответил на его вопрос уклончиво; в оправдание моей нерешительности я сослался на свою любовь к архивным занятиям.

Одоардо выслушал меня сочувственно. Очевидно, для него путешествия, игра и женщины были единственными возможными занятиями; правда, я понимал его, но и ученые разыскания также имеют свой интерес. Так, например, на днях я открыл любопытный факт, касающийся его прабабки, графини Барбары. Говоря это, я указал на ее портрет. Одоардо проявил некоторое

смущение, затем шумно расхохотался.

— Рассказывай! Я уверен, что ты тоже обнаружил какие-нибудь проказы моей почтенной прабабушки. Ах, господа ученые, вы всегда одинаковы! Вообрази, в Париже вышла брошюра одного молодого французского исследователя, утверждающего, что он нашел корреспонденцию самого компрометирующего свойства между графиней и авантюристом Казановой де Сенгальт.

И он поглядел на меня искоса. Я тоже принялся смеяться.

— О, мой дорогой Одоардо, это бы меня не удивило! Весьма возможно, что именно Казанова посвятил твою прабабку в алхимические процедуры и магические операции. Венеция того времени была полна кабалистов. Они приезжали туда даже из-за границы.

Одоардо больше не смеялся; им овладело явное замешательство, и он резко перевел беседу на другую тему. Он снова заговорил о необходимости для меня избрать карьеру. Он даже предложил мне помочь своими связями. Если в этом явится надобность, он всецело в моем распоряжении. Продолжая разговаривать, он тихонько позвякивал червонцами в жилетном кармане.

Бедный Одоардо, не этого я от тебя хотел! Мне

нужна была чудесная тайна добывания золота, и я твердо решил вырвать ее от тебя, лаской или силой. Мне оставалось лишь найти способ, как вырвать у тебя уговорами или насилием таинственную и несравненную формулу!

Я потратил несколько недель на обдумывание разных средств. Ежедневно я проводил долгие часы, раздумывая о них, в золотом гроте святого Марка. Часто я нанимал гондолу и уплывал на ней в самую пустынную часть лагуны. Тишина ее немых вод благоприятствует работе мысли. Однажды вечером, когда моя гондола скользила вдоль старых стен острова Сан Серволо, я остановился на следующем плане: я попрошу у Одоардо свидания наедине, и тогда, как только мы останемся с глазу на глаз, я сумею заставить его заговорить. Я обладал незаурядной физической силой и готов был на все, лишь бы достичь своей цели.

Мне пришлось дождаться возвращения Одоардо, который поехал в Рим, чтобы посмотреть какое-то театральное представление. Наконец, роковой день настал. Одоардо согласился принять меня в шесть часов. В половине шестого я направился к дворцу Гриманелли.

Все приготовления были сделаны. В кармане у меня был кляп и крепкая бечевка, при чем я

не забыл захватить и револьвер. Я был очень спокоен. Единственная мысль занимала меня: примет ли Одоардо меня в своей курительной комнате, или в галерее с фресками? Я предпочел бы курительную, более уединенную, но готов был примириться и с галереей. Как бы там ни случилось, я уверен был в успехе. Одоардо не окажет мне большого сопротивления, и, после того как я завладею тайной, он, быть может, даже простит мне прямоту моих действий.

С такими мыслями я достиг дворца Гриманелли, и меня провели в галерею. Наверху лестницы слуга, сопровождавший меня, удалился. Я тихо вошел. Одоардо стоял как раз около фрески Лонги, которую рассматривал с таким вниманием, что я успел подойти к нему незамеченным. Прежде, чем он успел издать крик или сделать движение, он уже лежал, с кляпом во рту, на полу. Я отер свой лоб, вынул револьвер и принялся объяснять ему, чего от него требовал. По мере того, как я говорил, Одоардо все более и более бледнел. Казалось, он меня не слушал, и глаза его были прикованы к одной точке на стене. Машинально я проследил за его взором. То, что я увидел, было так страшно, что револьвер выпал из моей руки и я оцепенел от ужаса.

На фреске Лонги, медленно, но упорно, графиня Барбара таинственно оживала. Сначала она пошевелила одним пальцем, потом всей кистью, потом рукою, потом другой. Вдруг она повернула голову, ступила вперед одной ногой, затем другой. Я видел, как заколыхалась материя ее платья. Да, графиня Барбара покидала стену, где, в течение полутораста лет, ее неподвижный образ пребывал плененным под красками и грунтом. Не оставалось сомнения. На том месте, которое она занимала на фреске, образовалось большое белое пятно. Графиня Барбара сошла сама на защиту тайны, за которую некогда, без сомнения, она продала душу дьяволу. Теперь она была в двух шагах от меня. Внезапно я почувствовал на своем плече ее тяжелую ледяную руку, меж тем как глаза ее смотрели на меня долгим и повелительным взором.

Когда я пришел в себя, я лежал на кровати, привязанный к ней крепкими ремнями. Одоардо беседовал с седобородым господином. Это был милейший директор лечебницы на Сан Серволо. Отец и мать плакали у моего изголовья. На маленьком столике лежали кляп, бечевка и револьвер. К счастью, я был отныне признан сумасшедшим, иначе эти вещественные до-

казательства могли мне причинить большие неприятности.

Все равно, я был очень близок к обладанию великой тайны, и если бы не эта проклятая графиня Барбара…»

*

Уже много времени прошло с тех пор, как я засунул среди своих бумаг признания пансионера с острова Сан Серволо, когда в прошлом месяце я приехал провести две недели в Венеции.

Однажды, прогуливаясь на площади святого Марка, я встретил моего друга Жюля д'Эскулака.

— Пойдемте, — сказал он мне, — взглянуть на фрески дворца Гриманелли, которые мне предлагают купить. Граф Гриманелли умер недавно в Лондоне, и наследники продают его фрески Лонги. Они вроде тех, что находятся во дворце Грасси.

Гриманелли! Это имя привлекло мое внимание. Где я его слышал?

Я последовал за моим другом д'Эскулаком, который продолжал:

— Досадно только, что живопись очень попорчена, и на ней недостает одной фигуры. Кажется, это случилось лет двадцать тому назад. Стена не

то треснула, не то облупилась. Эти венецианцы так небрежны, и к тому же граф давно не жил в своем дворце!

Мы пришли во дворец Гриманелли. Он находится в Сан Стаз, совсем неподалеку от Большого Канала. Сторож провел нас наверх.

Фреска Лонги занимала целый простенок галереи. На ней были изображены люди, сидящие за карточными столами. В середине было, в самом деле, большое белое пятно.

Тогда я вспомнил. Здесь помещалось когда-то изображение графини Барбары.

И в то время как Жюль д'Эскулак разговаривал на местном наречии со сторожем, я испытал перед лицом этого удивительного случая необыкновенное смущение и жуткое чувство.

ВСТРЕЧА

Перевод с французского Вс. Рождественского и А. Смирнова

Палаццо Альтиненго, о котором будет речь в нашем рассказе, это не тот дворец на Большом Канале, который приводит в восхищение туристов своим фасадом в ломбардском стиле, с кружками серпентинного мрамора и Нептуном с двумя трезубцами, стоящим на страже морских врат. Старинному и могущественному роду Альтиненго, одному из наиболее прославленных родов Светлейшей Республики, принадлежит в городе Дожа немало других зданий, построенных в различные эпохи и разбросанных по разным sestieri[1].

В Венеции это нередкий случай. Не насчитываем ли мы несколько дворцов Гримани — один у Сан-Поло, другой у Сан-Тома, один у Сан-Лука, и еще один у Санта Мария Формоза, и в добавление к ним еще — Гримани делла Вида? То же самое

---

[1] Сноски: 1
Кварталы.

с дворцами Контарини. У Контарини-Фазан есть братья — Контарини дельи Скриньи, Контарини делле Фигуре и Контарини дель Баволо. Три дворца Мочениго один за другим идут по Большому Каналу, который равным образом может гордиться тремя дворцами Корнер: Корнер Спинелли, Корнер делла Ка Гранде и Корнер делла Реджина.

Все проводники упоминают о двух дворцах Альтиненго — о том, что у Сан-Стаэ и о том, что у Сан-Бенедетто, но никто из них не называет третьего, а между тем именно с ним, почти забытым, связано у меня воспоминание о самом необычайном и необъяснимом случае в моей жизни, я сказал бы больше — о самом необъяснимом и необычайном событии всей моей жизни. Нет, конечно, ничего удивительного в том, что этот третий дворец Альтиненго оставался мне, усердному исследователю Венеции, неизвестным. Никто не может похвалиться совершенным знанием Венеции, сколько бы раз ни бывал он там и сколько бы времени там ни оставался. Никто, за исключением, быть может, моего друга Тиберио Прентинальи… Но прежде, чем рассказывать об обстоятельствах, сделавших меня на несколько месяцев обитателем этого необыкновенного до-

ма, мне представляется необходимым упомянуть о причинах, которые в конце сентября 189… г. побудили меня вновь предпринять путешествие в город, близкий моему сердцу.

Я буду в этом отношении краток, потому что не собираюсь писать «исповеди». Я никогда не любил поверять свои тайны, не считая себя настолько интересным, чтобы занимать собой чужое внимание. Все, что я хочу себе позволить, это — записать на этих листках действительные происшествия, которые я решаюсь назвать необычайными и которые еще более покажутся такими от того, что неожиданно свидетелем их является такой человек, как я, ничем не подготовленный к роли, правда, совершенно невольной, какую пришлось мне играть в этой истории.

Я человек самый обыкновенный, не выделяющийся из толпы ни определенными способностями, ни интеллектуальными заслугами, которые могли бы привлечь ко мне внимание. Я всегда жил только для себя, и мне всегда казалось естественным проходить среди людей незамеченным. В самом деле, ни одна черта во мне не является исключительной, даже мое пристрастие к Венеции, которое я разделяю с тысячами людей, не воображая, что от этого выигрываю. Италию,

и Венецию в частности, я люблю скромно, без честолюбивых притязаний. У меня никогда не было тщеславного желания фигурировать в светской хронике среди знати площади Сан-Марко или башенок Прокураций. Аристократические журналы никогда не отмечали моего присутствия на лагунах в то время года, когда пребывание здесь является признаком хорошего тона. Венеция никогда не была для меня поводом, чтобы щеголять замечательными костюмами и галстуками, производящими впечатление, а тем более — средством завязать знакомства с международными знаменитостями из мира искусств, литературы, финансов и аристократии, которые считают полезным для своей славы показаться раз в году на Пьяцетте между колонной Льва и колонной Крокодила.

Добавлю, что столь же мало, как и светские интересы, влекли меня в Венецию и ее редкостные произведения искусств, хотя я совершенно столько же, как и другие, способен оценить красоты зданий, картин и статуй. Я не бесчувствен и не совершенный невежда. И я также вкусил в Венеции этого рода наслаждения, которые она предлагает путешественнику. Ни Дворец Дожей, ни Сан-Марко не оставили меня равнодушным. Я

даже приобрел некоторые познания в различных областях венецианского искусства. Я не равнодушен к дивному изяществу кружев или хрупкому совершенству хрусталя. История старой Венеции, Венеции масок и серенад, мне стала достаточно близкой во всех мелочах своих нравов и обычаев. Я читал президента де Бросса и хорошо познакомился с Казановой, но в сущности мне достаточно Венеции самой по себе, и у меня нет потребности обращаться к ее прошлому, чтобы почувствовать все очарование живой Венеции.

Да, я это решительно заявляю, моя любовь к Венеции всегда была любовью естественной и простой, любовью родственной, чуждой снобизма и эстетизма, чуждой также и романтизма, любовью, если можно так сказать, реальной, сложившейся из отношений свободных и обдуманных. Венеция пленяет меня бесконечно. Я люблю ее климат, ее краски, ее свет. Образ жизни, который она позволяет вести и даже предписывает, отвечает моим вкусам. Здесь я особенно наслаждаюсь существованием среди тысячи вещей, приятно занимающих мои глаза и мои мысли. Нигде дни мои не текут с более очаровательной легкостью, и даже одиночество здесь лишено своей горечи. Нет места на земле, где

можно лучше принадлежать самому себе и выносить себя с меньшей скукой. Это удовольствие, которое дает мне Венеция, объясняет, почему я веду там существование, в достаточной мере уединенное. Во время моих многочисленных пребываний в этом городе, я заводил в нем мало знакомств, что мне чрезвычайно легко было сделать, так как я не принадлежу к числу лиц, присутствие которых возбуждает любопытство. Впрочем, я всегда избегал Венеции в то время года, когда она делается модным местом съезда, где прелестные дамы из общества, праздные снобы и претенциозные эстеты заседают на площади Сан-Марко в убеждении, что выполняют обряд тонкого изящества, высшего шика и неслыханной утонченности.

Я позволю себе отметить еще следующее. Никогда я не считал себя обязанным жить в Венеции «иначе», чем в других местах, — в особенной экзальтации и в необычном состоянии чувств. Никогда я не был склонен ждать от нее впечатлений исключительных. Венеция никогда не была для меня «Городом мечты» (сейчас, когда я пишу эти строки, я в последнем уже менее уверен, почему — станет понятным из дальнейшего); напротив, я всегда хотел от нее лишь ее очарова-

тельной, своеобразной, сладостной реальности. Когда я выходил из вагона, чтобы сесть в гондолу, это было для меня вполне естественным и не возбуждало никакого удивления. Гондола представлялась мне средством передвижения, как всякое другое. Я оставался нечувствительным к ее обаянию, воспетому в романсах, но по достоинству ценил морское изящество ее форм и удобства ее для плавания, однако все же решительно предпочитал ей прогулки пешком среди лабиринта переулков. Словом, пребывание в Венеции ничем не возвышало меня в собственных глазах. Я не испытывал от него ни гордости, ни тщеславия. Венеция мне нравилась, я ее любил; я охотно отдавался ее очарованию и власти, но не ждал от нее большего, чем то, что она дает всем и каждому. Я не принадлежу к числу тех, кого Венеция пленяет заранее и кому надевает на палец свое магическое кольцо; я никогда не драпировался в плащ венецианского романтизма.

Вообще говоря, обстоятельства, которые привели меня в первый раз в Венецию, были самые простые, какие только можно себе вообразить. Здесь уже многие годы жили г-н и г-жа де С., старые друзья моей семьи. Они снимали один из благородных этажей дворца, расположенного

на Сан-Тровазо и оборудовали его удобно и со вкусом. Этаж этот состоял из обширной галереи с большим количеством прилегающих к ней комнат, обставленных той милой старой венецианской мебелью, которую когда-то еще можно было найти у антикваріев. То были пузатые комоды, низкие диваны, кресла, более или менее выдержанные в стиле барокко, шкафы, этажерки и в особенности зеркала. Оба С. поселились здесь из любви своей к спокойствию и тишине, из желания мирно закончить свои дни, которые не обещали быть долгими. Г-жа де С. отличалась хрупким здоровьем, а ее муж страдал неисцелимым недугом. Внезапное ухудшение в состоянии здоровья г-на де С. заставило меня совершить поездку в Венецию, но когда я туда прибыл, острая опасность уже миновала настолько, что С. удержали меня у себя. Я провел целый месяц в гостях у этих очаровательных людей, которых очень любил.

Какой приятный отдых! Какое прелестное воспоминание сохранил я о старом дворце Сан-Тровазо и его ласковой семейной атмосфере! Г-н де С. не хотел, чтобы его слабость помешала мне вполне насладиться Венецией, и г-жа де С., несмотря на заботы, связанные с болезнью

мужа, согласилась быть моим проводником. Это была женщина умная и просвещенная. Она не обременяла моего внимания, не утомляла моего любопытства слишком обильными посещениями церквей и музеев. Из искусства Венеции она показывала мне только то, что могло внушить желание когда-нибудь познакомиться с ним ближе. В остальном она удовольствовалась тем, что разрешила мне сопутствовать ей в ее обычных прогулках. И это привело к тому, что я понял всю прелесть жизни в Венеции в качестве не туриста, эстета или сноба, но искреннего любителя света, красок, красоты, влюбленного наблюдателя очаровательной, причудливой, мирной и живописной венецианской жизни.

Покидая моих добрых и милых друзей, я обещал им вернуться в следующем году. Свое обещание я сдержал, но их уже не нашел в живых. Через несколько месяцев после моего отъезда они умерли один за другим, почти одновременно. Я путешествовал тогда по России; там я и получил это печальное известие. Оно причинило мне искреннее огорчение; но эта потеря, вместо того, чтобы отдалить меня от Венеции, напротив, привязала к ней еще более крепкими узами, — хотя в первый же раз, когда я проходил мимо дворца

Сан-Тровазо, сердце мое сжалось при взгляде на окна уже пустого этажа, на закрытых ставнях которого была наклеена полоска бумаги, по венецианскому обычаю означающая, что помещение сдается в наем. С тех пор я никогда не упускал случая в каждый свой новый приезд пойти приветствовать признательным воспоминанием жилище старых друзей, которые посвятили меня в очарование венецианской жизни и с дружеской гордостью любили повторять, что они «сделали меня венецианцем».

Я сделался им настолько, что пребывание в отеле уже казалось мне невыносимым. Милое гостеприимство моих друзей в Сан-Тровазо избавляло меня от этой неприятности; им же я был обязан и тем что нанял помещение, которое стало впоследствии моим постоянным убежищем. Я вспомнил, что они говорили однажды о Каза Триджани, где жили перед тем, как поселиться в Сан-Тровазо. Эта Каза Триджани, расположенная на Фондамента Барбаро, была занята двумя старыми девицами, сдававшими несколько комнат в наем. Комнаты были чистые, вполне пригодные для жилья; одна из них выходила окнами в узкий садик, где несколько розовых кустов цвели возле кипариса невдалеке от куртины ярко-красного

шалфея. В сестрах Триджани было нечто забавное и беспомощное, что мне нравилось. Я сделался их жильцом и всегда останавливался у них, когда приезжал в Венецию; а это случалось почти каждый год в продолжение пятнадцати лет.

* * *

Чтобы нарушить эту давнюю и милую ежегоднюю привычку, нужно было, чтобы тяжкие события возмутили все течение моей жизни. Так и случилось. В продолжение трех лет я переживал душевное потрясение, причинявшее мне большие страдания. Все, что я могу сказать (я уже предупреждал, что вовсе не собираюсь писать исповедь и стремлюсь изобразить не столько свои чувства, сколько сами события), все, что я могу сказать об этом периоде моей жизни, это — то, что он был полон такого волнения, что я ни разу даже не вспомнил о счастливых временах, когда осенью или весной на несколько недель я становился гостем Каза Триджани. На эти три года прервались мои поездки в Венецию, и лишь после того, как я начал оправляться от жестокой болезни, которой завершилось это тяжкое душевное испытание, я стал мечтать о возобновлении давних связей с очаровательным городом, куда

звало меня столько приятных и мирных воспоминаний. Быть может, именно здесь я скорее восстановил бы свои жизненные силы. Я признался в своем желании врачам, лечившим меня. Не одобряя вполне моих планов, они все же не стали противиться. Состояние моего здоровья было уже не таким плохим, чтобы путешествие казалось неблагоразумным. Последствия моей болезни сказывались в упорной бессоннице и повышенной нервности, к которым присоединялись искреннее отвращение к обществу и глубокая потребность в одиночестве. Венеция могла бы дать мне желаемое уединение. Почему бы, в самом деле, не произвести опыт? Лето с его тяжелой жарой подходило к концу. Сентябрь был на исходе, и мне предстояло застать на лагунах меланхоличную и спокойную красоту венецианской осени. Это было мне по душе. Я мысленно вновь видел кипарис в узком садике Каза Триджани и ярко-красный шалфей. Я вновь слышал крикливые дружеские голоса обеих сестер, стук деревянных башмаков по плитам Фондамента Барбаро, крики бродячих продавцов, возгласы «stai!»[2] гондольеров, огибающих угол

[2] Сноски: 2
«Стой!»

маленького канала, все простые шумы народной Венеции, а в небе — чудесные колокола Салуте и Джезуати. Решение было принято. Оставалось только телеграфировать сестрам Триджани о дне моего приезда.

Я помню хорошо, что составил телеграмму тотчас же после ухода доктора. Я поднялся с дивана, чтобы проводить его до двери и, возвратясь к столу, взял листок бумаги, чтобы написать текст депеши; потом я ее отдал, по крайней мере, так мне казалось, вместе с другими письмами слуге, для отправки по назначению. Как же могло случиться, что несколько дней спустя я нашел этот самый листок тщательно сложенным вчетверо и засунутым в одно из отделений моего бумажника? Откуда такая рассеянность? Эта оплошность, совершенная мною, не столь уж огорчила меня. Она просто доказывала, что болезнь ослабила мое внимание, и что мое выздоровление было еще очень непрочным. Я убедился в этом в то время, как смотрел из окна вагона на итальянский пейзаж, — ибо лишь между Вероной и Виченцой, в поезде, уносившем меня в Венецию, я обнаружил свой промах. Но исправить его было уже поздно; да это было и не так уж важно. Сестры Триджани, даже не предупрежденные заранее, всегда смогут

меня как-нибудь устроить у себя. Если комната, выходящая в сад, не окажется сейчас свободной, они предоставят мне другую.

Должен сознаться, это обстоятельство меня несколько обеспокоило. Хотя сестры не ответили на мою телеграмму по той основательной причине, что не получили ее, все же их молчание представлялось мне не обычным. Я упрекал себя за небрежность и испытывал от этого легкое раздражение против себя самого. Вообще, к чему был этот спешный, стремительный отъезд? Отчего было не подождать, пока мое здоровье окончательно укрепится? Кто меня торопил? Что я буду делать в этом далеком городе с моим бедным страждущим мозгом и сердцем, еще не нашедшим покоя? Обрету ли я в одиночестве то умиротворение, которого ищу и в котором желал бы утопить свою жестокую грусть? Не подвергнусь ли я всем неожиданностям и капризам воображения и, не будучи в силах сопротивляться, не отдам ли себя заведомо во власть его предательских обольщений? Не окажусь ли я беззащитным против скорбных и опасных видений, рождаемых сожалением и воспоминаниями?

Эти мысли сделали для меня конец путешествия мучительным. Однако, когда поезд вышел

из Местре и показались болотистые разливы лагун, опасения мои исчезли без следа. В то время экспресс прибывал к пяти часам, и когда он проходил по мосту, соединяющему город с твердой почвой, Венеция представала глазам путешественника во всем своем сияющем великолепии. Приближение к любимому городу всегда вызывало во мне чувство глубокого, неизъяснимого блаженства… Если в этот раз я не испытал такого наслаждения во всей его полноте, то все же я не мог не почувствовать себя удовлетворенным, когда, сойдя с поезда и покинув вокзал, увидел, как вода канала омывает ступени набережной, а над железными завитками гондол, построенных в ряд, высится в небе круглый серовато-зеленый купол Сан-Симеоне. Внезапно Венеция давних дней ожила в моей памяти, и в то мгновение, как весло ударило по воде, и уносившая меня гондола сделала тихий поворот, мне показалось, что я оставил за собой всю мою обремененную скорбью прошлую жизнь, и что сам я сейчас — только легкая тень, увлекаемая в молчание и свет, к умиротворению, спокойствию и забвению.

Эти мысли настолько занимали меня, что я почти оставался равнодушным к прекрасному зрелищу Венеции, вновь мною обретенной. Они

сопутствовали мне до того мгновения, как гондола коснулась ступеней Фондамента Барбаро, прямо против Каза Триджани. Она была все та же, эта старая Каза, с фасадом, выкрашенным охрой, темными ставнями и маленькой дверью, на которой висело медное кольцо звонка. Я взялся за это кольцо движением, какое делал уже сотни раз. Как всегда, переливчатый звон отозвался в глубине дома. Тотчас же послышались шаги на лестнице. Особа, отворившая мне дверь, посмотрела с удивлением на меня и на чемодан в моей руке. Я назвал имя сестер Триджани. Улыбка была мне ответом. Вот уже три месяца, как сестры Триджани уехали в Виченцу к больному брату, а весь дом занимает теперь английское семейство…

При других обстоятельствах я легко перенес бы эту маленькую неприятность, но моя болезненная чувствительность значительно преувеличила ее размеры. Легкое разочарование повергло меня в чрезмерное смущение, сила которого не соответствовала вызвавшей его причине. И Венеции есть двадцать пансионов, более или менее похожих на Каза Триджани; оставалось лишь выбрать один из них; но эта незначительная неудача показалась мне первым неблагоприятным предзнаменованием. Она вно-

сила словно едва приметную трещину во весь строй моих привычек, возобновление которых должно было способствовать возвращению моему в то прежнее состояние, когда эти привычки только что зарождались. Затянулась первая петля нити, которая со временем должна была опутать меня невидимой сетью. Неудача, сама по себе ничтожная, подействовала на меня самым гнетущим образом.

В этот день мне ничего более не оставалось, как направиться в отель. Поиски нового жилья я отложил до следующего утра. Я дал гондольеру первый адрес, пришедший мне на память. Я назвал, сам не зная почему, отель «Виктория», и, немного погодя, был водворен в комнате, хотя и банальной, но комфортабельной. Совершив необходимый туалет, я спустился в столовую, столь же банальную и комфортабельную. Был обеденный час. Мне хотелось лечь как можно скорее в постель после обеда, но когда я окончил его и закурил одну из длинных Virginia с продернутой насквозь соломинкой, которые мне нравятся своим острым, горьким запахом, меня потянуло совершить небольшую прогулку.

Лишь только я вышел на воздух, как ощутил большое удовольствие. Я был почти счастлив

почувствовать себя снова в ночной Венеции, по запутанным переулкам которой мне так часто приходилось блуждать. В самом деле, сколько раз бродил я наудачу в темном и причудливом венецианском лабиринте! Под конец я так с ним освоился, что уже ходил с уверенностью, почти непоколебимой. Но в этот вечер я тотчас же заметил, что привычная способность ориентироваться покинула меня. Несколько раз я принужден был останавливаться, не будучи уверен во взятом направлении, и раз даже попал в один из тех rami[3], не имеющих выхода и обрывающихся у rio[4], откуда приходится возвращаться обратно. Эти маленькие ошибки раздражали меня необъяснимым образом: в сущности, прогулка моя не имела определенной цели, и мне некуда было торопиться. Я продолжал брести наудачу. Мне казалось, что это лучший способ успокоить мучившую меня нервность, вызванную, без сомнения, долгой неподвижностью путешествия. Я решил усталостью победить бессонницу, без сомнения ожидавшую меня в комнате отеля. К тому же, эти долгие блуждания были частью мо-

---

[3] Сноски: 3
Разветвления, тупики.

[4] Сноски: 4
Каналы.

их прежних венецианских привычек, к которым я возвращался в суеверной надежде обрести в них наиболее сладостные часы моего прошлого!

Тем временем надвигалась ночь. Я это заметил по тому, как быстро затихали calli[5] и campi[6], по которым я проходил. Когда-то такое одиночество нравилось мне больше всего. Я наслаждался в нем тем, что называют весьма удачно «венецианской таинственностью»: быстрыми шагами прохожего, звуком скользящей гондолы, стуком каблуков по плитам, всплеском весла по воде, голосом, песней, тишиной, еще освещенными окнами темных фасадов, — но в этот раз ночная Венеция, которую я так любил, произвела на меня впечатление, которое мне было трудно себе уяснить.

Безусловно, это не был страх. Я достаточно долго жил в Венеции и достаточно освоился с венецианскими нравами, чтобы знать, что прохожий здесь пользуется полнейшей безопасностью. Обязанности vigili, — так именуют здесь полицейских, — довольно несложны. Роль их сводится к тому, чтобы задержать нескольких пьяниц, пыл-

---

[5] Сноски: 5
Улицы или переулки в Венеции.

[6] Сноски: 6
Площади и дворы.

ких любителей vini nostrani[7] и изловить изредка нескольких воров. Если не считать этих маловажных проступков, венецианцы — люди мирные, и можно блуждать как днем, так и ночью, в самых отдаленных кварталах, не боясь опасных встреч. Единственный риск — это возможность заблудиться и забраться в тупик. Впрочем, и эта неприятность в значительной мере предотвращена прекрасной системой уличного освещения, которая, сохраняя городу живописную полутьму, оказывается вполне достаточной для прохожих.

Таким образом, страх ни в какой степени не примешивался к беспокойству, истинная причина которого оставалась для меня загадочной и которое сменило мало-помалу то удовольствие, с каким я вышел на звонкие плиты calli. Было ли это вызвано неустойчивым состоянием моего здоровья, или сказывались еще свежие последствия неудачи с Каза Триджани? Как бы там ни было, но меня мало-помалу охватывала не поддающаяся определению тревога, — нечто в роде смятения, какое бывает, когда входишь в атмосферу, насыщенную неожиданностями. Эта тайная тревога скоро стала столь тягостной, что

---

[7] Сноски: 7
Местные вина.

я принужден был ускорить шаги, и я испытал истинное облегчение, когда после ряда поворотов, сделанных мною совершенно вслепую, случай, или вернее инстинкт, вывел меня прямо к огням площади Сан-Марко. Вид ее сразу рассеял мою тревогу, и, замедлив шаги, я прошел на Пьяцетту, которая открывалась, почти безлюдная, под небом, мраморным от густых облаков, в щели которых просвечивали звезды.

Было уже совсем поздно, и прохожие были редки под сводами Прокураций. Я всегда любил Венецию в этот час, когда знаменитые галереи простирают перед закрытыми магазинами свои длинные пустые коридоры, вымощенные блестящими плитами. Сколько раз, выйдя из кафе Флориан, я блуждал здесь! Но в этот вечер, усталый от долгой прогулки, я не стремился к роли одинокого перипатетика. С другой стороны, у меня не было большого желания возвращаться в отель. Я направился в кафе Флориан. Открытое всю ночь, оно давало приют запоздалым прохожим и предлагало им в качестве убежища свои расписанные залы с бархатными диванами.

* * *

Как известно, кафе Флориан состоит из несколь-

ких смежных маленьких комнат, по-разному обставленных и похожих на гостиные. К одной из них я чувствую особенное пристрастие. Стены ее украшены зеркалами и фресковой живописью, защищенной стеклом от табачного дыма и порчи. На фресках изображены представители разных народов в их костюмах. В особенности казались мне забавными две фигуры: турок в тюрбане и китаец с косой. Под этим китайцем, на красном бархатном диване, перед круглым мраморным столиком, доска которого вращается на одной ножке, было мое излюбленное место. Оно оказалось свободным, когда я вошел в почти пустую залу. В другом конце зала два венецианца вели беседу за стаканом воды, а в углу старик с красным носом смаковал последние капли рюмки strega[8]. Я заказал пунш-алькермес. Прежде, чем мне его подали, оба собеседника встали и вышли. Старик с красным носом приветствовал их рукой. Вскоре лакей принес заказанный мною пунш, напиток розового цвета, ароматичный и в то же время безвкусный. Я медленно сделал несколько глотков, и раздражение мое улеглось, сменившись приятным самочувствием. Положи-

[8] Сноски: 8
Ликер местного изготовления.

тельно, я хорошо сделал, что зашел в это старое и дорогое моему сердцу кафе Флориан и сел под китайцем, там, где когда-то провел столько вечеров. Я слегка повернулся к изображению на фреске. Китаец смотрел на меня с насмешливым добродушием; он, казалось, был доволен тем, что я навестил его, прежде, чем вернуться в отель, где я решил пробыть как можно меньше времени. С утра же я примусь искать другое жилище взамен Каза Триджани. Мне припомнилось множество семейных пансионов: пансион Доменико Сан-Грегорио, пансион Чимароза на Кампо Сан-Витале и еще некоторые. Но найду ли я там тот же спокойный образ жизни, как в Каза Триджани? Быть может, мне придется страдать от докучных соседей? А почему бы не снять мне несколько комнат в каком-нибудь старом дворце? Я бы обставил их скромно и жил бы, пользуясь полной свободой. Мое пребывание будет достаточно продолжительным, чтобы оправдать хлопоты по устройству жилища. Эта мысль мне понравилась. Если случай поможет, я найду какое-нибудь живописное обиталище в одном из уединенных кварталов, где Венеция еще очаровательнее от того, что более верна себе. Быть может, там, в тишине и спокойствии, я обрету, наконец, сладость

существования…

Пока я раздумывал об этом, красноносый старик исчез. Прохожие около Прокураций становились все реже и реже. Время от времени один из них останавливался на мгновение, заглядывал в кафе и удалялся, напевая или постукивая тростью по гулкому тротуару. Я смотрел на них рассеянно, когда внезапно внимание мое было привлечено высоким силуэтом, который встал перед окном, размахивая руками. Мгновенье спустя, чуть не опрокинув полой своего плаща пустой стакан, оставленный человеком с красным носом, мой приятель Тиберио Прентиналья уже сидел рядом со мной на бархатном диване и восклицал, сжимая мне руки:

— В Венеции! В Венеции! И не предупредив меня о приезде, меня, своего милого Прентиналью! В Венеции! И давно уже?

Если я называю синьора Тиберио Прентиналью своим другом, то потому, что он завладел этим именем с такой настойчивостью и уверенностью, что мне оставалось лишь подчиниться его сердечному расположению, столь решительному и деспотическому. Сказать по правде, я знал Прентиналью уже несколько лет, но это знакомство, присвоившее ему титул «друга», возникло менее

по моей охоте, чем по воле этого замечательного существа. Я подчинился неизбежному, — ибо для человека, более или менее регулярно появляющегося в Венеции, знакомство с Прентинальей неотвратимо. Прентиналья ведет себя так, что избежать этого совершенно невозможно. Для него вопрос чести — чтобы ни один иностранец не ускользнул от его дружеского расположения, которое, однако, он умеет сделать весьма приятным. Другом Прентинальи становишься прежде всего потому, что он этого хочет, а затем остаешься им уже по собственному желанию. И вообще, Прентиналья — человек, без которого в Венеции обойтись немыслимо.

Тиберио Прентиналья — долговязый малый, худой и неуклюжий, истый венецианец времен Светлейшей Республики, времен Гоцци и Казановы. Он одет в просторное платье, закутан в плащ, на голове фетровая шляпа. Лицо длинное и желтое, с большим носом, господствующим над ртом, тонким и извилистым, зараз болтливым и умеющим хранить тайны, с двумя тесно посаженными глазами, бегающими и живыми. Он пользуется своим лицом как маской. Благодаря этому, он походит на тип из итальянской комедии, с выражением лица живым, хитрым

и таинственным. В нем чувствуется гибкость и тонкость, и, хотя он любит прикидываться пылким собеседником, его обдуманное красноречие полно умной расчетливости. При всем том он кажется слегка неуравновешенным, чудаковатым, чуть-чуть сумасшедшим. Персонаж комедии или фантастического рассказа, он словно создан из сочетания нескольких обличий. В его характере немало черт противоречивых, но они связаны тончайшими нитями.

Прентиналья в одно и то же время суевер и безбожник, фантазер и практик. Можно было бы продолжить перечень противоположностей в его характере. В итоге, он — занимательное существо, о котором можно много спорить, но вывод будет всегда один: никто лучше его не знает Венецию в ее прошлом и настоящем, в ее искусстве и ее живописности, в ее старинных и современных нравах, в каждом ее камне, в самом неуловимом ее отблеске. Добавим еще — и со всеми ее обитателями, — ибо никто и ничто не ускользает от его внимания и любопытства. Как только вы вступили в Венецию, вы уже по праву принадлежите Прентиналье, и вам не приходится раскаиваться, так как он неистощим в средствах, всегда готов вам служить проводником и по-

средником, показать город и ввести в общество, руководить прогулками и устраивать желаемые встречи, а также дать сведения, в которых явится надобность. Он — живая хроника Венеции, услужливый посредник как в приобретении картины, так и в покупке зонтика. Он знает вдоль и поперек все и вся. Венецианец из венецианцев, он живет в Венеции, и живет ею в полнейшем смысле слова, притом самым честным образом. У него сто профессий и ни одной определенной. Он — исполнитель тысячи планов, остроумных или нелепых, какие могут возникнуть только в Венеции. По преимуществу он занимается продажей недвижимости, но может также служить экспертом по картинам и предметам искусства. Он устраивает дворцы для богатых иностранцев. Его операции простираются и на «твердую почву», у него есть дела в Местре, в Фузино, в Доло, в Мира, в Стра, в Падуе, в Тревизо. Это дает ему возможность жить в маленьком изящном палаццо, обставленном по венециански, где он готов продать все, что вы только у него попросите, — и тем не менее он любит свои вещи, потому что мой друг Прентиналья — человек со вкусом и знаниями. Я вспоминаю наши совместные посещения Архива и Академии, где он меня совершенно

очаровал верностью и точностью своих знаний. Он сделал Городскому Музею несколько ценных приношений, одно из которых — удивительный театр марионеток, представляющий персонажей итальянской комедии и Карнавала.

Сам он — одна из таких кукол, притом из числа наиболее забавных. Его можно было бы вообразить в labaro e baula[9] с белой маской, в парике и треуголке. Он не лишен ума, а при случае возмещает его красноречием. Он оживляется и приходит в возбуждение, затем погружается в долгое молчание, как будто оборвалась нитка, приводившая его в движение… О чем он думает в эти минуты? Какая-нибудь коммерческая комбинация? Любовная интрига? Замышляет ли какую-нибудь новую мистификацию (он любитель их, это тоже черта его характера), или обдумывает одну из тех фантастических историй, которые так любит рассказывать, под конец сам пугаясь, — ибо, как я уже говорил, он суеверен? Он верит в дьявола, в призраки, в выходцев с того света, в «духов», как верил в них добрый Карло Гоцци, о котором им написано исследование, не лишенное эрудиции. Он хвастается знани-

---

[9] Сноски: 9
Плащ (или домино) и маска.

ем Кабалы и утверждает, что ему известны все тайны гномов и саламандр. Он даже думает, что способен построить «пирамиду», как это делал Казанова для сенатора Бригадино и его друзей. Быть может, Тиберио Прентиналья и впрямь немного колдун, но во всяком случае он услужливый малый и приятный чудак, который, чтобы разрешить все трудности существования, проявляет немало фантазии и виртуозности.

Таков человек, который сел рядом со мной под «китайцем» Флориана. Если я позволил себе столь подробно остановиться на нем, то вовсе не потому, что ему придется часто появляться в моем рассказе. Мы встретимся с ним лишь в эпилоге этих происшествий, в которых он не скажу, чтобы был замешан, но все же принял некоторое участие в их завязке. Впрочем, если он и олицетворил собой лишь слепой случай, то уже и это оправдывает достаточно подробно начертанный мной портрет старого сотоварища моей венецианской жизни, вновь обретенного в этот вечер.

Возвращаясь к его внезапному появлению в кафе Флориан, скажу, что оно показалось мне как нельзя более кстати, чтобы выручить меня из затруднения. Прентиналья, конечно, немедлен-

но даст мне несколько адресов, и я смогу найти подходящее для себя помещение; но я предвидел, что прежде, чем удастся завести об этом речь, мне придется дать ответ на некоторые предварительные вопросы. Прентиналья уже повторял тот, который задал мне в первую минуту встречи:

— В Венеции! Давно?

— Сегодня приехал.

Этот ответ должен был успокоить Прентиналью в двух отношениях: подтвердив неизменность моих чувств к нему и безукоризненность его бдительности. Если бы я уже пробыл в Венеции несколько дней, не встретившись с ним и не постаравшись дать знать о себе, — этим я оскорбил бы его дружбу и нанес обиду его любопытству. Заметьте, впрочем, что за время моего трехлетнего отсутствия он ни разу не справлялся обо мне. Для Прентинальи вы существуете только в Венеции. Стоит вам уехать — и вы перестаете существовать; вы воскресаете, когда возвращаетесь. Я вернулся — и воскрес. Он засвидетельствовал это вздохом облегчения и удовлетворенности.

— В добрый час. Надолго, надеюсь?

Я ответил неопределенным жестом. Из всех моих забот мне хотелось рассказать Прентиналье лишь об одной. В самом деле, к чему посвящать

его в остальные? Зачем знать ему о моем страдании? Чем мог он помочь в моем горе? При всей его изобретательности и остроумии, что мог он придумать, чтобы освободить меня от самого себя? Какое заклинание могла дать ему его кабала, чтобы разрушить злые чары, державшие меня в плену? Все, что он мог для меня сделать, это — отыскать нужное мне убежище, где я мечтал в воображении вновь обрести мое ничем не омраченное венецианское прошлое, в котором занимал некоторое место и сам он, олицетворявший сейчас те приятные и живописные часы, когда мы почти каждый вечер собирались «под китайцем» в этом же самом кафе Флориан с Отто Гогенбергом и лордом Робертом Сперлингом. Это воспоминание дало мне средство прервать вопросы Прентиналъи. Помнит ли он, как в последний мой приезд, весной, мы все, Гогенберг, Сперлинг, он и я, сошлись, чтобы обменяться новостями? В те времена Гогенберг и Сперлинг были оба влюблены в тень Катарины Корнаро, кипрской королевы, и оспаривали друг у друга ее благосклонность. По счастью, ссора их кончилась примирением в погребке Джакомуцци.

Напоминание о нашем маленьком флориановском кружке заставило Прентиналью

рассмеяться.

— Как не помнить, милый друг, как не помнить! Бедный Гогенберг! Кончилось тем, что семьи потеряла терпение и отозвала его в свой богемский замок. Они перестали высылать ему деньги. Пришлось продать маленький дворец, отпустить доброго Карло и старика Пьерино, отказаться от ложи в театре Фениче и удалиться в этот чертов замок, полный подземных ходов и тайников, о которых он рассказывал нам такие чудесные истории. Бедный Гогенберг, — как он должен скучать там, стараясь за кружкой пива забыть равнодушие неумолимой кипрской королевы! А Сперлинг, напротив, окончательно поселился в Венеции. Он даже купил, вскоре после вашего отъезда, Каза дельи Спирити[10] и великолепно ее реставрировал. Да вы сами увидите, дорогой мой!

Каза дельи Спирити — дворец, расположенный около Сант-Альвизо, в той части лагуны, где она носит название «Мертвой лагуны» и где прилив почти не замечается. Это большое четырехугольное здание, давно необитаемое, потому что, говорят, его посещают духи.

---

[10] Сноски: 10
Букв. «Дом Духов».

— А как Сперлинг уживается с духами?

При этом вопросе Прентиналья внезапно принял встревоженный вид. Он задумчиво потер переносицу. Часто серьезность бывала у Прентинальи притворством, с помощью которого он подготовлял какой-либо комический эффект, но на этот раз он и в самом деле казался серьезным. Он подозрительно осмотрелся кругом, чтобы удостовериться, не наблюдает ли кто за нами. В этот поздний час кафе Флориан было пусто, но Прентиналья все же понизил голос.

— Дорогой мой, я не знаю, как Сперлинг уживается с духами, но вам не следовало бы шутить над этим, потому что здесь происходят вещи необычайные. Клянусь честью Прентинальи, можно подумать, что вернулись времена, когда добрый Карло Гоцци жаловался на проделки духов, не дававших ему покоя. Есть над чем подумать даже самым большим скептикам.

Он казался совсем серьезным, но я не доверял ему, зная его любовь к мистификациям.

— Расскажите же, Прентиналья, в чем дело.

Он снова посмотрел вокруг, словно желая удостовериться, что ничье нескромное ухо не подслушивает нас. Было ли это действительно предосторожностью или просто приемом, чтобы

подстрекнуть мое любопытство? Наконец, он решился и, еще более понизив голос, заговорил с конфиденциальным видом:

— Вы знаете, я не очень люблю говорить о некоторых вещах с неверующими, но я вам слишком много уже сказал, чтобы остановиться. Да, здесь происходят вещи необычайные. Вы сами сможете судить. Вы не торопитесь возвращаться в отель?

Я качнул головой отрицательно. Он продолжал:

— Вы знаете Таддео Тальвенти, директора Городского Музея? Это человек холодный, молчаливый, робкий и совершенно лишенный воображения — есть такие люди в Италии. Три дня тому назад он позвал меня, чтобы посоветоваться по поводу затруднительного случая. Вы, конечно, помните в зале IV, той самой, где висит персидский ковер, подаренный Венецианской республике Шахом Аббасом, витрину с небольшим бюстом из мягкой пасты? Очаровательный маленький бюст восемнадцатого века, такой выразительный, такой живой!

Прентиналья подчеркнул слово *живой*.

Я его, действительно, хорошо помнил. Я часто любовался этим чудесным произведением, поражавшим меня своей тонкой артистично-

стью. Лицо бюста, изображавшего, несомненно, какого-нибудь венецианского патриция, неотразимо привлекало внимание. Оно было длинное, худое, аристократическое, с большим носом и чувственным ртом. Все в нем выдавало человека, жадного к наслаждениям и влюбчивого. Он без сомнения страстно любил роскошь, яства, цветы, женщин. Но кроме того в этом лице было выражение ненасытного любопытства. Что вызывало любопытство этого венецианского вельможи, тайны сердца или тайны Республики? Сколько утонченности в этих внимательных и пылких чертах! Какова была его жизнь? Каковы его приключения? Как его звали? Не раз спрашивал я Прентиналью о происхождении этого бюста. Прентиналья справлялся у директора музея, — я помню это хорошо, — но не мог получить нужных сведений. Никто не знал, когда бюст вошел в состав коллекций. Листок о его поступлении несомненно затерялся. В каталоге нельзя было найти никаких указаний. Все, что о нем можно было сказать, это то, что он уже давно стоял в витрине. Что касается личности оригинала, об этом тоже ничего не было известно. Незнакомца это, видимо, забавляло, о чем свидетельствовала его загадочная и тонкая улыбка. Все эти подроб-

ности пришли мне на память во время разговора с Прентинальей.

— Да, да, мой друг, я помню этот бюст. Это одно из тех лиц, на которых прекрасно можно прочесть старое венецианское лукавство, такое обходительное и осторожное, а также любовь к жизни изящной и исполненной страстей… Но что же с этим бюстом случилось?

Прентиналья пристально посмотрел, поднял свои густые брови и наклонился ко мне.

— А случилось то, что он ушел.

— Ушел!

Тиберио Прентиналья кивнул утвердительно.

— Да, ушел… Вот уже неделя, как он исчез, и все поиски безрезультатны. Таддео Тальвенти позвал меня и рассказал мне всю эту историю. Согласитесь, что все это очень странно. Витрина осталась запечатанной, замок не тронут. Никаких следов взлома, ничего решительно, и тем не менее бюста больше нет…

Прентиналья замолчал и посмотрел на меня, словно для того, чтобы оценить эффект, произведенный его сообщением. Затем он продолжал:

— Вот видите, дорогой мой, не говорил ли я вам, что у нас происходят вещи сверхъестественные, непостижимые, недоступные разуму, совсем как

во времена Карло Гоцци, рассказавшего в своих мемуарах о том, какие штуки с ним разыгрывали тайные силы. И не пытайтесь меня уверить, что происшествие с бюстом вещь самая обыкновенная, что в один прекрасный день все объяснится само собой… Нет, расследование ведется очень тщательно, но до сих пор оно не дало никаких результатов. Уверяю вас, что Таддео Тальвенти очень щедр на этот раз…

Я внимательно посмотрел на Прентиналью. Действительно, история, которую он рассказал мне, была странной; но насколько она близка к истине? Не прибавил ли он чего от себя? Не хотел ли он меня мистифицировать? Но нет, сейчас он не был похож на человека, который шутит. Вдруг он снял шляпу и несколько раз провел ладонью по лбу. Пока он молчал и казался погруженным в размышления, я посмотрел на часы. Было два часа ночи. Я вдруг почувствовал, что падаю от усталости. Ощущение беспокойства, которое я испытывал во время своей послеобеденной прогулки, снова охватило меня. Наконец, Прентиналья нарушил молчание, резко постучав по столу, чтобы разбудить слугу, дремавшего в соседнем зале. И пока тот складывал монеты на металлическое блюдце, предназначенное для

этой цели, Прентиналья сказал мне:

— Идемте, дорогой мой, пора уж. Завтра утром мне предстоит ехать в Рим. Там я встречусь с лордом Сперлингом, чтобы совершить с ним вместе поездку по Сицилии. Какое счастье, что я вас сегодня встретил! Только к чему, черт возьми, я рассказал вам все эти диковины? Впрочем, вы ведь не суеверны…

Говоря это, Прентиналья смотрел на меня с вниманием, почти стеснявшим меня. Хотел ли он проверить, какое впечатление его рассказ произвел на меня? Без сомнения, мое лицо отражало состояние, в котором я находился, потому что он схватил меня за руку.

— И сумасшедший же этот Прентиналья! Забыв, что вы, мой бедный друг, сделали двадцать четыре часа по железной дороге, он удерживает вас здесь для пустой болтовни! Настоящий палач! Я провожу вас до отеля. Где вы остановились?

— В отеле «Виктория». Но я покину его, как только найду что-нибудь подходящее.

И, пока мы огибали угол Фрецциарии, я на ходу рассказал Прентиналье о неудаче с Каза Триджани и о плане, который пришел мне в голову. Он слушал меня, волоча за собой палку по плитам тротуара. Так мы дошли до двери моего отеля.

— Несколько комнат… в спокойном квартале… Да, я понимаю, чего вы хотите, и, пожалуй, мог бы вам это устроить. Какая, однако, досада, что мой отъезд мешает мне побыть с вами, чтобы помочь. Все-таки завтра утром я пришлю адрес, а также указания, где можно достать мебель. Через несколько недель я возвращусь, и мы встретимся «под китайцем». Сперлинг будет очень рад узнать, что вы здесь. Пока, дорогой друг, спокойной ночи. Не поддавайтесь дурному настроению, и да будет наша Венеция к вам благосклонна!

* * *

Была ли то усталость от путешествия, или некоторая нервность, вызванная впечатлениями первого вечера в Венеции, но только я спал очень плохо, сном тяжелым и прерывистым, и проснулся утром как раз за мгновенье до того, как в дверь ко мне постучали.

Швейцар подал мне письмо. Я узнал фантастический почерк Тиберио Прентинальи и его печать на конверте. Печатью служил вделанный в кольцо сердолик с выгравированными на нем кабалистическими знаками. Камень, очевидно, принадлежал некогда одному из любителей оккультивных знаний, которых было много в

Венеции XVIII века. Эта ценная вещь прекрасно подходила к замашкам мага, которые любил себе присваивать синьор Прентиналья; это было также одной из граней его многостороннего существа. Но в настоящую минуту меня больше всего интересовало его превосходное знание Венеции, благодаря которому, — в этом я не сомневался, — мне удастся получить желаемое помещение.

С этой мыслью я сломал магический воск печати. Прентиналья писал мне:

«Мой дорогой, дорогой друг.

Так как вы окончательно хотите сделаться венецианцем, я бы вам посоветовал отправиться, не теряя времени, на Фондамента Фоскарини, дом № 796. Вы позвоните у двери старого палаццо Альтиненго аи Кармини. Синьора Верана откроет вам и покажет комнаты, предназначенные ею для сдачи. Я не знаю в Венеции ничего более соблазнительного в духе XVIII века. Обставленный соответственным образом, ваш mezzanino[11] будет достоин галантного Казановы и фантастического Карло Гоцци. Вот адреса людей, у которых можете получить все для этого нужное. Синьора Верана окажет вам помощь во всем, что

---

[11] Сноски: 11
Средний (обычно второй) этаж дома.

вам понадобится. После своего возвращения я навещу вас в новом жилище. Что касается срока — Non so[12], как говорим мы, венецианцы. Жму вам руку по французскому обычаю.

Весь ваш

Тиберио Прентиналья».

Я сложил письмо. Я почувствовал себя, по правде сказать, слегка обманутым в своих ожиданиях, хотя в первое мгновение не мог разобрать, в чем собственно был разочарован. После минутного размышления я понял причину. Прентиналья давал мне все нужные сведения, но в его письме не было ничего относительно предмета нашего вчерашнего разговора. Ни слова о бюсте, исчезнувшем при столь таинственных обстоятельствах. Но существенно было то, что я получил адрес, и я повторил его себе несколько раз, одеваясь: Палаццо Альтиненго аи Кармини, палаццо Альтиненго…

Я знал в Венеции два палаццо Альтиненго, и должен сознаться, что совершенно не подозревал о существовании третьего, у Кармини, который указывал мне Прентиналья. Но церковь Кармини была мне хорошо известна, благодаря ее соседству

---

[12] Сноски: 12
Не знаю.

со Scuola[13] того же имени и ее очаровательными фресками Тьеполо. Не раз звонил я у дверей Скуолы и платил сторожу лиру за билет, чтобы пройти внутрь здания, подняться по лестнице с лепными сводами и полюбоваться плафоном большой залы со святыми и чувственными фигурами, тьеполовская грация которых сообщала этому месту характер одновременно часовни и бального зала. Церковь и Скуола часто привлекали меня в этот квартал Венеции, который я полюбил за его народный характер, особенно ярко выраженный в Кампо Санта Маргерита.

Этот последний, наряду с Кампо Сан Поло, один из самых обширных в Венеции. Он не привлекает внимания каким-либо значительным памятником, но я полюбил его площадь, выложенную плитами и окруженную бедными домами и мелкими лавочками бакалейными, фруктовыми, галантерейными или с фаянсовой посудой. Я полюбил толпу оборванных детей, которые оживляют это место своими резвыми играми, женщин в длинных шалях, проходящих здесь, торговцев жареной снедью и calamai[14], продав-

[13] Сноски: 13
Братство под патронажем какого-либо святого.

[14] Сноски: 14
Осьминогами.

цов поленты, тут же на месте изготовленной, всю эту кипучую толкучку, где лишь изредка можно встретить туристов, в большинстве случаев предпочитающих подъезжать в Кармини и Скуоле в гондолах по каналу.

Но мне не хотелось таким способом отправляться на поиски палаццо Альтиненго. Напротив, я хотел насладиться длинной прогулкой пешком. Я очень надеялся, что при этом не повторится то тягостное чувство, которое охватило меня накануне во время ночных блужданий и от которого оставался еще осадок какой-то физической подавленности; без сомнения, свежий воздух и яркий свет солнечного дня рассеят его.

Я решил для начала позавтракать в ресторане и направился в ближайший к отелю… Спросив блюдо scampi[15] и бутылку Valpolicella[16], я, после того как проглотил несколько нежных креветок и запил их двумя-тремя стаканами шипучего вина, почувствовал, что пришел в состояние полного душевного равновесия. Я уже давно отвык от этого ощущения и приписал это возвращению в мирную атмосферу Венеции. Не поступил ли я

---

[15] Сноски: 15
Креветки

[16] Сноски: 16
Местное легкое вино.

правильно, попросив приюта у гостеприимного и тихого города?

Эти мысли занимали меня вплоть до момента, когда я расплатился и слуга приблизил ко мне candela[17], чтобы я мог закурить свою Virginia, из которой я предварительно выдернул соломинку. После первых затяжек я посмотрел на часы. Пора было по вымощенным calli двинуться к Кармини и палаццо Альтиненго. Я поднялся и отправился в путь. Пройдя Сан Фантино, Сан Маурицио и Кампо Морозини, я достиг Моста Академии, откуда открывается величественная перспектива на Большой Канал.

Я слишком хорошо знаю этот вид, и все же всякий раз он вызывает во мне восхищение. Я никогда не могу без волнения смотреть на благородную кривую, описываемую этой водной аллеей. Такое же чувство и сейчас столь живо охватило меня, что, лишь сделав над собой усилие, я мог заставить себя продолжать путь. Я добрался до одного из любимых своих кварталов, по узким «calli» и тихим «fondamenta»[18] которого я в былое время часто бродил. Но в тот

---

[17] Сноски: 17
Свеча.

[18] Сноски: 18
Набережные вдоль каналов.

день я не был расположен к спокойным блужданиям. Какое-то нетерпение толкало меня скорее добраться до палаццо Альтиненго, указанного Прентинальей. Поэтому я избрал кратчайший путь, ведущий к церкви Кармини.

Оттуда мне уже нетрудно было отыскать и Фондамента Фоскарини. Они расположены по каналу Санта Маргерита и начинаются в виду церкви. Это узкая лента набережной вдоль парапета, к которой примыкают довольно ветхие и убогие на взгляд дома. Два здания выделялись из числа других. Они, видимо, были когда-то дворцами, а теперь, полуразрушенные и утратившие старинное великолепие, сдавались в наем по частям. Одно из них, принадлежавшее Фоскарини, дало имя набережной; другое, меньших размеров, но столь же пострадавшее от времени, было палаццо Альтиненго. Эта постройка XVIII века имела три этажа над mezzanino. Сероватая штукатурка, покрывавшая фасад, местами облупилась, но прекрасные архитектурные линии и гармоническое сочетание окон и пузатых балконов напоминали о том, как должно было когда-то выглядеть это здание. Впереди него было нечто вроде портала с колоннами, украшенными каменными вазами. От одной из колонн шли звонки во все этажи

дома. У звонка, проведенного на антресоли, была надпись с именем синьоры Вераны.

Прежде, чем потянуть за железное кольцо этого звонка, я отошел до самого парапета, чтобы оглядеть еще раз палаццо Альтиненго, в котором, следуя указаниям Прентинальи, мне предстояло поселиться. Только на окнах mezzanino белели бумажные полоски — знак того, что помещение сдается в наем. В остальных этажах, по-видимому, жили. Один из балконов был завешен шторами цвета охры; на другом горшки с цветами были подвешены в чем-то вроде салатных корзин. Запертые ставни mezzanino были выкрашены зеленой краской, сильно полинявшей. Общий вид жилья, убогий и малопривлекательный, свидетельствовал о большой ветхости его, но я доверял вкусу моего друга Прентинальи и потому решительно дернул за звонок, который должен был поставить меня лицом к лицу с синьорой Вераной и открыть мне доступ в палаццо Альтиненго.

Заскрипела проволока, после чего раздался звон колокольчика, отдаленный, надтреснутый. Я подождал с минуту. Никто не являлся. Так как мне не отворяли, я позвонил снова. Никакого ответа. Синьора Верана, видимо, была глуховата.

Я отступил на несколько шагов назад и снова поглядел на фасад здания. Солнце, только что бывшее за тучей, сейчас, ярко осветив дом, обнажило всю его дряхлость и убожество. Но это не только не оттолкнуло, но, напротив, странным образом привлекло меня к нему. Я внезапно ощутил очарование расшатанного и заброшенного строения, очарование неизъяснимое, но которое я все же пытался себе растолковать. Этот палаццо Альтиненго был одновременно таким благородным и жалким, таким изъязвленным и мрачным! А какая тишина кругом! Площадь перед церковью Кармини была пустынна. На мосту — ни души. На канале тихо стонали две пустые, укрепленные цепями барки. В воде яшмового цвета плавали срезанные листья овощей. На всем этом была печать смирения и таинственности, — самая подходящая рамка для старого полуразрушенного дворца, который, казалось, готов зашататься на своих изъеденных временем сваях! Нет, я не поселюсь ни в каком другом месте в Венеции, несмотря на то, что синьора Верана упорно не хочет отзываться. И еще раз позвонил, и опять безрезультатно; наконец, в раздражении, я дернул за кольцо звонка, ведущего в другой этаж. Не беда, если потревожу жильцов!

На этот раз мне посчастливилось, потому что на одном из пузатых балконов из-под желтой полотняной шторы выглянул старик. С высоты этой импровизированной трибуны он объяснил мне, что синьора Верана сейчас в Местре, но завтра утром она без сомнения вернется. Это сообщение меня успокоило; я решил, что до завтрашнего утра никто не снимет помещения, которое, не знаю почему, я уже считал своим. Но оно и разочаровало меня, ибо мне хотелось немедленно проникнуть в палаццо. Такая стремительность меня самого несколько удивила. С тех пор, как меня постигло горе и начались мои страдания, с тех пор, как жизнь превратилась для меня в ряд событий, лишенных интереса и безразличных в своей повторности, я в первый раз испытал определенное желание.

Я был бессилен перед фактом отсутствия синьоры Вераны, уехавшей в Местре; и в то же время я не мог без конца стоять у запертой двери, тем более, что небо снова омрачилось, и тучи, до сих пор рассеянные, сгустились и затянули его туманной завесой. Бросив последний взгляд на палаццо Альтиненго, я пошел наугад по соседним «calli», размышляя о странном интересе, внезапно возникшем у меня к этому полуразрушенному

дворцу, куда послал меня указующий кабалистический жест моего друга Тиберио Прентинальи, большого специалиста по найму помещений и великого знатока таинственной Венеции. Несколько капель дождя вывели меня из раздумья, в которое я был так долго погружен, что и не заметил, как оказался на порядочном расстоянии от Кармини, рядом с церковью, посвященной Сан Джованни Деколлато[19] на венецианском диалекте Сан Зан Дегола. Я вспомнил, что нахожусь в нескольких шагах от Городского Музея. Почему бы мне не зайти туда, чтобы переждать ливень? Если дождь затянется, vaporetto[20], делающий остановку на Фондако деи Турки, где находится Музей, довезет меня прямо до площади Сан-Марко.

Вся старая Венеция оживает в залах этого музея. Когда-то я провел много часов, рассматривая тысячи предметов, совокупность которых дает верное представление о старинных венецианских нравах: эстампы, оружие, ткани, костюмы, мебель, книжные переплеты. Но в этот раз, окинув беглым взглядом главную галерею, где среди

---

[19] Сноски: 19
Усекновение главы Иоанна Предтечи.

[20] Сноски: 20
Маленький пароходик.

трофеев и знамен помещен портрет Морозини Пелопонесского, я с внезапной поспешностью направился прямо к витрине, где не раз любовался когда-то маленьким бюстом венецианского патриция, о таинственном бегстве которого мне накануне рассказал Прентиналья. Я подошел к ней с большим любопытством. Место, где стоял бюст, было пусто, но все предметы, окружавшие бюст, были там по-прежнему. Те же, как и тогда, фаянсовые вазы из Бассано и Новы, те же чашки белого фарфора, украшенные миниатюрными пейзажами с позолотой. Отсутствовал лишь один таинственный патриций с загадочной улыбкой. В чьи руки попал он? И почему похититель среди стольких ценных предметов, наполняющих музей, выбрал именно этот? Что могло побудить к такому своеобразному воровству?

Ибо, конечно, здесь имело место воровство, и Прентиналья напрасно пытался меня мистифицировать своими сказками. Но какие же были для этого у него мотивы? Я слегка досадовал на него за нелепую болтовню. Он считал меня очень легковерным, но я совершенно не был расположен позволить смутить себя подобной чепухой. Воровство показалось моему другу Прентиналье слишком простым объяснением, и он заменил его

другим, которое было приятнее его воображению. Но это воровство, даже просто как воровство, было любопытным, ибо побуждения, в которых скрывалось какое-то определенное желание, оставались непонятными. Не прибегнул ли к такому средству какой-нибудь пылкий коллекционер, чтобы завладеть этим занимательным произведением? Но какое отношение могло все это иметь к сверхъестественным происшествиям, которые, по словам Прентинальи, разыгрывались в Венеции и к которым я относился весьма недоверчиво?

Размышления мои были прерваны раздавшимся подле меня кашлем сторожа. Долгое мое пребывание перед витриной привлекло его внимание. Без сомнения, на обязанности этого человека лежало наблюдение за посетителями, а мой вид должен был показаться ему подозрительным. Как бы от избытка усердия он не вздумал меня задержать! Это скомпрометировало бы меня в глазах синьоры Вераны, к которой я должен был завтра отправиться; таким образом коварный венецианский дворянин сыграл бы со мной злую шутку. Но я ничего не сделал, чтобы заслужить его недоброжелательство. А то что он вообще был коварен, он достаточно доказал уже

своим таинственным исчезновением, и не было надобности еще в других деяниях.

Подобные мысли забавляли меня, в то время как я пешком возвращался в свой отель. Я продолжал думать о том же и вечером, после обеда, сидя в кафе Флориан.

Я находился там не один, несмотря на то, что со мной «под китайцем» не было никого из товарищей прежних дней, ни Прентиньяльи, ни Сперлинга, ни Гогенберга. Помимо воли, я привел туда с собой моего неведомого венецианца. Я явственно видел его тонкое, насмешливое лицо и задавал ему вопросы, полные любопытства. Что делал он в жизни такого, что запечатлелось этой улыбкой, снисходительной и меланхоличной? По покрою своего платья и форме парика, он был современником Венеции XVIII века и несомненно знал все ее наслаждения, всю сладость и утонченность ее жизни. Он, без сомнения, много любил и был любимым. О чем думал он, гуляя под этими самыми аркадами Прокураций, в треуголке и бауте, с лицом, скрытым маской из белого картона? И от всего, что он делал, от всего, чем он был, остался только этот хрупкий бюст с насмешливыми глазами и тонким ртом, загадочный бюст, которому факт его исчезновения,

во всяком случае необычайного, придавал еще больше загадочности.

На этот раз синьора Верана оказалась дома, ибо на мой звонок ответило лязганье цепочки у замка большого портала. Приоткрылась щелка, и я толкнул дверь. Я оказался на узком дворе. В глубине, под аркой, начиналась широкая каменная лестница. Направо — другая дверь, довольно низкая и расписанная той же бледно-зеленой краской, как и ставни mezzanino. Вскоре я услышал за дверью тяжелые и заглушенные шаги. Немного погодя, чья-то рука подняла засов, и я очутился лицом к лицу с синьорой Вераной. Это была женщина лет шестидесяти, низенькая, коренастая, одетая в черное, с квадратным лицом, глубоко сидящими глазами, желтой кожей и седыми волосами. С виду подозрительная и молчаливая, она рассматривала меня с любопытством, лишенным доброжелательства. Однако, при имени Прентиньяли ее лицо озарилось подобием улыбки, и она сделала нечто в роде реверанса, не лишенного достоинства. После этого началась беседа. Синьора слушала меня, опустив глаза. Когда я с грехом пополам закончил речь, — так как мой венецианский язык далеко не безупречен, — сеньора Верана снова улыбнулась. Очевидно, я теперь

оказался ей более симпатичным, чем в первую минуту, и она почти участливо сказала в ответ:

— Синьор Прентиналья сказал верно: mezzanino сдается. Но предупредил ли он вас, что в комнатах долго никто не жил и что вам придется быть там в совершенном одиночестве, так как нет сообщения с другими частями дворца?

Mezzanino в самом деле, как сказала синьора Верана, представлял совершенно изолированное помещение. Входом в него служила зеленая дверь, на пороге которой мы беседовали. Лестница, замеченная мной в глубине узкого дворика, вела в другие этажи. В один из этих этажей должна была переселиться синьора Верана, если бы сдала mezzanino, в котором она временно занимала одну комнату. При этом она не отказалась бы, в случае если я поселюсь у нее, принять на себя уборку и присмотр за моими комнатами, несмотря на все неудобства, связанные с такими обязанностями.

Все эти не слишком благоприятные обстоятельства, изложенные синьорой Вераной, нисколько меня не смутили. Напротив, отсутствие соседей и одиночество мне пришлись по душе, как и весь заброшенный вид этого разрушающегося странного дома. И все же я задавал себе вопрос: почему

из всех помещений в Венеции, сдающихся в наем, Прентиналья указал именно на это, как на самое для меня подходящее? Большинство запущенных дворцов, расположенных в народных кварталах города, ничего не сохранили из своей старинной обстановки. Антикварии уже побывали в них. Палаццо Альтиненго постигла та же участь, что бы там ни писал в своем письме ко мне синьор Прентиналья. Более того, внешний вид дворца и положение его не представляли ничего особенно живописного. И, однако, я не сомневался в том, что у Прентинальи были свои причины, чтобы направить меня к синьоре Вералне. Во всяком случае, следовало осмотреть mezzanino.

Синьора Верана согласилась удовлетворить мое желание. Не без вежливости она извинилась, что ей придется идти впереди меня, чтобы показать дорогу. За дверью оказалась довольно темная лестница; под ногами я ощутил, как стерты ее ступени. Поднимаясь, я заметил, что стены покрыты селитрой. Палаццо Альтиненго должен был быть очень сырым. И это еще в хорошее время года! Что же будет зимой? Я уже хотел обратить на это внимание синьоры Вераны, когда она остановилась перед запертой дверью.

С некоторым удивлением и легкой надеждой

я рассматривал, стоя у порога, эту дверь, ибо она была действительно прекрасна — из цельного дерева, узловатого, чудесно отполированного и в жилках, украшенная медной оправой. Пока синьора Верана возилась с испорченным засовом, я заметил что-то блестящее среди коричневых и черных плит пола. Между маленьких мраморных кубиков, его составлявших, был вкраплен кусочек перламутра. Эта странность меня заинтересовала. Я вспомнил моего Прентиналью и начал понимать, почему он счел палаццо Альтиненго достойным посещения и посоветовал мне нанять у синьоры Вераны в отдаленном и пустынном квартале Кармини этот mezzanino, где у порога вставлен маленький кружок перламутра, подобно мушке на лице какого-нибудь венецианца белых времен.

Вестибюль, куда мы вошли, оказался довольно обширным. Стены были приятно украшены лепными арабесками и вязью, серыми на розовом фоне. На потолке такая же лепка окаймляла медальоны, сюжеты которых трудно было разобрать в полутьме. Все это, само собой разумеется, имело вид крайне ветхий. Краска на стенах облупилась, и лепка потрескалась, но все вместе дышало прелестью изящества и увядания, со-

ставляющей очарование старых венецианских жилищ, оскудевших и меланхоличных. Из вестибюля несколько дверей того же узловатого в жилках дерева вели в разные части помещения. Синьора Верана открывала дверь в просторную комнату, столь же темную, где я тем не менее сразу заметил великолепный камин старинного зеленого мрамора. Я рассмотрел его лучше, когда синьора распахнула ставни окон, выходивших на канал святой Маргериты. Кроме этого камина, в комнате не было ничего замечательного, Клочья обоев свисали со стен. По правде сказать, она была совершенно неприспособлена для жилья, и я уже начал опасаться, что мне не придется поселиться в палаццо Альтиненго. Поэтому я уже с меньшим интересом последовал за синьорой Вераной в соседнюю комнату. Эта вторая комната, несравненно лучше сохранившаяся, чем предыдущая, была любопытна и своеобразно отделана. Правда, потолок дал много трещин, а панно, утратив ткань, заполнявшую их когда-то, были затем закрашены, но эти опустошенные панно были окружены лепными гирляндами и увенчаны медальонами с мифологическими фигурами весьма тонкой работы. На мозаичном полу развертывалась гирлянда плодов и цветов,

выходившая из четырех рогов изобилия, изображенных в четырех углах комнаты. Все вместе проявляло очаровательный вкус и создавало очаровательную гармонию красок. К сожалению, я не видел никакой возможности воспользоваться этим, и мне показалось самым разумным унести отсюда приятное воспоминание и искать другое место, где бы поселить своих пенатов, чем в этом mezzanino причудливого, но слишком неудобного палаццо Альтиненго. Я уже хотел сообщить об этом синьоре Веране, но она исчезла, и я услышал стук растворяемых ставней в следующей комнате, куда она проникла раньше меня и на пороге которой я внезапно остановился в восхищении. О, теперь я вполне понял моего друга Прентиналью!

Это было нечто вроде зала, почти квадратного, с двумя окнами, между которыми находился камин желтого мрамора, увенчанный зеркалом с золочеными завитками. Окраска стен соответствовала тону мрамора и старинного золота. Стены были выкрашены в желтый цвет прелестного тона, благоуханного как мед, и на этом фоне чудеснейшего и нежнейшего тона вырисовывались, образуя симметричные арабески, белые лепные украшения. Эти арабески, удивительные

по рисунку и фантазии, обрамляли на трех стенах комнаты большие панно из белого фаянса, изображавшие в золотом и черном тонах сцены из китайской жизни. Справа и слева от каждого из них — два других панно меньших размеров, в таких же лепных рамках. По потолку шли декоративные украшения в том же китайском стиле, дополненные изображениями — al fresco птиц, цветов и насекомых. В полу были вкраплены там и сям кусочки перламутра, а в одном из углов салона высокое зеркало в раме желтого мрамора отражало комнату во всей ее пышной и причудливой фантастичности, во всей ее таинственности, неожиданной и очаровательной.

Не раз любовался я в Венеции тончайшей лепкой, в которой так искусны венецианские мастера, но никогда не видел я ничего подобного тому, что было сейчас передо мной, ничего, приближающегося к столь прекрасной фантазии. Зеркала, арабески, фигуры, фаянс — все это составляло одно целое, несравненное по своей утонченности и изяществу. Удивительно и странно было встретить это неожиданное чудо, сокрытое в старом дворце с серым фасадом и зеленоватыми ставнями, расшатанного, загрязненного, нищенски жалкого в своей неизлечимой ветхости.

О, Прентиналья предугадал, что меня должен очаровать такой вид, когда направлял меня к этому древнему палаццо, затерянному в дальнем квартале Венеции! Не было другого места, более способного, с его тишиной и отдаленностью, дать приют моему одиночеству, смягчить его этой атмосферой позлащенного меда, занять этими навевающими мечтательность арабесками, развлечь этими китайскими фигурами, которые могли бы стать милыми игрушечными собеседниками в моем меланхолическом досуге.

Я повернулся к синьоре Веране:

— Это как раз мне подходит, синьора Верана. Приготовьте, пожалуйста, контракт, — я хотел бы переехать сюда как можно скорее.

Синьора Верана, не обмолвившаяся ни одним словом за все время моего посещения, изъявила свое согласие кивком головы. Такая немота показалась мне добрым знаком. Мне нечего было бояться болтливости со стороны синьоры, которой предстояло вести мое хозяйство. Эта молчаливая особа будет той *домоуправительницей*, о какой можно только мечтать; да, именно таким именем хотелось ее назвать, ибо Верана выдержанностью своих манер заметно отличалась от обычных прислужниц. Правда, она не обладала

жеманной приветливостью добрых сестер Триджани, но взамен тысячи знаков заботливости, которыми меня осыпали милые старушки, я, по крайней мере, найду в этой матроне с не слишком привлекательным, но корректным выражением лица, уважение к моим привычкам и необходимейшим требованиям.

По другую сторону вестибюля имелось еще несколько комнат, входивших в состав mezzanino. Мне пришлось пройти и туда вслед за синьорой Вераной. В одной из этих комнат, рядом с небольшой кухней, она временно обитала сама. Она кратко пояснила мне, что, как только я въеду, она переберется к друзьям, жившим в одном из этажей дворца. Таким образом, предупредила она, я буду совсем один в своем обиталище. Она будет приходить туда только ради тех несложных услуг, о которых я просил ее. За исключением этой комнаты, более или менее пригодной для жилья, вся эта половина дворца была в состоянии полнейшего разорения и серьезно грозила обрушиться. Мои владения заканчивались довольно большой залой, из которой наружная лестница вела в сад с огородом и несколькими деревьями. В конце сада находилась причудливая постройка, нечто вроде маленького храма с колоннами и

фронтом: то было старое Казино[21] палаццо. Я все это едва окинул довольно равнодушным взором. Я спешил скорей вернуться в лепной зал.

Луч солнца еще более позолотил его и сделал еще прекрасней. Атмосфера светлой печали наполнила его, и я почувствовал в груди стеснение от неизъяснимого волнения. Не вторгся ль я беззаконно в эти места? Не потревожу ль я их запустения? По какому, в сущности, праву проник я в их таинственную тишину? Увы, я, во всяком случае, буду не очень стеснительным пришельцем! Я не принесу с собой ни шумной радости, свойственной молодости, ни смеха — спутника здоровья. Я стал так мало причастен к жизни, а между тем именно в надежде ожить вернулся я в эту Венецию, чтобы отыскать в прошлом моем связь, которая бы скрепила с нею мое теперешнее горестное состояние! Тщетная попытка, безумная надежда! Едва живого, приютит меня в своем полумертвом спокойствии старый палаццо Альтиненго. И вдруг, в большом зеркале я увидел себя стоящим в мраморной раме его, далеким и неясным, как если бы образ мой внезапно вошел в отраженный и немой мир теней…

---

[21] Сноски: 21
Домик в саду, павильон.

* * *

Потребовалась целая неделя, чтобы сделать пригодным для жизни мое новое обиталище. Первой моей заботой было произвести в нем полную и обстоятельную чистку. Этим занялась синьора Верана с помощью двух старух-соседок, которые старательно обтерли стены и вымыли мозаичный пол, не жалея воды. Пока обе работницы трудились над этим, я разыскал для своего уголка во дворце необходимую мебель. Благодаря адресам, которые Прентиналья, уезжая, мне оставил, мне удалось достать на прокат очень чистую железную кровать с новым матрацом и туалет, снабженный всеми принадлежностями. Я купил необходимое белье. Что же касается мебели, то мне претила мысль обезобразить свое фантастическое жилище модными предметами дурного вкуса, и я решил обратиться к почтенному Лоренцо Зотарелли.

Зотарелли — венецианский антикварий. Его рекомендовали мне когда-то мои друзья С., которые были им довольны, — и мне не пришлось раскаяться. Правда, не все то, что продает Зотарелли, действительно старинные вещи, но, если он в этом прямо и не сознается, то все же, пред-

лагая предметы сомнительные, улыбается тонко, но достаточно выразительно, чтобы при некотором навыке можно было догадаться о подделке. Если покупатель не понимает предостережения и упорствует в желании купить, Зотарелли не позволяет себе возражать ему. Нельзя с него требовать слишком многого. В каждом ремесле — своя мораль, и она есть и у Зотарелли. Поделом невежественным любителям и самонадеянным знатокам! Таким образом, Зотарелли по своему честен, а кроме того, он вообще — человек превосходный, поистине любезный и услужливый.

У него была в Спадарии, за площадью Сан-Марко, небольшая лавочка, заваленная в беспорядке стеклянными изделиями, фаянсом, кружевами, изящными безделушками; но около Санта Мария Формоза был другой его магазин, где находились более крупные предметы. Много раз приходилось мне прибегать к услугам Зотарелли, ибо, хотя я и не коллекционер, я не мог отказать себе в удовольствии, когда бывал в Венеции, приобретать кое-какие предметы венецианской старины. Было поэтому вполне естественно, что я обратился в данных обстоятельствах к нему; именно я хотел купить у него нужные предметы старинной мебели с тем, чтобы при моем отъезде он взял их

обратно у меня.

Когда я вошел в лавку на Спадарии, Зотарелли распаковывал стеклянный венецианский сюртудетабль, состоявший из ваз, статуэток, балюстрад, колонн и портиков, и превращавший стол, на котором его расставят, в маленький, хрупкий, очаровательный сад. Углубившись в свою сложную работу, он не заметил, как я вошел, и я мог на свободе понаблюдать его, чего мне раньше никогда не приходилось делать, так как мое внимание обыкновенно привлекали более сами вещи, чем продавец. Зотарелли показался мне маленьким толстым человечком с большой головой и проворными руками. Я продолжал удивляться его ловкости, как вдруг он заметил меня, что заставило его испустить радостное восклицание. За этим последовала деловая беседа, в которой я непринужденно изложил ему свои намерения относительно палаццо Альтиненго. То, что я там поселяюсь, как будто слегка удивило его, так как он посмотрел на меня со странным выражением. При имени Прентинальи у него промелькнула гримаса, которую я уловил, объяснив ее себе какими-нибудь неладами. К этой гримасе Зотарелли не присоединил никаких комментариев и предложил мне немедленно пройти с ним в его

магазин на Санта Мария Формоза.

Когда я выбрал мебель, показавшуюся мне наиболее подходящей, он сказал:

— Итак, все это я должен отправить в палаццо Альтиненго аи Кармини, к синьоре Веране.

Значит, он знал синьору Верану? Вот случай получить сведения об этой особе! Кто она такая? Можно ли на нее положиться? Как это произошло, что она получила право отдавать в наем один из этажей этого полуразрушенного дворца?

На мои вопросы Зотарелли, обычно охотно болтавший, отвечал уклончиво и сдержанно, как человек, который предпочитает молчать. Синьора Верана — дама из хорошей семьи, она перенесла много несчастий. Он и знал ее, и не знал. Она на долгое время уезжала из Венеции. Это, вероятно, весьма почтенная дама, но он затрудняется что-либо о ней сказать. Разве знаешь людей! И лицо Зотарелли приняло выражение, которое появлялось, когда заходила речь о предметах сомнительных. Мое любопытство было задето. К чему эти недомолвки! И, так как я был настойчив в вопросах, он, наконец, сказал с некоторой резкостью:

— Я больше ничего не знаю. Черт возьми, расспросите синьора Прентиналью, который на-

правил вас туда, в этот палаццо Альтиненго. Да, вот, я вспомнил еще: эта Верана была, кажется, одно время экономкой у лорда Сперлинга, в Каза дельи Спирити. Потом она оставила это место. Поговаривали, что она хотела открыть семейный пансион во дворце Альтиненго, но дом этот расположен неважно и к тому же требует слишком большого ремонта. И кроме того… кроме того… Нам ничего больше не потребуется?

Очевидно, мое решение поселиться в этом уединенном и ветхом дворце, вдали от оживленных кварталов Венеции, от площади Сан-Марко и Спадарии, удивляло милейшего Зотарелли. Он не позволил себе ничего прямо высказать, но было заметно, что он не одобряет моего проекта. Он с грустью представлял себе, как его мебель увозят в далекий mezzanino на Фондамента Фоскарини. Тем не менее он обещал мне отправить ее туда завтра же, причем я обратил внимание на то, что, обычно такой услужливый, он не предложил сопровождать ее лично и помочь мне ее там расставить. У Зотарелли было против Прентинальди, синьоры Вераны и палаццо Альтиненго предубеждение, которого я не мог себе объяснить. Душа венецианца сложна и загадочна, и я хорошо знал, что ничего больше не добьюсь от

моего милого антиквария.

Мне оставалось еще выполнить несколько дел перед тем, как итти обедать. Я хотел купить для старух, которые привели в порядок мое жилище, две шали, какие продаются в лавочках на Риальто. Я было направился в ту сторону, как вдруг почувствовал себя усталым. У меня закружилась голова, мне показалось, что я могу упасть. В это мгновение я находился перед церковью Санта Мария Формоза. По rio скользила пустая гондола. Я сделал знак гондольеру. Он пристал к ступенькам спуска. Бродивший поблизости rampino[22] подбежал, чтоб удержать гондолу своим крюком. Откинувшись на подушки, я пришел в себя, но этот случай показал мне, что силы мои еще не восстановились. Предостережение, полученное мною в вечер приезда, должно бы было сделать меня более благоразумным. Я думал, что, проехавшись по лагуне, я оправлюсь. Нет ничего лучше этого для напряженных нервов.

Такая прогулка всегда была для меня самым приятным из венецианских наслаждений. Лишь для этой цели я и пользовался гондолой, к которой в других случаях не прибегал, обычно

---

[22] Сноски: 22
Крючник.

предпочитая бродить пешком. Но сейчас я чувствовал себя совершенно неспособным итти по улицам. Мое болезненное состояние, конечно, от этого ухудшилось бы, между тем как теперь, когда я протянулся на подушках под размеренное покачиванье легкой лодки, оно начало уже проходить. Гондола, которую я нанял, оказалась превосходной. Она была premiata[23], как зовутся те гондолы, barcaroi[24] которых получили приз на состязании. Мой barcaroi был стройный и ловкий парень высокого роста, опытный гребец, как я заметил по первому удару весла. Мы быстро пробежали расстояние, отделяющее Санта Мария Формоза от Фондамента Нуове, где rio деи Мерканти переходит в лагуну, рисуя в небе и на воде мощную и благородную арку своего прекрасного мраморного моста.

Я очень люблю въезжать в лагуну по этому rio под мостом Мендиканти... Тотчас же вслед за ним расстилаются спокойные воды, гладкие, гармонично переходящие от одного оттенка к другому. Нигде широкое морское зеркало, окружающее Венецию, не кажется таким единым

---

[23] Сноски: 23
Премированная.

[24] Сноски: 24
Лодочники.

и тихим. Прилив мало ощущается в этой части лагуны, которая зовется Мертвой Лагуной и, словно для того, чтобы лучше оправдать свое имя, омывает остров Мертвых, красный Сан-Микеле с пурпурными зубчатыми стенами, похожий на замки, какие мы видим во сне. Она же, эта лагуна с дремлющими водами, окружает своим вечным молчанием и другие острова, которые, вместе с Сан-Микеле, в соседстве с островом Венеции, составляют ее северный архипелаг: Мурано, где кипит стекло в громадных печах; Бурано, где ловкие пальцы кружевниц плетут знаменитые арабески венецианского воображения; Торчелло и Мазорбо, где обитает лихорадка Сан Франческо ин-Дезерто, отражающего свои францисканские кипарисы в несравненном одиночестве вод. Все это в целом дышит исключительной меланхолией, хотя по временам лагуна расцвечивается необычайной игрой света. Мне случалось наблюдать там изумительные переливы красок, но обычно господствует впечатление печали без горечи, уныния без сожалений, одиночества без тоски, — так полны эти места спокойствия, однообразия и безмолвия.

В этот день, — отмечу это, — все мне казалось очень меланхоличным. Туман, чрезвычайно

тонкий, колыхался между небом и водой. Он окутывал Сан-Микеле влажным и воздушным покрывалом и делал Мурано похожим на призрачный остров. Это не был день, когда стоило бы отправиться в дальнюю прогулку, чтобы вкусить в открытой лагуне то особенное чувство, которое приходит и туманные сумерки, подобные этим, — чувство полного отчуждения от жизни. Кроме того, было уже довольно поздно, и я велел гондольеру лишь обогнуть город и вернуться на Канареджо. Он немедленно сделал, как я сказал. Гондола продолжала мягко скользить под равномерные всплески весла. Я слушал их, полузакрыв глаза; я слушал с успокоенным вниманием шаги человека на кормовом коврике, различные шорохи воды и дерева. Это отвлекало меня от той неопределенной грусти, какую я ощутил снова, от беспричинной тоски, у которой так много общего со страхом. И однако же не было никакого повода для этого нелепого чувства. Тем не менее, по мере того, как мы скользили по недвижной воде, моя внутренняя тревога возрастала. Напрасно пытался я забыться, сосредоточивая мысль на определенных предметах, на мебели, выбранной у Зотарелли, на некоторых деталях орнамента в палаццо Альтиненго, даже на меню предстоящего

обеда. Несмотря на все это, томительное ощущение, доходившее до боли, давило меня. Это было так мучительно, что я уже решил заговорить с гондольером, надеясь разогнать душившую меня тоску, и быстро повернулся к нему. Без сомнения, он принял этот жест за вопрос, где мы находимся, потому что, указав на четырехугольное строение, возвышавшееся среди тумана на крайней точке выступа Венеции в лагуну, он крикнул мне, склоняясь над веслом:

— Это — Каза дельи Спирити, синьор.

Мы действительно находились перед Каза дельи Спирити. Она нисколько не изменилась с тех пор, как я ее видел в последний раз, перед тем как лорд Сперлинг купил ее, для того, конечно, чтобы поместить там, укрыв от любопытных взоров, лабораторию психических изысканий. Ибо Сперлинг был адептом оккультных наук… Уже тогда, когда я с ним впервые познакомился, он был чрезвычайно занят этими вопросами. Несмотря на свое новое назначение и нового хозяина, Каза сохранила почти целиком свой прежний вид. Наружный вид не подвергся изменению; фасад, как и прежде, был покрыт желтой штукатуркой. Лорд Сперлинг ограничился тем, что восстановил несколько окон, раньше заделанных, исправил

несколько поврежденных балконов, велел снова сложить столь характерные для венецианских жилищ высокие трубы с колпаками в виде тюрбана, и лишь внутри произвел те изменения, о которых говорил Прентиналья. Возможно, что Каза, этот древний дворец рода Сальвицци, сохранила убранство, которое лорду Сперлингу пришлось по душе. Он обладал и вкусом и любознательностью. В те времена, когда я бывал у него, или когда мы вместе с Гогенбергом и Прентинальей встречались с ним «под китайцем» в кафе Флориан, мне случалось видеть, как он покупал много старинной мебели, готовя свое будущее водворение в Венеции. Тогда он жил в отеле, и ему приходилось оставлять свои приобретения на складах у торговцев. Теперь они, очевидно, были извлечены оттуда, чтобы украсить залы Казы, сад которой, выходящий на лагуну террасой, некогда запущенный, являл сейчас моему взору тщательно подстриженные деревья и чащу роз, свисавших через балюстраду почти до самой воды.

Несмотря на эту цветущую террасу, Каза дельи Спирити сохраняла мало привлекательный вид, которому туман придавал характер особой таинственности. Без сомнения, лорд Сперлинг нашел

вполне подходящее место для своих занятий. Сюда никто не явится, чтобы помешать ему в вызывании духов и иных опытах. То, что Сперлинг был учеником Вильяма Крукса, не оставляло никаких сомнений относительно природы этих опытов. Как я уже упоминал, в эпоху «китайца» Сперлинг увлекался проблемой потустороннего мира. Часто приходилось мне слышать, как он рассказывал об удивительных результатах, достигнутых английским ученым, о таких странных явлениях, как потеря веса, перемещение предметов, появление таинственных цветов, материализация, зафиксированная фотографической пластинкой. Изучив теорию, Сперлинг, конечно, захотел перейти к практике. С этим и было связано приобретение Каза дельи Спирити, народное прозвище которой несомненно показалось ему добрым предзнаменованием. Всех этих «чудес» Крукс достигал с помощью специальных медиумов, и Сперлинг должен был добиваться их такими же средствами. В этом отношении Венеция всегда могла доставить нужных людей. Я задавал себе вопрос, не принимала ли эта сама синьора Верана, которая, по словам Зотарелли, раньше служила у Сперлинга, некоторого участия в психических опытах Сперлинга, а с другой

стороны — не было ли связи между необычайным исчезновением маленького бюста из Городского Музея с теми фантасмагорическими явлениями, о которых мне поведал суеверный Прентиналья, когда мы встретились с ним в кафе Флориан. Что бы там ни было, это меня мало затрагивало. Существенным было то, что Прентиналья указал мне на палаццо Альтиненго, и самым важным оставался вопрос, будет ли синьора Верана в точности исполнять взятые ею на себя обязанности. Что же касается очаровательного бюста из Городского Музея, то каким бы способом ни исчез он из своей витрины, — благодаря вору или волшебству, — ко мне это никакого отношения не имело! Утонченный венецианский патриций, которого изображал бюст, сумел ускользнуть тем или иным ловким способом. Он, конечно, испытал в жизни немало приключений, и это последнее должно было приттись по вкусу его насмешливой и улыбающейся тени.

Пока я размышлял обо всем этом, гондола достигла Канареджо. Позади нас лагуна расстилала туманные и сумеречные воды, откуда поднимался запах соли и тины. Впереди загорались первые огни в фонарях и окнах старых дворцов на обоих берегах, таких живописных в своей

шумной и живой ветхости. Тишина мертвых волн сменилась гудящим шумом оживленного квартала. Нам попадались навстречу тяжелые барки и быстрые sandolo[25]. Мы вступали в жизнь постепенно, с каждым ударом весла, и я ощущал от этого несомненное облегчение, так что, когда мы подъехали к Риальто, я дал знак гондольеру причалить. Мне захотелось вернуться в отель пешком и купить по дороге в одной из лавочек на мосту две венецианские шали в подарок старухам, которые под руководством синьоры Вераны приняли участие в уборке моего mezzanino в палаццо Альтиненго, где я вскоре, наконец, должен был поселиться.

* * *

На следующей день после этой прогулки по лагуне, в палаццо Альтиненго была доставлена мебель, посланная Зотарелли. Я отправился в палаццо заранее, чтобы лично принять ее и подумать, как ее расставить. В ожидании я, облокотясь о подоконник, смотрел в окно. День был очень ясный и мягкий, и в воздухе не оставалось следа от вчерашнего тумана. Я не ощущал

---

[25] Сноски: 25
Охотничьи плоскодонные лодки.

более прежнего недомогания. Вообще, не пора ли мне было привыкнуть к этим колебаниям между глубоким упадком сил и состоянием относительного здоровья? Мне не следовало забывать, что я, если и не больной, то в лучшем случае выздоравливающий, которому для окончательного восстановления сил не хватало той острой жажды жизни, которая всегда следует за тяжким телесным недугом и в подобных обстоятельствах является могущественной помощью. Все, что я мог надеяться получить от Венеции, это — общее приятие жизни и успокоение в ее монотонной меланхоличности. Чтобы доставить это умиротворение без радости и спокойствие без счастья, палаццо Альтиненго предлагал мне свое одиночество и тишину. Я почувствовал по тому влечению, которое у меня сразу явилось к нему, что он примет меня гостеприимно, что он в некотором роде предназначен мне судьбою. Быть может, впоследствии, если это влечение превратится в прочную привязанность, я решусь поселиться в нем окончательно. Пока же этот дом будет для меня лишь временным, посланным судьбою пристанищем.

Около двух часов дня я увидел большую барку с мебелью от Зотарелли. Пузатая и тяжелая, она

пристала к лестнице Фондамента. Зотарелли посылал мне двух людей, чтобы выгрузить вещи. Один из них подал мне письмо, в котором антикварий извинялся, что не явился лично. Он желал мне счастливо жить в новом жилище, но это пожелание показалось мне выраженным не без оттенка иронии. Положительно, у милейшего Зотарелли было «что-то на душе» против палаццо Альтиненго. Я спрятал письмо и стал распоряжаться выгрузкой. Должен заметить, что эти люди работали весьма торопливо, против обычая венецианцев. Им, видимо, хотелось окончить дело поскорее. Расставляя вещи по комнатам, согласно моим указаниям, они бросали по сторонам тревожные взгляды. Окончив работу и сунув деньги в карман, они стремительно сбежали с лестницы, прыгнули в барку, и я тотчас же услышал, как она под сильными взмахами весел стала удаляться по воде канала.

Вот как я расположился в трех комнатах mezzanino, в которых можно было обитать. В комнате с камином зеленого мрамора я поместил туалет; в другой с мифологическими медальонами, — кровать за высокими ширмами о десяти створках, затянутыми старой венецианской бумагой, которая от времени приобрела сходство с

чудесной старинной материей. Большой шкаф, стол и несколько кресел восполняли обстановку, вместе с пузатым комодом, расписанным цветами и плодами, который весьма подходил к мозаике пола. Для лепного зала, где больше всего надо было позаботиться о том, чтобы ничем не заслонить стенных украшений, я выбрал у Зотарелли один из трех больших лаковых столов, которых так много изготовляли в Венеции в XVIII веке. На желтом фоне его были изображены черным с золотом китайцы и пагоды. Диван и четыре удобных кресла в стиле рококо составили то, на чем можно было сидеть. Это и все. Для освещения — четыре больших стоячих канделябра из Бассано и несколько висячих канделябров из дымчатого муранского стекла, помещенные мною над каждым из маленьких лепных и фаянсовых панно, окружавших панно больших размеров, причудливая и очаровательная красота которых была главным украшением этого странного места, где Китай из Карнавала смешивался с Венецией эпохи масок… Что же касается камина, то он и сам по себе был достаточно хорош, со своим желтым мрамором и зеркалами в золотых рамах стиля рококо.

Синьора Верана молча присутствовала при

моем водворении. Как только я поселился, я внес ей плату за три месяца вперед, и ее усердие, по-видимому, от этого увеличилось настолько, что она предложила разложить в шкафу и комоде содержимое моих сундуков. В то время, как она этим занималась, я рассматривал ее с большим вниманием, чем делал это раньше. Положительно, синьора Верана была довольно занятной особой, с ее коренастой фигурой, желтым квадратным лицом и глубоко сидящими глазами, взор которых, когда устремлялся на вас, был столь острым, что, казалось, проходил через вас насквозь, словно вы не существуете и не являетесь преградой для этого пронизывающего взгляда. Да, синьора Верана была своеобразным существом. В ней были заметны черты более высокой среды, чем та, к которой она, по-видимому, сейчас принадлежала. Что пришлось ей пережить прежде, чем притти к тому, чтобы сдавать чужеземцу несколько запущенных комнат старого расшатанного палаццо, соглашаясь на роль служанки? Правда, она уже раньше была в подобной должности при лорде Сперлинге, как мне сообщил о том Зотарелли. Я готов был задать ей вопрос по этому поводу, но удержался. Главным достоинством в синьоре Верана была

ее молчаливость. Но есть такие молчальницы, которые, если поощрить их, быстро становятся злейшими болтуньями. А синьоре, в силу будущего положения ее, предстояло соприкасаться со всеми сторонами моей каждодневной жизни. Поэтому безмолвие ее было слишком для меня драгоценно, чтобы я стал давать ей какой бы то ни было повод его нарушить. Итак, я удержался на этот раз, дав себе клятву и впредь не задавать ей никаких вопросов. Я ограничился тем, что еще раз условился с синьорой Верана относительно ее предстоящих обязанностей. Она должна была прибирать мое помещение, держать в порядке белье и подавать мне по утрам шоколад. Что касается завтрака и обеда, я предполагал ходить в ресторан. Маленькая trattoria[26], которую я обнаружил по соседству, позволяла мне не ходить на площадь Сан-Марко в те дни, когда такая прогулка показалась бы мне слишком далекой. В случае же, если бы мне захотелось вовсе не выходить из дому, синьора Верана сможет приготовить мне необходимое: яйца, домашний хлеб, стакан кьянти[27]. После того, как мы обо всем оконча-

[26] Сноски: 26
Народный ресторан, трактир.

[27] Сноски: 27
Сорт красного вина.

тельно уговорились, синьора Верана вставила во все канделябры свечи, указала, где хранятся запасные, окинула все в последний раз взглядом и удалилась.

Я остался один в своем новом жилище, и эта долгожданная минута была мне приятна. Притягательная сила, привлекшая меня к этому старому палаццо Альтиненго, продолжала оказывать на меня действие, несмотря на затаенные неодобрительные намеки Зотарелли. Но я не обманывал себя относительно трудности жизни в подобном обиталище. Я отлично понимал, что оно будет некомфортабельным и неудобным, в особенности когда настанет зима. Отопить венецианский палаццо вообще нелегко, и тот, в котором я поселился, обещал мне хорошую стужу. Окна закрывались не плотно, и старые двери узловатого дерева позволяли свободно гулять сквознякам. В довершение всего, крайняя ветхость строения грозила сыростью, против которой нельзя было найти средства; с этим приходилось примириться заранее. Я даже учитывал возможность того, что мой mezzanino совершенно погрузится в канал. Сваи были, без сомнения, в весьма плохом состоянии, и некоторый уклон полов, выпяченные места в стенах и трещины

в потолках являлись тревожными предвестниками. Я все же полагался на бдительность венецианского городского управления. Венеция — единственный город в мире, где можно встретить столько покосившихся, запущенных, готовых обрушиться домов, которые каким-то чудом сохраняют равновесие. Это чудо давно уже спасало палаццо Альтиненго и, я надеялся, долго еще будет его спасать, под зорким, хоть и мало заметным наблюдением городских стражей. А впрочем, не все ль равно? И относился к такой опасности с большим безразличием. Что составляла она для того, кто стал равнодушен к жизни, ища в ней лишь покоя и забвенья?..

С этой точки зрения, не нашел ли я в палаццо Альтиненго того, что отвечало моей потребности в одиночестве и безмолвии? Не приехал ли я сюда в поисках уединения и тишины? Правда, я обещал моим врачам выполнять некоторые их предписания и чередовать отдых с легкими телесными упражнениями, но я уже чувствовал, что мне будет трудно следовать их наставлениям. Припадки внезапного недомогания, которые я несколько раз испытывал со дня приезда, отнюдь не располагали меня к движению и прогулкам, а все окружающее убранство, как я предвидел,

будет склонять меня к сидячему образу жизни и смутной мечтательности, в которой часы быстро проносятся, не давя своими грузными крылами, отягощенными сожалением и воспоминанием.

И я не без удовольствия воображал медленно текущие дни и вечера, проводимые в лепном зале с хитрыми арабесками и химерическими китайцами, в то время как жаркое осеннее пламя камина и огонь свечей озаряют дрожащими отсветами фигуры и пагоды фаянсовых панно, освещают изгибы стенной декорации и завитки украшений в стиле рококо, заставляют тихо сиять загадочные кусочки перламутра, которые непонятная прихоть вкрапила в мозаику пола.

Раздумывая об этом, я дождался часа, когда зажигают свечи. Мне было любопытно увидеть эффект такого освещения на фаянсе и лепке; и должен сознаться, что увиденное превзошло мои ожидания. Будучи освещен, лепной зал оказался еще более изумительным. Все наполнилось атмосферой золота, несравненной по нежности. Каждая фигура, каждая частица украшений, каждый завиток, каждая раковинка казались пропитанными этим лучистым сиянием. Лишь одно большое зеркало в раме желтого мрамора противоставляло свою словно металлическую

поверхность, холодную и странно упорную… Оно стояло передо мной как дверь в другой мир и, словно во сне наяву, показывало, в обратной перспективе, тот же лепной зал с теми же арабесками и фигурами, но перенесенный в даль веков, в недоступную и таинственно темную глубину.

Первые две недели пребывания моего в палаццо Альтиненго протекли без происшествий, достойных внимания. По утрам синьора Верана подавала мне первый завтрак. Он состоял из мастерски сваренного шоколада, поджаренных ломтиков хлеба, густо помазанных маслом, и нескольких веточек черного винограда, называемого fragola[28] оттого, что вкусом он довольно сильно напоминает землянику. Что касается второго завтрака и обеда, то я ходил в какой-нибудь из многочисленных ресторанов Венеции. Я бывал поочередно в «Vapore», «Cappoleo Nero», «Citta di Firenze», «Antico Cavaletto» и даже в «Bella Venezia», где мне нравился темный зал с панелью в пол-стены, пахнущий вином и рассолом. Я довольно исправно заходил к Флориану выпить чашку черного кофе и посидеть «под китайцем». Но что был теперь этот «китаец» в сравнении с

[28] Сноски: 28
Земляника.

великолепными мандаринами и нежными принцессами, украшавшими собою фаянсовые панно моего золотого лепного зала?

Хотя погода была хорошая, я не чувствовал большого влечения к прогулкам. Недомогание, мучившее меня первое время по приезде, более не возобновлялось, сменившись чувством общей усталости, какой-то томной вялостью всего организма, порою раздражающей, но обычно скорее приятной. Подобным же было и мое нравственное состояние. Пережитые страдания все еще занимали мои мысли, но боль от них стала глуше, оттого ли, что время их смягчило, или что они утратили почву от перемены места; а может быть, то состояние физического и душевного истощения, в которое они меня привели, отняло у меня силу питать их. Мне казалось, что моя прежняя жизнь начала отходить от меня. Я чувствовал, что становлюсь как бы чуждым самому себе, и мне случалось, в долгие дни одиночества в лепном зале, порою почти забывать о событиях личной жизни, приведших меня сюда. Такое однообразное, уединенное существование удовлетворяло меня, и у меня не являлось никакого желания изменить его, никакой потребности в обществе. Один или два кратких визита к Зотарелли да

несколько беглых разговоров с синьорой Вераной, — этим и ограничились все мои сношения с людьми за две недели. Что же касается моего друга Прентиналь, то я и не вспомнил бы о нем, если бы удивительная история, рассказанная им в кафе Флориан, не приходила мне не раз на мысль.

Да, не раз, чтоб не сказать часто. Но упорство, с каким возникал в моей памяти случай с исчезновением бюста, представлялось мне вполне естественным. Мое существование, свободное за последнее время от каких-либо событий, располагало меня к размышлениям на одну какую-нибудь тему, и я охотно избрал из них именно эту, которая давала легкую пищу моей мечтательности. Поэтому я и не прилагал никаких усилий к тому, чтобы эта поистине «прентинальевская» история занимала меньше места в моем воображении. Возможно, однако, что если бы я внимательно подумал, я бы удивился степени интереса, вызванного во мне проделкой, которой милейший Прентиналья, не знаю почему, желал придать фантастическое освещение. Впрочем, и это нетрудно было объяснить. В тот вечер, когда Прентиналья у Флориана рассказал мне о якобы чудесном исчезновении

бюста из Городского музея, я находился в состоянии особенной, повышенной чувствительности. Усталость от путешествия, своеобразное ощущение, вызванное тем, что вновь увидел Венецию, недомогание и душевное стеснение, испытанные в первые же часы пребывания здесь — все благоприятствовало тому, что слова Прентиналь ьи сохранились в моей памяти, запечатлевшись в ней более ярко и глубоко, чем этого заслуживали. К тому же и форма рассказа помогла ему лучше запомниться. Каковы бы ни были побуждения, руководившие Прентинальей, — любовь ли к таинственным вещам или страсть мистифицировать, — я должен сознаться, что он достиг своей цели. Со дня переселения в палаццо Альтиненго, странствующий бюст стал все чаще и чаще являться предметом моих рассеянных мечтаний в часы, которые я проводил в лепном зале, сидя в кресле стиля рококо, облокотясь на лаковый столик, блуждая взором от арабесок стен к высокому зеркалу в раме желтого мрамора, отражавшему в странном отдалении пышное и меланхолическое убранство комнат, в котором оживала прелесть Венеции былых времен, прелесть ее интимной фантазии.

Первое время, когда я еще только начал пре-

даваться этому странному занятию, мысль мою занимали более всего подробности исчезновения бюста. Я делал всевозможные предположения, чтобы объяснить, как можно было осуществить подобную проделку. Некоторые из них, весьма сложные, не были бы недостойны наших лучших детективных романов. Но я тщательно исключал из них всякий фантастический элемент, ибо, как уже говорил, я был весьма мало склонен допустить вмешательство сверхъестественных сил, на участие которых в этом деле намекал милейший Прентиналья. Я не придавал веры такой чепухе и предпочитал доискиваться, с помощью какой хитрости ловкому вору удалось завладеть этим произведением, которое всегда восхищало меня как мастерством своим, так и чертами лица оригинала, столь живыми и характерными. И вот, постепенно само лицо это вытеснило в моих мыслях приключение, постигшее ее изображение. Кто был он, этот безыменный венецианец? Как протекла его жизнь? Эти вопросы задавал я себе еще тогда, когда, бывало, любовался в витрине музея насмешливым, чувственным и тонким выражением лица незнакомца; теперь же, с некоторых пор, я возвращался к ним с большей настойчивостью и более страстным

любопытством. И чем чаще я вопрошал себя, тем определеннее возникало во мне странное явление, которое я сейчас постараюсь описать.

Когда у Флориана мой друг Тиберио Пренталья упомянул об исчезновении бюста, предо мной со всей отчетливостью встал точный образ этого бюста. Мне представились его ироническое и умное лицо, очертание носа, рта и всей головы, выражение глаз. Но образ, который во мне возникал, не превосходил своей отчетливостью тех, которые у человека, одаренного хорошей памятью, вполне естественно появляются после того, как он несколько раз со вниманием и интересом что-нибудь рассматривал. По правде говоря, не менее двадцати портретов или бюстов из разных музеев столь же явственно сохранились в моем воспоминании, как и этот венецианский патриций, таинственный побег которого заставлял меня вспоминать его черты.

Но теперь я должен был убедиться, что нечто изменилось: именно, первоначальный образ незнакомца из Городского музея начал подвергаться удивительному искажению.

Впрочем, слово «искажение» — не совсем точно, и не передает того, что я хочу сказать. Образ, являвшийся мне, не столько «исказился», сколь-

ко «преобразился», и в этом новом состоянии был так ясен, что едва ли сам мастер бюста мог достичь подобного реализма. Лицо незнакомца представлялось мне с совершенной отчетливостью, с поразительной убедительностью, и при этом, что всего замечательнее, так как если бы я смотрел на него сквозь увеличительное стекло, доводившее его размеры до натуральной величины.

Но это явление было не единственным, которое мне пришлось отметить. К нему присоединилось другое, не менее меня смутившее: бюст, вырастая, восполнялся различными частями тела! То у него появлялись руки, то он удлинялся до пояса или еще ниже. Иногда он оказывался даже на ногах. Явление это происходило не всякий раз, но все же достаточно часто. Предо мной был не просто бюст, но почти цельный образ человека.

Я говорю «почти цельный», потому что, по необъяснимой причуде, он никогда не показывал себя полностью. Ни разу не предстал он мне цельной фигурой, но зато являвшиеся мне отдельные части ее всегда были видны удивительно отчетливо. Если незнакомец стоял на ногах, ему непременно недоставало одной руки или обеих. Иной раз видна была лишь одна рука или одна

нога. Эта особенность, которая должна была показаться очень странной, не вызывала во мне большого удивления, — настолько привык я к такой игре зрительных образов. Все же, я должен был бы над нею задуматься, ибо она указывала на ненормальное состояние моих чувств и на расстройство нервной системы. Если б я обратил на это внимание, то пришел бы к выводу, что образ жизни, который я вел в палаццо Альтиненго, не был для меня подходящим, и что мне следовало бы лучше выполнять указания врачей. Необходимо было бы, послушавшись их советов, чередовать с предписанным отдыхом легкие телесные упражнения, а не проводить все свои часы бездеятельно, в смутных мечтаниях, как я поступал. Но я уже вошел во вкус такой жизни и все реже покидал лепной зал, где случай дал моему воображению компаньона, оживлявшего мое одиночество.

Однажды под вечер, когда начали сгущаться сумерки, я обнаружил с некоторой досадой, что синьора Верана забыла поставить новые свечи в зале, и что, в довершение, запас их, всегда находившийся под рукой, кончился. Как я уже говорил, не было никакого сообщения между моим помещением и комнатой, занимаемой

Вераной в одном из верхних этажей дворца. От меня не было проведено к ней звонка; кроме того, она могла не оказаться дома. Часто, в различное время дня, я видел из окна, как она выходит или возвращается, закутанная в длинное манто, с невероятной шляпой на голове. В этом смешном наряде, с корзинкой в руках, наклонив голову и согнув спину, она скользила вдоль стен, похожая на гадальщицу или маникюршу, идущую на работу. Возможно было, что и на этот раз моя домоправительница за чем-нибудь отлучилась, ибо должны же были быть у нее свои дела и знакомства. Ей, конечно, нужно было чем-нибудь вознаградить себя за неизменное молчание в моем присутствии и утолить свою потребность в словесных излияниях, составляющих обычное развлечение старых венецианок; остановившись на площади, на уличном перекрестке, на мосту, они погружаются в оживленную таинственную беседу, прервать которую не в состоянии ни локти гуляющих, ни толчея прохожих.

В данных обстоятельствах единственным и самым простым исходом, остававшимся мне, было пойти самому купить свечей в ближайшей лавке. Нужная мне лавка находилась совсем неподалеку, напротив церкви Сан Панталеоне. Я прошел

в свою комнату, чтоб взять шляпу и пальто, ибо был уже конец октября и становилось заметно холоднее. Еще за день до этого я просил синьору Верану купить несколько полен и сложить их в одной из нежилых комнат. Теперь, когда обнаружилась небрежность синьоры Вераны относительно свечей, мне пришло в голову, что она могла не более внимательно отнестись и к моей просьбе о дровах, и потому я решил сейчас же проверить ее. Итак, я направился через вестибюль в ту часть mezzanino, где поручил ей сложить дрова, предназначенные для отопления занимаемых мною комнат.

Я не заходил в эту часть палаццо с тех пор, как синьора Верана водила меня туда, в день, когда я нанял помещение. Запущенный, ветхий, сильно поврежденный вид этих пустынных комнат поразил меня теперь еще сильнее, чем в тот раз. Потолки угрожающе покоробились, деревянная обшивка частью истлела, влажная штукатурка отстала кусками, в мозаичном полу образовались трещины. Воздух был пропитан запахом селитры и плесени. Свет, проникая сквозь щели рассохшихся ставней, создавал странное впечатление. На некоторых окнах ставней недоставало вовсе, на других сохранилось несколько полусгнивших

досочек, и потому света туда проникало достаточно, чтобы мне можно было осмотреться. Переходя из комнаты в комнату, я добрался, наконец, до той, которая выходила в сад, но нигде не обнаружил того, что искал. «Остается лишь сделать примерный выговор синьоре Веране», — подумал я, и собирался уже вернуться в вестибюль, когда, сам не знаю почему, мое внимание было привлечено полуоткрытой дверью. Не там ли синьора Верана сложила дрова?

Это было нечто вроде очень маленького чулана с чрезвычайно низким потолком. Узкое окно с запыленными стеклами давало слабое освещение, достаточное, впрочем, для того, чтоб можно было разглядеть на стене остатки панели. На одном из панно лепные украшения образовывали две рамы, одну рядом с другой. В одной из них помещалась картина, по-видимому, портрет, настолько облупившийся, что едва можно было различить несколько пятен краски. С другой рамы полотно, в ней заключенное, оборвавшись вверху, плачевно свешивалось обратной стороной. Без сомнения, и оно было не в лучшем состоянии, чем первое. В этом, впрочем, мне легко было удостовериться.

Действительно, эта вторая картина столь же

сильно пострадала, — большая трещина почти разделяла ее пополам. Но черты лица, на ней изображенного, по-видимому, были еще достаточно отчетливы. Во всяком случае, из хорошо сохранившейся надписи я мог узнать его имя. И в самом деле, наклонившись, к полотну, я прочел: «Vincente Altinengo, nobile Veneziano[29]. MDCCLXII».

Нет сомнения, то был портрет одного из древних владетелей дворца, и, вероятно, того самого, который произвел отделку пышного и кокетливого mezzanino с его изумительными лепными и фаянсовыми украшениями. Дата согласовалась со стилем декорации, которою я ежедневно восхищался. Итак, я находился лицом к лицу со своим предшественником, жившим до меня в этих покоях и украсившим их с такой роскошью и вкусом. Мне очень захотелось узнать, как выглядел он при жизни, этот венецианский патриций, который приготовил для моего одиночества меланхолическое и таинственное обиталище, куда я явился, ища сердечного мира и забвения жизни.

Я вынул из кармана носовой платок и стер им толстый слой пыли, покрывавшей полотно. Сде-

---

[29] Сноски: 29
Венецианский дворянин.

лав это, я укрепил портрет на раме с помощью гвоздя, найденного тут же в панели, и отступил на несколько шагов. Едва я бросил взор на картину, как испустил крик удивления. Человек, которого я увидел, был мне знаком давно! Мне было знакомо это узкое и худое лицо с длинным носом, ироническим взглядом и пылкой, проницательной улыбкой. Знакомо было это лукавое выражение лица; знакома была форма напудренного парика на лбу. Не могло быть никакого сомнения, — Винченте Альтиненго и Незнакомец, изображенный в маленьком бюсте Городского музея, составляли одно лицо! Сходство между портретом и скульптурой было поразительным, и, благодаря счастливому случаю, я мог их тотчас отождествить. Незнакомец музея был Альтиненго в древней рамке. Но почему именно мне предназначено было сделать это любопытное открытие, повергшее меня в такое изумление, что я остановился, прислонившись к стене, недвижимый, с глазами, прикованными к глазам того, другого, глядевшего на меня из глубины прошлого взором одновременно далеким и близким, взором почти живым?..

Первой моей мыслью было пойти поделиться своим открытием с синьором Тальвенти,

директором Городского музея. В самом деле, случай дал мне в руки интересный материал по венецианской иконографии. Но я знал со слов Прентинальи, что добрый Тальвенти был сильно опечален таинственным исчезновением маленького бюста. К чему возобновлять его сожаления, сообщая, что пенсионер, так непочтительно ускользнувший от него, звался в жизни Винченте Альтиненго? Но это было не единственной причиной, помешавшей мне выполнить свое намерение и удержавшей меня также от того, чтобы написать Прентиналье о любопытном стечении обстоятельств, давшем мне возможность узнать имя беглеца из витрины залы IV. Главным мотивом, почему я воздержался от того и другого, было то, что в дни, последовавшие за рассказанным происшествием, я испытал один из тех приступов недомогания, о которых неоднократно уже упоминал. Мною вновь овладело чувство угнетенности, от которого я уже раньше страдал, тщетно пытаясь себе объяснить его. Между тем, не было налицо никаких симптомов болезни. Мой аппетит был нормальным, сон, если не вполне хорошим, то удовлетворительным. Ровно ничего, кроме этого упорного ощущения тоски.

Должен добавить, что тоска эта не имела ника-

кого отношения к пережитому мною страданию. Горькая печаль как бы замерла во мне со времени физического кризиса, предшествовавшего моему переезду в Венецию. Теперь я знал, что мое сердце разбито и что никогда уже оно не оправится от этого удара; и я примирился со своей судьбой без ропота, ибо, несмотря на всю свою скорбь и отчаянье, я не нашел в себе мужества, чтоб положить конец страданиям, И отнюдь не острое воспоминание о прошлом было причиной моего мучительного нервного состояния.

Мне казалось вполне естественным приписать его перемене погоды. Не считая нескольких туманных и дождливых дней, весь октябрь был прекрасным; но вот уже несколько дней, как температура стала заметно понижаться. Именно это и побудило меня отдать распоряжение синьоре Веране купить дров, что и привело к моему открытию. Комнаты палаццо Альтиненго требовали основательного отопления. Большой камин лепного зала удивительно подходил для жаркого огня. Я решил сделать опыт.

Муранские стекольщики пользуются для топки своих печей длинными и толстыми кусками стволов, доставляемыми с соседних Альп. Размеры высокого камина желтого мрамора позволяли

воспользоваться ими. Они пылали там, рассыпая искры, и оставляли чудесные угли, сиявшие как драгоценные камни. Это великолепие огня чудесно сочеталось с великолепием золотой лепки, фаянса и мелких украшений, а в воздухе разливалась удивительная теплота, которая мне, при моем болезненном состоянии, доставляла большое удовольствие.

Плохое самочувствие и привлекательность первых жарких осенних каминов побуждали меня еще более обычного сидеть дома. Если я и выходил, чтобы позавтракать в ресторане, то отправиться второй раз под вечер ради обеда я уже не мог себя заставить. Я предпочитал доставать из шкафа кое-какую провизию, заготовленную по моему распоряжению синьорой Вераной и импровизировать на уголке стола легкую пищу. Таким образом, я покидал не более одного раза в день палаццо Альтиненго и часто при этом не добирался даже до площади Сан-Марко, а удовлетворялся маленькой ближней тратторией, что сокращало время моего отсутствия и позволяло быстро возвращаться в палаццо.

Именно во время этих отлучек, столь кратких, чаще всего возобновлялось мое недомогание, о котором я говорил; но смутная тоска, сопровож-

давшая его, тотчас же ослабевала, лишь только я приближался к дому. Часто я почти бегом добирался до Кампо Санта Маргерита и до Кармини. Стоило мне завидеть полуразрушенный фасад палаццо Альтиненго, его пузатые балконы, ставни без створок, окна с позеленевшими стеклами, портал с двумя колоннами, увенчанными лепными вазами, как припадок ослабевал. И однако же ничто не звало меня в этот дом. Меня не ждали там ни дружеская улыбка, ни лицо любимой, ни шаги близких, ни чей-либо дорогой голос, ничего такого, что обычно нас встречает, когда мы возвращаемся домой. Никакие воспоминания не обитали в полупустых комнатах этого жилища, случайно ставшего прибежищем моего меланхолического одиночества. И, несмотря на это, я торопился вернуться туда, как только тоска начинала гнать меня с узких венецианских переулков, некогда столь мной любимых. Я там искал приюта, с бьющимся сердцем и отяжелевшими ногами.

Это повторялось настолько часто, что я стал стараться не подвергать себя такой опасности. Мало-помалу я отказался от обедов в траттории, и с той поры повел существование совершенного затворника. Окончив утренний туалет, я покидал

свою комнату с мифологическими медальонами и мозаичными гирляндами и располагался в лепном зале. Синьора Верана разводила огонь в камине желтого мрамора. Длинные поленья были сложены на мозаичном полу в достаточном количестве, чтобы поддерживать пламя в течение дня и части ночи; ибо по вечерам я засиживался там долго. Время проходило в нескончаемой мечтательности, среди которой я забывал бег часов. Синьора Верана была единственным существом, нарушавшим мое одиночество; но я почти не замечал ее присутствия. Я никого не принимал у себя, в палаццо Альтиненго. Прентиналья и лорд Сперлинг не возвращались; без сомнения, они все еще путешествовали в Сицилии. Прентиналья ни разу не дал мне знать о себе. Все же порою раздавался звонок. Почтальон от времени до времени приносил мне письма из Парижа. Я не мог не сообщить своего адреса моему врачу, доктору Ф., и двум-трем друзьям. Почтальон опускал письма в предназначенную для этой цели корзину, которая висела на конце веревки, спущенной из окна моего вестибюля на маленький дворик, — венецианский обычай, которым я тоже пользовался.

В общем, я довольно хорошо переносил свое почти абсолютное одиночество, обусловленное

моим затворническим существованием в палаццо Альтиненго. Впрочем, если бы даже здоровье и позволяло мне посещать то место Венеции, «где все встречаются», именно площадь Сан-Марко и ее кафе, как я делал это в течение первых недель пребывания, — одиночество мое мало бы нарушилось. Я всегда избегал в Венеции завязывать знакомства. Мое общение ограничивалось там Прентинальей и лордом Сперлингом. Что до парижских знакомцев, то время года в достаточной мере от них меня ограждало. Парижане — сентябрьские гости. В половине октября даже самые упорные из них уезжают. А в ноябре Венеция вновь становится всецело венецианской.

Я, конечно, воспользовался бы этой безопасностью, если бы душевное и телесное состояние мое было иным. Я наслаждался бы переулками, площадями и каналами города, а также лагуной, со всей прелестной и меланхолической их красотой, столь пленительной в позднюю осень. Я хранил много бесценных воспоминаний о таких днях, и мне приятно было бы вновь пережить их. Я достаточно знаком был с Венецией, чтобы знать, насколько неисчерпаемы ее разнообразные наслаждения. Я знал, что в ней самое великолепное и самое интимное, знал все ее прославленные

места и сокрытые уголки, весь ее блеск и все ее тайны. Но сейчас я еще не чувствовал в себе сил вновь отдаться былым впечатлениям. Немного позже, думал я, быть может, я смогу вернуться к менее замкнутому существованию.

А пока что, не являлось ли для меня самым лучшим — не покидать вовсе дворца Альтиненго?

К чему совершать эти бесцельные прогулки, неизменно кончающиеся приступом бесконечно мучительной тоски? Не лучше ли проводить дни около пылающего камина, читая или предаваясь мечтам в этом причудливом и прелестном зале, где тишина нарушалась лишь потрескиваньем дров или неясными, еле уловимыми звуками, — таинственными признаниями, загадочной речью этой тишины?

Как только я принял такое решение и перестал насиловать свою волю, я тотчас же ощутил облегчение. Вся тревога моя рассеялась. Освобожденные от смущавшей их заботы часы потекли с необычной быстротой, в такой степени, что вскоре я даже забросил чтение. Я более не раскрывал тех немногих любимых книг, что привез с собой из Парижа. Я едва пробегал глазами получаемые из Парижа письма. Что до ответа на них, то он оставался в области неопределенных планов и

откладывался со дня на день. Я не осуществил своего намерения написать Прентиналье, чтоб сообщить ему о своем интересном открытии относительно бюста из Городского музея и об установлении личности модели его, любопытным образом удавшегося мне благодаря находке портрета в одной из запущенных комнат палаццо Альтиненго. История с исчезновением бюста, одно время занимавшая меня, теперь утратила для меня интерес. Я больше не думал о ней, она перестала занимать мое воображение.

В связи с этим я должен даже отметить такую любопытную подробность. Когда я еще интересовался этой историей, всякий раз, как мне случалось напряженно подумать о незнакомце из Городского музея, он вставал в моей памяти с крайней отчетливостью, но при этом образ его претерпевал, как я уже говорил, некоторые изменения, главное из которых состояло в том, что он вырастал почти до натуральных размеров и восполнялся некоторыми частями тела, но всегда так, что целиком я его все же не видел. Теперь эти явления зрительной иллюзии почти совершенно прекратились, и прекращение их — что достойно быть отмеченным — наступило с того самого дня, когда случай открыл мне имя незнакомца,

начертанное на старом холсте, который был запрятан в чулане палаццо Альтиненго. Удивительное совпадение, сделавшее меня обитателем одной из частей его дворца, вместо того, чтобы увеличить мой давний, а затем, обновленный интерес к этой личности, долгое время бывшей для меня загадкой, напротив того, рассеял во мне всякое любопытство в отношении него. Вопросы, которые я столь часто задавал себе о нем, более не тревожили меня с тех пор, как я узнал, что моделью бюста был Винченте Альтиненго, тот самый, портрет которого погибал в сырости глухого чулана, куда я зашел благодаря небрежности синьоры Вераны.

Было, однако, нечто такое, что вызывало во мне к нему расположение. Я был ему признателен за то, что он украсил чудесной лепкой в стиле барокко зал, ставший усладой моей жизни. Я уже говорил, до какой степени, с того самого мгновенья, как синьора Верана ввела меня в mezzanino, этот великолепный и причудливый зал очаровал меня своим оригинальным убранством, красками и деталями орнамента. И это очарование не переставало расти. Оно было единственным развлечением моей затворнической жизни. Сколько часов провел я, рассматривая в мельчайших

подробностях вязь арабесок, контуры лепки, рисунок мозаичного пола! Я помнил в точности все места, где были вкраплены кусочки перламутра среди кубиков мозаики. Я изучил игру дневного освещения и пламени свечей на прелестных панно с золочеными фигурками. И знал, как сияли эти принцессы и мандарины в зависимости от часа дня, знал все их переливы и отблески. Я мог зарисовать их на память, так же, как фигуры на плафоне, или раковины, окружавшие маленькие зеркала в стиле рококо над камином.

Но среди всей этой декорации, столь причудливой и любопытной, меня особенно привлекала одна подробность. Я уже говорил, что в лепном зале было три двери, каждая из прекрасного узловатого дерева рыжеватого оттенка. Две из них, расположенные против окна, выходили в вестибюль. Третья, которая вела в комнату с мифологическими медальонами, приходилась как раз против высокого зеркала, о котором я уже упоминал, и которое симметрическим отражением создавало четвертую дверь в таком же мраморном обрамлении. Итак, этой четвертой иллюзорной дверью служило большое зеркало, по своим размерам являвшееся шедевром венецианского мастерства. От времени оно при-

обрело изумительный, непередаваемый оттенок глубоких, как бы подземных вод, и все образы, в нем возникавшие, были окутаны сумеречным туманом, казались чем-то таинственным и далеким. Огни в нем отражались словно затуманенными. Все рисовалось в нем значительным и отдаленным, словно доходящим из глубины потустороннего.

Это свойство его под конец совершенно подчинило меня своему обаянию. В течение долгих часов мечтательности, заполнявшей мои одинокие дни, взоры мои с жадной и все возрастающей пытливостью влеклись к странной перспективе в мраморном обрамлении, где вместе со мной самим отражалось все это удивительное старинное убранство, созданное по прихоти владельца, носившего еще его имя древнего дворца, светлой милости синьора Винченте Альтиненго, того самого, чье загадочное и насмешливое лицо с зорким взглядом, поистине, чудесный случай позволил мне дважды признать — в бюсте Городского музея и в портрете, заброшенном в чулане…

Вечер, в который произошло «событие», послужившее началом целого ряда явлений по меньшей мере странных, ничем не отличался от

других. Чтобы убедить себя в том, что я храню ясное сознание всего случившегося и что воспоминания мои отчетливы, привожу точную дату: это произошло 27 ноября. Добавлю к этому, чтоб доказать, что я не утратил чувства реального, подробнейшее описание того, как я провел этот день. Я встал утром в обычный час, то есть, довольно поздно. Меня разбудили шаги синьоры Вераны в лепном зале. Она пользовалась моим долгим сном, чтобы произвести там уборку, развести огонь в камине и подать на стол утренний завтрак. Сделав это, она стучала мне в дверь и затапливала камин в туалетной комнате. Я вставал, надевал пижаму и шел выпить чашку шоколада; за это время Верана убирала мою комнату и приносила теплой воды.

После этого я не видел ее до часу дня, когда она приносила мне второй завтрак, с которым я управлялся без ее помощи и остатки которого она убирала, когда подавала мне обед…

В этот день все шло обычной чередой. Встав с постели, я прошел в лепной зал. Огонь пылал в камине; я подбросил полено, ибо было холодно, хотя день обещал быть прекрасным. За окном виднелось ясное голубое небо. Воздух должен был быть чист, потому что колокола Кармини и

других соседних церквей звучали звонко и отчетливо. Меня забавляло угадывать их по тембру. Я мог различить колокола Сан-Себастьяно, Фрари, Арканджело Рафаэле. Колокола Кармини, с их слегка надтреснутым звуком, были так близки, что я не обращал уже на них никакого внимания. Но порою ветер доносил до меня более отдаленный звон, и я не был уверен, откуда он исходит. Воздух Венеции полон причуд. В нем так же переплетены воздушные течения, как в самом городе сеть морских каналов.

Единственным эпизодом этого дня, случившимся в два часа пополудни, была ссора лодочников. Две тяжелые баржи, одна нагруженная фруктами, другая досками, столкнулись на канале Санта-Маргерита; это были две большие баржи, черные и грузные, с красными резными украшениями на корме у каждой. Толчок был довольно сильным, и оба barcaroi, стараясь разнять баржи, ругались ожесточенно. Можно было думать, что дело дойдет до драки между ними, но противники ограничились звучными обоюдными проклятиями, которым вторила ожесточенным лаем большая собака на одной из барж. Во мгновение ока Фондамента Фоскарини, Кампо деи Кармини и мостик над каналом покрылись зрителями: тут

были дети, женщины в шалях, случайные прохожие. Ссора разгоралась, как вдруг, без всякой причины, пришла к концу, быть может, потому, что оба молодца исчерпали свой словарь ругательств. Как бы там ни было, освободившиеся баржи тихо пустились далее в путь. Только еще некоторое время слышался лай собаки. Толпа рассеялась, и пустынный канал погрузился в безмолвие.

Наступившая тишина не нарушалась до самой ночи. В течение всех последующих часов я не слышал ничего, кроме привычных шумов: звук скользящей по каналу гондолы или баржи, шаги по плитам Фондамента, женские и детские голоса, крики бродячих продавцов, свистки и сирены пароходов на канале Джудекки, к которым примешивался таинственный шорох всего недвижного, — эти вздохи и трепет тишины. Так продолжалось вплоть до минуты, когда я поднялся с кресла, чтоб зажечь новые свечи в канделябрах, вставленные, как обычно, синьорой Вераной…

Я уже говорил, что каждый день ожидал этого мгновения с некоторым нетерпением. Бесспорно, я любил игру дневного света на благородных и очаровательных лепных украшениях, но я

предпочитал ей прихотливость ночного освещения. Китайские сцены фаянсовых панно, с их принцессами и мандаринами, паланкинами и пагодами, птицами и цветами, выступали тогда во всей своей причудливой прелести. Старинная позолота оживала, и комната вся наполнялась атмосферой таинственной пышности. Крапинки перламутра в мозаичном полу сияли нежно, подобно свечению моря. Пламя очага сливалось с пламенем свечей, и я следил за колыханьем огня с никогда не утомлявшимся вниманием и любопытством.

Но вскоре, несмотря на удовольствие от подобного созерцания, взор мой перешел к большой зеркальной двери. В тот вечер, о котором я рассказываю, все шло обычным порядком. В камине пылали дрова, в канделябрах горели свечи, и высокое зеркало, как всегда, отражало в своей отдаленной и тускло освещенной глубине великолепное и затейливое убранство зала, казавшегося еще более своеобразным в своем отражении. Я довольно долго наслаждался этим зрелищем. Лишь на несколько минут оторвался я от него, чтобы наскоро подкрепиться пищей, после чего вновь погрузился в мечтательность, длившуюся обычно до тех пор, пока догоревшие

свечи не возвещали часа сна.

Как раз одна из свечей и вывела меня из состояния полудремоты, которой я предавался с открытыми глазами… Меньших размеров, чем другие, вероятно по ошибке попавшая в пачку, своим потрескиванием она обратила мое внимание на то, что почти совсем догорела и что от ее умирающего пламени грозит лопнуть стеклянная розетка на канделябре. Я поднялся, чтобы погасить ее.

Свеча эта помещалась как раз справа от ложной двери. Едва я сделал шаг вперед, как заметил нечто необыкновенное. Я, как всегда, увидел в зеркальном отражении весь лепной зал. Я видел панно, канделябры, камин, мебель, — я не видел только самого себя. Зеркало, дававшее отдаленный, но точный образ всех окружающих вещей, не отражало лишь моего собственного.

Изумление, вызванное во мне этим своим отсутствием, на минуту приковало меня к месту; затем я сделал еще шаг вперед. В отраженном зале меня по-прежнему не было. Я подошел еще ближе, пока не коснулся стекла рукой. В нем не отразились ни рука моя, ни лицо, ни тело. Зеркало считалось со мной не больше, чем если б я стал тенью, бесплотной, прозрачной, нематериаль-

ной. Видно было лишь блестящее, причудливое убранство, среди которого я был непризнанным гостем.

И все же я был живым, несомненно, живым. Я дышал, двигался. Это не был сон. Я, именно я стоял перед стеклянной дверью, в которой я прежде много раз видел свой образ среди предметов, со всей точностью отраженных в ее далеких глубинах. Я был все тем же, и ничто не изменилось вокруг меня. Свечи горели в канделябрах, в камине пылал красный огонь. Палаццо Альтиненго был все тем же палаццо Альтиненго, и Венеция — прежней Венецией. И однако же, мне приходилось сознаться, что я внезапно стал существом исключительным, и что этот день, до той минуты мне казавшийся совершенно обыкновенным, ознаменовал мой переход в парадоксальное существование, — как если бы эта зеркальная дверь явилась эмблемой магических врат, чрез которые вступают в мир таинственный и непостижимый, врат, у порога которых стоял сейчас я, не подозревавший до сей минуты, что мне предназначено подобное.

И в самом деле, я нимало не был подготовлен к тому, чтоб стать для самого себя фантастическим существом. Никогда не подумал бы я, что со мною

может случиться нечто такое. Мой ум никогда не отличался любопытством к сверхъестественному. В моей жизни никогда не бывало ничего чудесного, в обоих смыслах этого слова… Мои радости, печали, занятия были всегда самыми обыденно человеческими, и вот — я вдруг превратился в героя арабских сказок!

Такое превращение должно бы было вызвать во мне глубочайшее изумление. Напротив того, я отнесся к нему без всякого волнения, а с таким спокойствием и равнодушием, какие были бы понятны, если бы описанный случай был единичным и его можно бы было объяснить минутным оптическим обманом. Но дело обстояло не так. Явление продолжало повторяться при обстоятельствах настолько тождественных, что приписать его случайной иллюзии было невозможно.

На следующий день утром, как только я встал, первой моей заботой было пойти заглянуть в зеркало, которое накануне так странно отказывалось дать мое отражение. Оно послушно предъявило мой образ в своей зеленоватой глубине. Произведя этот опыт, я вернулся к обычному распорядку дня и только попросил синьору Верану приобрести для меня маленькое ручное зеркало, которое

она и принесла мне после завтрака. После ее ухода я продолжал читать и мечтать подле камина, изредка бросая взор на магическую дверь. Каждый раз я себя там видел. Постепенно стало смеркаться, и настал час, когда я зажигал свечи. Я не спеша занялся этим. Таким-то образом я обошел весь зал и затем вернулся к «двери». Ее зеркальная поверхность отражала пустой зал.

Три вечера подряд я повторял опыт. В продолжение дня большое зеркало принимало мой образ, но по вечерам отвергало его. Однако, ручное зеркальце, купленное мне синьорой Вераной, вело себя иначе. Оно никогда не отказывалось отражать меня. Итак, причиной явления не был обман зрения. Но от этого оно становилось еще более странным. Почему именно, как только наставал вечер и загорались свечи, стеклянное панно ложной двери повторяло каждую подробность из окружавших меня вещей и лишь мне одному в этом отказывало? Почему такое исключение из физического закона, исключение, которое не могло иметь иной причины, кроме некоей таинственной воли, остававшейся для меня непостижимой?

Лишь на четвертый вечер я начал понимать, что собственно происходит. В этот четвертый

вечер к явлению, которое я в точности описал, присоединилось другое, еще более странное. Как и в предшествующие вечера, я, зажегши свечи, сел в кресле у камина. Я оставался так некоторое время, зажав голову руками, как вдруг нечто в роде инстинктивного любопытства известило меня, что сейчас случится что-то интересное. Что именно, я не мог себе сказать, но у меня явилось отчетливое предчувствие, столь отчетливое, что взор мой устремился на зеркальную дверь в уверенности, что там-то и произойдет предчувствуемая мною неожиданность.

Я не ошибся: в глубине лепного зала в отражении выступал облик, пока еще неясный и туманный, но только не мой, ибо он двигался, в то время как я стоял на месте. Эта человеческая фигура замещала мой отсутствующий образ; я это понял еще лучше, когда она начала проясняться. Постепенно образ стал настолько отчетливым, что я мог различить человека, представшего мне. На нем были длинный плащ и короткие штаны, а на голове поверх парика треуголка, но лица еще не было видно. Его словно заволакивало облако, в то время как все остальное, сероватого оттенка, обрисовывалось с достаточной четкостью. Человек стоял в позе некоторой нерешительности. Он

похож был на путешественника, возвратившегося домой после долгого отсутствия. Внезапно он сделал движение, поднеся руку к лицу. Тогда я увидел, что то, что казалось мне раньше облачком, было одной из карнавальных масок, какие в старину употребляли венецианцы; но еще прежде, чем он снял ее, я угадал, кто был мой ночной посетитель. Не должен ли я был и в самом деле поджидать его появления, возвещенного столькими знаками? С первого же вечера по моем прибытии в Венецию, когда я сидел «под китайцем» у Флориана, слушая рассказы Прентиналь, — не бродил ли он уже вокруг меня? Не он ли захотел, чтоб я поселился в его собственном дворце? Не он ли сам открыл мне свое имя? Не меня ли избрал он среди всех других, чтобы явить мне свое существование? Все это я так глубоко ощутил в тот день, что уже не испытал никакого удивления. Не было ли справедливо ему вновь вступить в обладание прекрасным лепным залом? Мне оставалось лишь низко поклониться ему и сказать: «Привет нам, Винченте Альтиненго, привет вам! Добро пожаловать в ваш собственный дом!» Теперь, когда он снял маску и лицо его стало ясно видным, не могло уже оставаться никакого сомнения. Винченте Альтиненго

был очень похож на оба свои изображения — в бюсте и на портрете. Передо мной стоял поистине Винченте Альтиненго, в глубине зеркала, где его образ вытеснил мой. Это он стучал ногами по мозаичному полу с крапинками перламутра, он, лишенный красок, невесомый, почти еще нематериальный; и его присутствие казалось таким и простым и естественным, что я и не старался понять его смысл и таинственную цель.

* * *

Винченте Альтиненго появлялся в зеркале высокой двери не каждый вечер в одинаковом виде. Он всякий раз дожидался часа, когда я зажигал свечи, но представал предо мною не всегда в табаро, с треуголкой на голове и с лицом под маской, как в первый раз. Иногда он сидел, опершись локтем о стол; иной раз стоял у окна и как будто смотрел на улицу. Довольно часто случалось ему прохаживаться вдоль и поперек зала с видом человека, погруженного в размышления. Это разнообразие положений было не единственным новым явлением. Происходило еще другое изменение, которое сказывалось с каждым днем все сильнее. Именно, мало-помалу стала меняться степень плотности образа. Вначале, как я ска-

зал, тень Винченте Альтиненго казалась чем-то нематериальным, невесомым, и притом была бесцветной, туманно-сероватого оттенка; но вскоре мне начало представляться, что она приобретает вес и становится более вещественной. В то же время она стала окрашиваться в цвета все более реальные, пока еще очень бледные, но уже заметно различавшиеся между собой. Винченте Альтиненго, по мере того, как происходило это изменение, все менее и менее начинал походить на призрак. По истечении некоторого времени я уже мог различать оттенки тонов его одежды и характер материи. Лицо и руки понемногу становились как у живого.

Я с интересом следил за этим. С любопытством и вниманием, ставшими уже привычными, я рассматривал своего ночного приятеля. Я наблюдал, как он прохаживается в глубине высокого зеркала. Он жил в своем одиночестве, как и я в моем; мы пребывали лицом к лицу, и лишь тонкая пластинка стекла разделяла два мира нашего обоюдного одиночества.

Такое положение вещей продолжалось некоторое время. Меж тем, появления Винченте Альтиненго, в начале весьма краткие, становились все более продолжительными. Часто, при

своих первых приходах, призрак с некоторым трудом принимал обличье и, достигши предела возможной для себя ясности, он рассеивался постепенно, тускнея прежде, чем исчезнуть. Теперь он гораздо быстрее приобретал облик реальности и сохранял его до той самой минуты, когда начинали гаснуть свечи.

Хотя я и быстро освоился с моим своеобразным посетителем, все же предо мной вставал один вопрос. Замечал ли Винченте Альтиненго мое существование? Мог ли он меня видеть так же, как я видел его? До сих пор ни один признак не позволял мне предположить подобное, но настала минута, когда стало возможным полагать иначе. В тот вечер Альтиненго прохаживался, заложив руки за спину; вся его фигура в тот вечер была видна особенно отчетливо. Внезапно он остановился, резко повернулся в мою сторону, сделал жест удивления и затем продолжал прогулку; но заметно стало, что он озабочен. Ясно было, что Альтиненго что-то смутило, и что, быть может, причиной его смущения был я.

Мысль эта не покидала меня и в следующие вечера, так как беспокойство Альтиненго усиливалось. Оно проявлялось в его взволнованном виде, во взглядах, бросаемых им в том направле-

нии, где я находился, в некоторых его жестах и позах. Альтиненго следил за мной, то открыто, то исподтишка. Иногда он внезапно вставал с кресла, в которое только что уселся, несколько раз обходил комнату кругом, потом застывал на месте, насторожив зрение и слух. Не раз видел я, как он протирал глаза, точно человек, старающийся избавиться от обмана зрения. Но настал вечер, когда последние мои сомнения должны были рассеяться, и вот в силу каких обстоятельств.

В этот вечер Альтиненго довольно уже долго прогуливался по залу, как вдруг я увидел, что он направляется к одной из дверей. По его жестам я понял, что к нему вошел посетитель, и, хотя сам этот посетитель оставался для меня невидимым, мне стали ясны цель визита и предмет разговора. Речь шла несомненно обо мне. Альтиненго рассказывал о необыкновенных явлениях, которые ему приходилось наблюдать. Он отвергал возражения своего собеседника. Тот, по-видимому, пытался внушить ему, что все это — игра воображения, но Альтиненго качал головою, как человек, не желающий слушать никаких доводов. Альтиненго и я существовали друг для друга!

Следствием этой уверенности с моей стороны явилось сильнейшее желание войти в сношения

с существом столь близким и одновременно столь далеким от меня, и мне казалось, что и Альтиненго хочет того же. Надо ли было удивляться взаимности наших чувств? Не свел ли таинственный случай нас вместе, меня, парижанина наших дней, и его, венецианца былых времен? Не было ли в этом некоего предназначения судьбы? Не оказались ли мы оба во власти таинственного стечения обстоятельств, пожелавших, чтоб этот старый заброшенный палаццо стал местом нашей встречи? Странное приключение, которое я, хоть и не был ничем к нему подготовлен, принял без всякого удивления… Да и почему бы мне было не принять его, раз оно пришло ко мне так просто, так естественно? Оно не было результатом вызывания духов или какого-нибудь колдовства. Несколько мелких, разрозненных фактов незаметно привели меня к нему. Зачем мне было от него уклоняться, раз оно само шло мне навстречу? И, наконец, разве для меня, гостя Винченте Альтиненго, не было долгом простой вежливости протянуть руку его тени?

Альтиненго смотрел на дело точно так же; в этом мне пришлось теперь убедиться. До сих пор он любил держаться в глубине комнаты, но теперь, с каждым вечером, он выходил все более

вперед. Сейчас я его видел уже совсем близко. Целыми часами мы наблюдали друг друга, лицом к лицу. Лишь тонкий листок стекла разделял нас, и мы знали оба, что оно разобьется, ибо должно было разбиться. Это было несомненно, необходимо, неизбежно. Но кто из нас двоих сделает решительный шаг? Альтиненго или я? Призрак или живое существо? Кто из нас двоих окажется более смелым, — вот вопрос, который мы взглядами задавали друг другу, стоя лицом к лицу, каждый в своем собственном мире, меж тем как позади нас, в огне свечей, великолепное и причудливое убранство старинной лепки и фаянса сияло переливами золота, а над нашими головами высился на изъеденных временем сваях древний дворец Альтиненго, зыбкий в своей ветхости; а в это время, снаружи, таинственная ночная Венеция, хрупкая, запутанная, чудесная, возносилась над собственным отражением, удваивая мозаику своей архитектуры в зеркале окаймляющей лагуны и своих внутренних, извивающихся тысячью каналов вод, — Венеция, над которой блистал, подобный кусочку перламутра в полу дворца, ущербленный диск сверкающей луны…

С каждым вечером неизбежное событие приближалось. Оно занимало все мои мысли, за-

полняло меня целиком. Я совершенно забыл обо всем, что не касалось Альтиненго. Я забыл о себе самом. Если бы меня спросили, почему я живу в Венеции, запрятавшись в старый палаццо, и какие обстоятельства привели меня сюда, я бы наверное не мог ответить. Но никто не задавал мне вопросов. Никто не приходил развлечь мое одиночество. Лишь несколько незначительных фраз, которыми я ежедневно обменивался с синьорой Вераной, нарушали окружавшее меня молчание; а за окном в это время гудел сильный ветер, вызывающий осенний прибой, от которого вздуваются венецианские каналы и вода заливает ступени набережных, забирается в порт и проникает в вестибюли палаццо, меж тем как дуновение бури колеблет их высокие трубы и сотрясает деревянные остовы балконов. Прибой, столь иногда сильный, что волны покрывают мол и разливаются по Пьяцетте, обращая площадь Сан-Марко в озеро с маленькими волночками, по которым словно плывет, как Букентавр[30] из мрамора и эмали, византийский корабль апостолической базилики; соленый прибой, могучее дуновение моря, которое Лев на порфировой

[30] Сноски: 30

Древняя венецианская галера XIV века, на которой дожи совершали обряд своего обручения с морем.

колонне вдыхает своими жадными ноздрями и от которого трепещут, в воображаемом полете, его бронзовые крылья…

Но что мне было до всего этого? Лишь одно занимало меня: кто из нас двоих, Альтиненго или я, сделает решительное движение, которого ждали мы оба, ибо мы оба желали его, ибо мы оба его желали и ждали, и он, и я! Наши лица почти соприкасались, наши взоры влеклись друг к другу навстречу с бесконечным любопытством, наши руки искали друг друга. Кому же суждено осуществить это чудо, Альтиненго или мне, или, наконец, простому случаю?

. . . . . .

* * *

Я пробудился после необычайного сна. Мне казалось, что он был очень долгим, гораздо дольшим, чем сон одной ночи. Глубокий, бездонный, он был полным прекращением моего бытия. Все было усыплено во мне, — мое тело, моя кровь, моя память, настоящее, прошлое. Из глубины этого сна я поднимался медленно, как из бездны, постепенным восхождением; вот я коснулся поверхности, вот я возвращаюсь к жизни. Я еще

не живу, но сейчас начну жить. Скоро я смогу открыть глаза, пошевелить ногой, сделать движение, заговорить.

Среди тишины я огляделся кругом. Я лежал в постели. Вокруг меня выбеленные стены едва-едва обставленной комнаты. На мне рубашка грубого полотна. Что-то сжимает мне голову. Это повязка. Где я? Почему я в постели? Что это за белая келья? Что случилось? Я сделал движение рукой и коснулся груши звонка. Появилась молодая сестра милосердия и подошла ко мне. Она улыбнулась и взяла меня за кисть руки:

— Ага, нашему милому больному сегодня гораздо лучше! Не нужно ли вам чего-нибудь? Я сейчас позову доктора, он у себя в кабинете… Он мне велел…

Я остановил ее:

— Мне прежде всего хотелось бы узнать, где я нахожусь.

Молодая женщина рассмеялась.

— Да, вы правы. Вы находитесь в клинике доктора Беллинчони, на Джудекке.

Не раз, гуляя по Джудекке, я проходил мимо небольшого желтого дома с высокими трубами под колпаками и большим красным крестом над дверью. Однажды я даже зашел внутрь, чтобы

прогуляться по саду, который был виден снаружи через вестибюль.

— Но как же я попал в эту клинику?

— Погодите, доктор сам вам расскажет.

Доктор Беллинчони был толстый человек с гладко выбритым лицом, жизнерадостный и приятный на взгляд. Прежде, чем отвечать на мои вопросы, он подверг меня осмотру. Результат, казалось, удовлетворил его, ибо, кончив, он непринужденно уселся в ногах моей кровати и, потирая свои красивые руки, сказал:

— Так, так, дорогой мой, все обстоит хорошо. Теперь вы вне опасности. Да, еще лишь немного отдыха, хорошего ухода, спокойствия. Рана еще не зарубцевалась, но всякие нежелательные явления исчезли совершенно. Черт возьми, удар был изрядным, и вас задело основательно!

Я приподнялся на подушке.

— Какой удар, доктор?

— Какой удар? Удар тяжелого зеркала, которое выпало из рамы, обрушилось вам на голову и разбилось вдребезги! Эти осколки и самый ушиб причинили вам тяжелую рану, от которой вы сейчас оправляетесь. Вы еще счастливо отделались. Но позвольте вам заметить, что лицо, посоветовавшее вам поселиться в старом палац-

цо Альтиненго, сделало не особенно удачный выбор, ибо мало того, что упало поразившее вас зеркало, — на другой день после этого несчастья обрушилась часть стены и провалился пол. Палаццо, когда вы в нем селились, был уже в состоянии опасной расшатанности и не смог противостоять напору прибоя и бурному ветру. Он едва целиком не обрушился в канал. Сейчас муниципалитет распорядился очистить его от жильцов и предполагает снести совершенно.

Я слушал доктора со вниманием. Он продолжал:

— Это произошло с вами, конечно, ночью. Удивительно, что никто из других обитателей палаццо не услышал шума. Правда, что ваше помещение совсем изолировано, и ночью бушевал сильный ветер. Утром синьора Верана, ваша экономка, войдя в комнату, нашла вас лежащим без чувств среди лужи крови. У этой особы явилась счастливая мысль тотчас же доставить вас в мою клинику. Она заходила несколько раз справляться о вашем здоровье, также как один милейший антикварий по имени Зотарелли и еще один из ваших друзей, синьор Прентиналья, вернувшийся из путешествия два дня спустя после несчастного случая с вами. Он был очень

взволнован и расспрашивал меня, как все это произошло; но я не мог сообщить ему никаких подробностей. Вы, вероятно, можете лучше моего все объяснить и, может быть, вспомните, что собственно произошло между вами и этой проклятой дверью, которая, черт возьми, едва не стала для вас путем на тот свет. Однако, довольно на сегодня, мы и то слишком долго болтали. Теперь вам нужен отдых на несколько часов, до вечерней перевязки.

Я послушался совета доктора Беллинчони и, поблагодарив его за заботы обо мне, погрузился в раздумье. Должен ли я был принять объяснение доктора Беллинчони? Значит ли это, что случай положил сразу конец галлюцинации, жертвой которой я был и течение ряда недель? Пострадала ли также и зыбкая тень Винченте Альтиненго, подобно моему телу, от внезапного падения двери? Случайно ли прервалась наша таинственная беседа? Неужели таинственное приключение, на пороге которого я, казалось, стоял, могло так нелепо закончиться глупым поранением, помешавшим мне довести его до конца? Не имело ли оно продолжения в том неестественном сне, который так удивил и встревожил доктора Беллинчони? Быть может, во время сна я на-

ходился вместе с Винченте Альтиненго в том таинственном мире, из которого он хотел выйти и в который хотел увлечь меня? Но что бы там со мной ни происходило, я, увы, утратил об этом всякое воспоминание. Итак, последняя возможность, представлявшаяся мне, ускользнуть на мгновение за пределы моего печального существования, изменила мне! Быть может, Винченте Альтиненго некогда в этом самом зале, украшенном лепной работой и фаянсом, томился той же меланхолией, что и я, и шел ко мне, чтоб сказать слово утешения, которого я теперь никогда не узнаю? Однако, не было ли все это бредом моей бедной разбитой головы, который заставил бы улыбнуться доктора Беллинчони, если бы я решился ему рассказать?

Вечером доктор, после довольно мучительной перевязки, поправил бинт и сказал:

— Ну, теперь рана в хорошем состоянии, в очень хорошем состоянии. Если завтра г-да Зотарелли и Прентиналья придут справляться о вашем здоровье, я им позволю зайти к вам на минутку.

Синьор Прентиналья пришел первым. Он бросился к моей постели и стал неистово целовать мне руки.

— Ах, мой друг, мой дорогой друг, как я себя

упрекал! Ведь, в конце концов, это все моя вина! Во всем случившемся виноват ваш Прентиналья. Не я ли указал вам на этот проклятый палаццо Альтиненго? Ах, ваша бедная раненая голова! Я никогда себе этого не прощу!

И, одной рукою ударяя себя в грудь, он другою указывал на мои бинты. Он стоял передо мной, как всегда закутанный в широкий плащ, со своим обычным желтым лицом персонажа комедии. На его пальце сверкало кабалистическое кольцо, которым он запечатал письмо ко мне, содержавшее адрес дворца на Фондамента Фоскарини и синьоры Вераны. Что было общего между этой молчаливой Вераной с ее косым взглядом и этим Прентинальей с лицом словно в маске? А как обстоит дело с этим сумасшедшим лордом Сперлингом из Каза дельи Спирити? Прентиналья доехал вместе с ним до Рима, и тот там остался, собираясь ехать в Милан на конгресс исследователей «психических явлений». Но неправда ли, все вскоре соберутся вместе «под китайцем»? Прентиналья добавил беспечно:

— Да, кстати, дорогой мой, вы помните историю с исчезновением маленького бюста из Городского музея, которую я вам рассказывал? Так вот, бюст вернулся на свое место, в витрину! В одно

прекрасное утро его там нашли, как всегда улыбающимся и в парике. Но только мистификатор, перенося его, вероятно, уронил, потому что обнаружена трещина, и довольно-таки заметная. Его сейчас реставрируют… Но вы уже устали от меня, мой друг! Да скорого свидания! Я приду еще раз.

И Прентиналья, вместе со своей мягкой шляпой и плащом, исчез, при чем в прощальном жесте на его указательном пальце блеснул сердолик с магическими знаками.

Когда он ушел, я почувствовал себя утомленным и полузакрыл глаза. Я был один в своей белой комнате. Меня окружала глубокая тишина Джудекки. Мысленно я вновь видел Фондамента Фоскарини, старый дворец, его серый фасад с зелеными ставнями, шторами цвета охры и пузатыми балконами, его лестницу со стертыми ступеньками и стенами, покрытыми селитрой, маленькую площадку сеней, где в мозаику пола вкраплен кусочек перламутра, вестибюль, комнату с медальонами, лепной зал с его украшениями, камином и фаянсовыми панно с золочеными фигурками. Я видел пред собой высокую зеркальную дверь в мраморном обрамлении, где в далекой глубине отражения мне явился из потустороннего мира, чтобы принять нового гостя

в своем старинном жилище, Винченте Альтиненго, Венецианец, и прощальным жестом, в то время как колокола Реденторе и Санта-Эуфемия прорезали своим звоном кристаллически ясный воздух, я приветствовал в последний раз его образ, который, казалось, отвечал своей загадочной, насмешливой и меланхолической улыбкой на мой привет и которого я больше уже не видел никогда!

РЮНОСКЭ АКУТАГАВА

ЧУДЕСА МАГИИ

Перевод с японского В. Марковой

Был дождливый осенний вечер. Рикша, который вез меня, бежал то вверх, то вниз по крутым холмам предместья Омори. Наконец он остановился и опустил оглобли перед маленьким домиком европейского типа, спрятавшимся посреди бамбуковой рощи.

В тесном подъезде, где серая краска давно облупилась и висела как лохмотья, я прочел надпись, сделанную японскими знаками на новой фарфоровой дощечке: «Индиец Матирам Мисра».

Теперь, должно быть, многие из вас знают о Матираме Мисре. Мисра-кун, патриот, родом из Калькутты, был горячим поборником независимости Индии. В то же время он был великим мастером искусства магии, изучив ее тайны под руководством знаменитого брахмана Хассан-хана.

За месяц до этого один мой приятель познакомил меня с Мисрой-куном. Мы с ним много спорили по разным политическим вопросам, но

мне еще не довелось видеть, как он совершает свои удивительные магические опыты. И потому, послав ему заранее письмо с просьбой показать мне нынче вечером чудеса магии, я взял рикшу и поехал в унылое предместье Омори, где проживал тогда Мисра-кун.

Стоя под проливным дождем, я при тусклом свете фонаря отыскал под фамильной дощечкой звонок и нажал кнопку. Мне сразу отперли. Из дверей высунулась низкорослая старушка-японка, бывшая в услужении у Мисры-куна.

— Господин Мисра дома?

— Как же, как же, пожалуйста! Он давно вас поджидает.

С этими радушными словами старушка прямо из прихожей провела меня в комнату Мисры-куна.

— Добрый вечер! Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали в такой дождь!

Смуглолицый и большеглазый, с мягкими усами, Мисра-кун оживленно приветствовал меня, припуская фитиль в стоявшей на столе керосиновой лампе.

— Нет, право, ради того чтобы посмотреть чудеса вашего искусства, я готов приехать в любую погоду. Стоит ли говорить о дожде!

Я опустился на стул и оглядел слабо освещенную керосиновой лампой мрачную комнату.

Бедная обстановка в европейском стиле. Посередине большой стол, возле стены удобный книжный шкаф, столик перед окном… Да еще два стула для нас, вот и все. И стулья и столы — старые, обшарпанные. Даже нарядная скатерть с вытканными по краю красными цветами истрепалась до того, что кое-где плешинами обнаружилась основа.

Но вот обмен приветствиями закончился. Некоторое время я безотчетно слушал, как шумит дождь в бамбуковой роще. Вскоре опять появилась старая служанка и подала нам по чашке зеленого чая.

Мисра-кун открыл коробку с сигарами:

— Прошу вас, возьмите сигару!

— Благодарю!

Я без дальнейших церемоний выбрал сигару и, зажигая ее, сказал:

— Наверно, подвластный вам дух называется джинном. А скажите, это при его помощи будут совершены чудеса магии, которые я сейчас увижу?

Мисра-кун тоже закурил сигару и, лукаво посмеиваясь, выпустил струйку ароматного дыма.

— В джиннов верили много столетий назад. Ну, скажем, в эпоху «Тысячи и одной ночи». Магия, которой я обучался у Хассан-хана, — не волшебство. И вы могли бы делать то же, если б захотели. Это всего лишь гипноз, согласно последнему слову науки. Взгляните! Достаточно сделать рукою вот так…

Мисра-кун поднял руку и два-три раза начертил в воздухе перед моими глазами какое-то подобие треугольника, потом поднес руку к столу и сорвал красный цветок, вытканный на краю скатерти. Изумившись, я невольно придвинул свой стул поближе и начал внимательно разглядывать цветок. Сомнения не было: только сейчас он составлял часть узора. Но когда Мисра-кун поднес этот цветок к моему носу, на меня повеяло густым ароматом, напоминавшим запах мускуса.

Я так был поражен, что не мог сдержать возгласа удивления. Мисра-кун, продолжая улыбаться, будто случайно уронил цветок на стол. И не успел цветок коснуться скатерти, как снова слился с узором. Сорвать этот цветок? Да разве можно было теперь хотя бы пошевелить один из его лепестков!

— Ну, что скажете? Невероятно, правда? А теперь взгляните-ка на эту лампу.

С этими словами Мисра-кун слегка передвинул стоявшую на столе лампу. И в тот же миг, неизвестно почему, лампа вдруг завертелась волчком, причем осью вращения служило ламповое стекло. Сперва я даже перепугался, сердце у меня так и замирало при мысли, что вот-вот вспыхнет пожар. А тем временем Мисра-кун с самым беззаботным видом попивал чай. Испуг мой понемногу прошел, и я стал не отрывая глаз смотреть, как лампа вертится все скорее и скорее.

Это в самом деле было красивое, поразительное зрелище! Абажур в своем стремительном круженье поднял ветер, а желтый огонек хотя бы раз мигнул!

Лампа, наконец, начала вертеться с такой быстротой, что мне показалось, будто она стоит на месте. Мгновение — и я понял: она, как прежде, неподвижно стоит посреди стола. Ламповое стекло даже не накренилось.

— Вы изумлены? А ведь это фокусы для детей! Но если хотите, я покажу вам еще кое-что.

Мисра-кун обернулся и поглядел на книжный шкаф. Потом протянул к нему руку и словно кого-то поманил пальцем. Вдруг книги, тесным строем стоявшие в шкафу, зашевелились и одна за другой стали перелетать на стол. На лету они

широко распахивали створки переплета и легко реяли в воздухе, как летучие мыши летним вечером. Я как был с сигарой в зубах, так и оцепенел от неожиданности. Книги свободно кружились в тусклом свете над лампой, а затем друг за дружкой, в строгом порядке, стали ложиться на стол, пока перед нами не выросла целая пирамида. И в том же строгом порядке стали по очереди, от первой до последней, перелетать в шкаф.

И вот что было любопытней всего! Одна из книг в тонкой бумажной обложке вдруг раскрылась так, словно у нее распустились крылья, и взмыла к самому потолку. Некоторое время она описывала круги над столом — и вдруг, шурша страницами, стремительно упала мне на колени. «В чем тут дело?» — подумал я и бросил взгляд на обложку. Это был новый французский роман, который неделю назад я дал почитать Мисре-куну.

— Позвольте вернуть вам с благодарностью, — все еще улыбаясь, любезно сказал мне Мисра-кун.

Все книги уже успели перелететь обратно в шкаф. Я будто от сна очнулся и с минуту не мог вымолвить ни слова. Вдруг мне припомнилось, что сказал Мисра-кун: «И вы могли бы делать то же, если б захотели».

— Да, я слышал о вас много удивительного. И все же, должен сознаться, ваше искусство превзошло мои ожидания. Но вы сказали, что и я могу научиться этому искусству. Вы, вероятно, пошутили?

— Уверяю вас, нет! Каждый может обучиться магии без особого труда. Но только…

Пристально глядя мне в лицо, Мисра-кун вдруг перешел на серьезный тон.

— Только не человек, одержимый корыстью! Если вы правда хотите научиться искусству Хассан-хана, вам нужно сначала победить в себе корыстолюбие. В вашей ли это власти?

— Надеюсь, что так, — ответил я. Но, почувствовав в душе некоторую неуверенность, поспешил добавить: — Лишь бы вы согласились стать моим наставником!

Лицо Мисры-куна продолжало выражать сомнение. Но, видно, он подумал, что упорствовать дальше было бы неучтиво, и наконец великодушно согласился.

— Ну что ж, буду вас учить. Наука простая, но так сразу она не дается, нужно время. Оставайтесь сегодня ночевать у меня.

— О, я бесконечно вам признателен!

Вне себя от радости, что буду учиться искусству

магии, я рассыпался в благодарности. Но Мисракун, словно ничего не слыша, спокойно поднялся со стула и позвал:

— Бабушка! Бабушка! Гость сегодня ночует у нас. Приготовьте ему постель.

Сердце у меня сильно забилось. Позабыв стряхнуть пепел с сигары, я невольно поднял глаза и поглядел в упор на Мисру-куна, на его приветливое лицо, озаренное светом лампы.

* * *

Прошел месяц с тех пор, как я начал учиться магии у Мисры-куна. В точно такой же дождливый вечер я вел легкий разговор с несколькими друзьями, сидя возле пылающего камина в комнате одного из клубов на улице Гиндза.

Как-никак это было в центре Токио, и потому шум дождя, лившегося потоком на крыши бесчисленных автомобилей и экипажей, не казался столь печальным, как тогда в бамбуковой чаще Омори.

Да и клубная комната выглядела так непохоже на мрачную комнату Мисры-куна, где, казалось, вот-вот появятся привидения…

Мы беседовали в облаках сигарного дыма о скачках и охоте. Один из приятелей небрежно

бросил окурок сигары в камин и повернулся ко мне.

— Говорят, последнее время вы занимаетесь магическими опытами. Не покажете ли нам что-нибудь?

— Что ж, пожалуй, — ответил я, запрокинув голову на спинку кресла, таким самоуверенным тоном, словно был уже великим магом.

— Тогда покажите что угодно — по вашему выбору. Но пусть это будет чудо, недоступное обыкновенному фокуснику.

Все поддержали его и придвинули стулья поближе, словно приглашая меня приступить к делу.

Я медленно поднялся с места.

— Смотрите внимательно. Искусство магии не требует никаких уловок и ухищрений!

Говоря это, я завернул манжеты рубашки и спокойно сгреб в ладони несколько раскаленных угольков из камина. Но даже и эта безделица насмерть перепугала зрителей. Они невольно подались назад из страха, что обожгутся.

Я же, сохраняя полное спокойствие, некоторое время показывал, как пылают на моих ладонях угли, а потом разбросал их по паркету. И вдруг, заглушая шум дождя за окнами, по всему полу

словно забарабанили тяжелые капли… Огненные угольки, вылетая из моих рук, превращались в бесчисленные сверкающие червонцы и золотым дождем сыпались на пол. Приятелям моим казалось, будто они видят сон. Они забыли даже аплодировать.

— Ну вот вам — сущий пустячок!

И я, улыбаясь с видом победителя, спокойно сел в свое кресло.

— Послушайте, неужели это настоящие червонцы? — спросил минут через пять один из моих пораженных изумлением друзей.

— Самые настоящие червонцы. Если не верите, попробуйте возьмите их в руки.

— Ну уж нет! Кому охота обжечься?

И все же один из зрителей боязливо поднял с пола червонец и воскликнул:

— В самом деле — чистое золото, без обмана! Эй, официант, принеси метелку и совок и подбери все монеты с пола.

Официант, как ему было приказано, собрал в совок золотые и высыпал их горкой на стол. Мои приятели сгрудились тесной толпой.

— Ого, здесь, пожалуй, наберется тысяч на двести иен!

— Нет, нет, больше. Хорошо, что попался креп-

кий стол, а то не выдержал бы, подломился.

— Нечего и говорить, вы научились замечательному волшебству. Подумать только, в один миг превращать угли в золотые монеты!

— Да этак и недели не пройдет, как вы станете архимиллионером, под стать самому Ивасаки или Мицуи.

Зрители наперебой восхищались моим искусством, а я, откинувшись на спинку кресла, дымил сигарой.

— О нет, используй я хоть однажды искусство магии ради низкой корысти, во второй раз ничего бы не получилось. Вот и эти червонцы… если вы уж довольно нагляделись на них, я сейчас же брошу обратно в камин.

Услышав эти слова, приятели дружно запротестовали, словно сговорились.

— Такое огромное богатство снова превратить в уголья, да ведь это неслыханная глупость! — повторяли они.

Но я упрямо стоял на своем: непременно брошу червонцы обратно в камин, как обещал Мисрекуну. Но вдруг один из приятелей, как говорили, самый хитрый из всех, сказал, ехидно посмеиваясь себе под нос:

— Вы хотите превратить эти червонцы снова в

угли. А мы не хотим. Этак мы никогда не кончим спорить. Вот что я придумал: сыграйте-ка с нами в карты! Пусть эти червонцы будут вашей ставкой. Останетесь в выигрыше — что ж, распоряжайтесь ими, как вам будет угодно, превращайте их снова в угли. Ну, а если выиграем мы, отдайте нам все золотые в полной сохранности. И спор наш, в любом случае, закончится к обоюдному согласию!

Но я отрицательно потряс головой. Нелегко было меня уговорить. Тут приятель мой стал смеяться еще более ядовито, хитро поглядывая то на меня, то на груду червонцев.

— Вы отказываетесь сыграть в карты, чтобы не отдать нам эти червонцы. А еще говорите: победили корысть, чтобы совершать чудеса! Ваша благородная решимость что-то теперь кажется сомнительной, не так ли?

— Поверьте, я превращу эти золотые в угли совсем не потому, что пожалел отдать их вам…

Мы без конца повторяли свои аргументы, и наконец меня, что называется, к стенке приперли. Пришлось согласиться поставить червонцы на карту, как требовал приятель. Само собой, все страшно обрадовались. Где-то раздобыли колоду карт и, тесным кольцом обступив картежный столик, стоявший в углу, стали наседать на меня:

— Ну же! Ну, скорее!

Вначале я вел игру нехотя, без увлечения. Обычно мне не везет в карты. Но в этот вечер мне почему-то фантастически везло. Играя, я постепенно увлекся. Не прошло и десяти минут, как, позабыв обо всем на свете, я по-настоящему вошел в азарт.

Партнеры мои, конечно, затеяли этот карточный поединок с целью завладеть моим золотом. Но по мере того как рос их проигрыш, они словно обезумели и с побелевшими лицами повели против меня самую отчаянную игру. Все их усилия были напрасны! Я ни разу не проиграл. Напротив! Я выиграл почти столько же золотых, сколько у меня было сперва. Тогда тот же самый недобрый приятель, подбивший меня на игру, крикнул, безумным жестом разметав передо мной карты:

— Вот. Вытащите карту! Я ставлю все свое состояние — земли, дом, лошадей, автомобиль, все, все без остатка! А вы поставьте все ваши червонцы и весь ваш выигрыш. Тяните же!

В этот миг во мне загорелась жадность. Если я сейчас, на свою беду, проиграю, то, значит, должен буду отдать ему мою гору червонцев, да еще весь мой выигрыш в придачу? Но зато уж если выиграю, все богатство моего приятеля

сразу перейдет ко мне в руки! Стоило, в самом деле, учиться магии, если не прибегнуть к ней в такую минуту!

При этой мысли я уже не в силах был владеть собой и, тайно пустив в ход магические чары, сделал вид, что наконец решился:

— Ну, хорошо! Тяните карту вы первый.

— Девятка.

— Король! — торжественно воскликнул я и показал свою карту смертельно побледневшему противнику.

Но в то же мгновение — о чудо! — карточный король словно ожил, поднял свою увенчанную короной голову и высунулся по пояс из карты. Церемонно держа меч в руках, он зловеще усмехнулся.

— Бабушка! Бабушка! Гость собирается вернуться домой. Не надо готовить ему постели, — прозвучал хорошо знакомый голос.

И тотчас же, неизвестно отчего, дождь за окном так уныло зашумел, словно он падал тяжелыми, дробными каплями там, в бамбуковых зарослях Омори.

Я вдруг опомнился. Поглядел вокруг. По-прежнему я сидел против Мисры-куна, а он, в неярком свете керосиновой лампы, улыбался, как тот

карточный король.

Еще и пепел не упал с сигары, зажатой у меня между пальцами. Мне казалось, что прошел целый месяц, а на самом деле я видел сон, и этот сон длился всего две-три минуты. Но за этот короткий срок мы оба ясно поняли, что я не тот человек, кому можно открыть тайны магии Хассан-хана.

Низко опустив голову от смущения, я не проронил ни слова.

— Прежде чем учиться у меня искусству магии, надо победить в себе корыстолюбие. Но даже этот один-единственный искус оказался вам не под силу, — мягко, с видом сожаления, упрекнул меня Мисра-кун, положив локти на стол, покрытый скатертью с каймой из красных цветов.

СТРАННАЯ ВСТРЕЧА

Перевод с японского В. Гривнина

1

О-Рэн стала содержанкой и в начале зимы 1895 года поселилась на улице Ёкоами в районе Хондзё.

Снятый для нее крохотный одноэтажный домик стоял на берегу реки у моста Окураба. Когда она смотрела из сада на реку, на умиротворенный, спокойный пейзаж, совсем не похожий на городской, он не казался ей унылым: там, где сейчас станция Рёгоку, тянулись, заслоняя пасмурное, готовое пролиться дождем небо, густые заросли кустов и деревьев. Но по ночам, если с О-Рэн не было господина, ей становилось порой невыразимо тоскливо.

— Бабушка, кто это кричит?

— Это? Кваква.

Так О-Рэн, когда ей было не по себе, переговаривалась со служанкой, поддерживая в лампе огонь.

Примерно раз в три дня появлялась плотная фигура ее господина — Макино в интендантской форме, который заглядывал к ней еще засветло прямо со службы. Случалось, что он приходил и после захода солнца, уже из дому — он жил напротив моста Умаябаси. У Макино была семья — жена и двое детей, мальчик и девочка.

О-Рэн, которая с недавних пор стала причесываться как замужняя женщина, собирая волосы в пучок, вечерами сидела у жаровни напротив Макино, по семейному, и пила с ним сакэ. На разделявшем их чайном столике стояли тарелочки и мисочки с закуской — сухой соленой икрой, солеными потрохами трепанга…

В такие минуты перед О-Рэн нередко проносилась в памяти вся ее прошлая жизнь. Вспоминая многочисленную семью, подруг, она еще острее ощущала свою полную беззащитность в этой чужой, далекой стране. Иногда ее вдруг охватывала жгучая ненависть к разжиревшему Макино.

А Макино в это время с истинным удовольствием маленькими глотками, смакуя, пил сакэ. Он то и дело отпускал шутки, заглядывал при этом в лицо О-Рэн и громко хохотал — такая у него была привычка, когда выпьет.

— Ну, что ты за человек, О-Рэн, даже Токио тебе

не по душе.

В ответ О-Рэн лишь улыбалась, следя за тем, чтобы все было в порядке, чтобы сакэ не остывало.

Ревностный служака, Макино редко оставался ночевать. Как только стрелки часов, лежавших у изголовья, подходили к двенадцати, он сразу же начинал совать свои толстые руки в рукава шерстяной рубахи. О-Рэн в неловкой позе, стоя на коленях, тоскливо наблюдала за судорожными сборами Макино.

— Захвати хаори, — раздавался иногда в дверях нетерпеливый голос Макино, на его лоснящееся лицо падал тусклый свет фонаря.

Каждый раз, проводив Макино, О-Рэн чувствовала, что нервы ее напряжены до предела. И в то же время ей бывало грустно оставаться одной.

Когда шел дождь и дул ветер, кусты и деревья уныло шумели. О-Рэн, спрятав лицо в рукава ночного кимоно, пропахшего Сакэ, настороженно прислушивалась к этому шуму. В такие минуты глаза ее часто наполнялись слезами. Но вскоре она забывалась тяжелым сном, сном, похожим на кошмар.

2

— Что случилось? Откуда у вас эта царапина?

Был тихий дождливый вечер, и О-Рэн, наливая Макино сакэ, вдруг бросила взгляд на его правую щеку. И увидела на этой выбритой до синевы щеке багровую царапину.

— Эта? Жена оцарапала.

Он произнес это как ни в чем не бывало, ни лицо, ни голос у него не дрогнули — можно было даже подумать, что он шутит.

— Фу, какая противная у вас супруга! С чего это она опять за старое принялась?

— С чего, с чего. Обычная ревность. Она ведь знает, что у меня есть ты, так что лучше не попадайся ей, а то несдобровать. Глотку перегрызет. Без всяких разговоров, как дикая собака.

О-Рэн захихикала.

— Нечего смеяться. Стоит ей узнать, что я здесь, мигом примчится, ни на что не посмотрит.

Слова Макино прозвучали неожиданно серьезно.

— Когда это случится, тогда и буду думать, что делать.

— Ну и отчаянная же ты!

— Совсем не отчаянная. Просто люди моей стра-

ны… — О-Рэн задумчиво посмотрела на тлеющие в жаровне угли. — Люди моей страны безропотно мирятся с судьбой.

— Ты хочешь сказать, что они не ревнивы? — В глазах Макино промелькнула хитринка.

— Ревнивы. Все до единого ревнивы. Особенно я…

Тут из кухни пришла служанка и принесла рыбу на вертеле, которую они просили зажарить.

Ту ночь Макино провел у любовницы, чего давно уже не бывало.

Они легли и постель и вдруг услышали, что пошел мокрый снег. Макино уже давно уснул, а О-Рэн никак не могла уснуть и лежала с широко раскрытыми глазами, стараясь представить себе жену Макино, которую не видела ни разу в жизни. О-Рэн нисколько не жалела ее, что было совершенно естественно, и в то же время не испытывала к ней ни ненависти, ни ревности.

Жена Макино вызывала в ней только любопытство. Интересно было узнать, как происходила эта семейная ссора? О-Рэн самым серьезным образом думала об этом и поежилась от шуршания мокрого снега, падавшего на кусты и деревья.

Так пролежала она часа два, а потом заснула…

О-Рэн едет в битком набитой пассажирами

полутемной каюте. В иллюминатор видны вздыбленные черные волны, а за ними причудливо светящийся красный шар — не то луна, не то солнце — не разберешь. Все пассажиры, непонятно почему, сидят в тени и все молчат. О-Рэн мало-помалу охватывает страх от этого молчания. Вдруг сзади к ней подходит один из пассажиров. Она невольно оборачивается и видит, что, печально улыбаясь, на нее пристально смотрит мужчина, с которым она рассталась…

— Кин-сан.

О-Рэн разбудил на рассвете ее собственный голос. Рядом все еще посапывал Макино, но она не знала, спит он или нет, потому что он лежал к ней спиной.

3

Должно быть, Макино знал, что у О-Рэн был мужчина. Но делал вид, что это его нисколько не интересует. К тому же фактически мужчина исчез, как только появился Макино, поэтому Макино, само собой, не ревновал…

Зато у О-Рэн этот мужчина не шел из головы. Она питала к нему даже не любовь, а какое-то всепоглощающее чувство. Почему вдруг он перестал к ней приходить? Она никак не могла

этого понять. О-Рэн говорила себе, что все дело в непостоянстве мужчин. Но стоило ей вспомнить, что происходило в то время, и она понимала, что причина совсем в другом. Но пусть даже и возникли обстоятельства, вынудившие его к разрыву, все равно они были слишком близки друг другу, чтобы уйти просто так, не сказав ни слова. А может быть, с ним стряслась беда? Думать так было для О-Рэн и страшно, и заманчиво…

Возвращаясь из бани через несколько дней после того, как она видела во сне мужчину, О-Рэн вдруг заметила на доме с решетчатой раздвижной дверью полотнище, на котором было написано: «Предсказываю судьбу». Полотнище выглядело довольно странно — вместо гадательных принадлежностей на нем был изображен красный круг с дырой посредине, напоминавший продырявленную монету. Проходя мимо, О-Рэн вдруг решила узнать, что сталось с тем мужчиной.

Ее провели в светлую комнату. Возможно, утонченность самого хозяина, и книжная полка китайской работы, и горшок с орхидеей, и изящные принадлежности для чайной церемонии создавали атмосферу уюта.

Предсказатель оказался статным стариком с бритой головой. Золотые зубы, сигарета во рту

— в общем, в его облике не было ничего от предсказателя. О-Рэн сказала старику, что в прошлом году пропал без вести ее родственник и она хотела бы узнать, где он находится.

Предсказатель быстро принес из угла комнаты столик сандалового дерева и поставил его между собой и О-Рэн. Потом осторожно разместил на нем зеленовато-голубую фарфоровую курильницу и мешочек из золотой парчи.

— Сколько лет вашему уважаемому родственнику?

О-Рэн назвала возраст мужчины.

— О, совсем еще молодой. В молодости человек часто совершает ошибки. Став же стариком, как, например, я…

Предсказатель пристально посмотрел на О-Рэн и захихикал.

— Когда он родился, вы тоже знаете? Впрочем, не надо, мне и так ясно — он родился под первой белой звездой года Зайца.

Старик вынул из парчового мешочка три монеты с дырками посредине. Каждая из них была завернута в розовый шелковый лоскутик.

— Мое гадание называется «Подбрасывание монеты». Впервые вместо гадания на бамбуковых палочках его применил в Древнем Китае Цзин

Фан. Вам, возможно, известно, что при гадании на бамбуковых палочках одно сочетание может имен» три последовательности, а одна триграмма восемнадцать вариантов, потому предсказать судьбу чрезвычайно трудно. В этом состоит преимущество гадания на монетах…

С этими словами предсказатель зажег курительные палочки, и светлая комната стала наполняться желтым дымом, поднимавшимся из курильницы.

4

Предсказатель развернул розовые лоскутики и в дыму, поднимавшемся из курильницы, окурил каждую монету в отдельности, после чего благоговейно склонил голову перед свитком, висевшим в нише. На нем были изображены четыре великих святых: Фу-си, Вэнь-ван, Чжоу-гун и Кунцзы. Свиток, видимо, был написан художником, принадлежавшим к школе Кано.

— О всемогущие боги, о святые Вселенной, уловите этот драгоценный аромат и, молю вас, снизойдите ко мне… Разрешите побеспокоить вопросом ваш божественный дух. Нависла большая беда, молю вас о предсказанье.

Закончив обращение к богам, старик бросил на

столик сандалового дерева три монеты. На одной выпала решка, на двух — орел. Предсказатель схватил кисть и написал на полоске бумаги порядок, в каком легли монеты.

Подбрасывая монеты, он определял благо и зло — он проделал это шесть раз. О-Рэн с беспокойством наблюдала за тем, в каком порядке ложатся монеты.

— Ну вот и все…

Закончив гадание, старик, повернувшись к свитку, погрузился в размышления.

— Выпавшая триграмма именуется истолкованием грома и водной стихии. А это значит, что желания ваши не сбудутся.

О-Рэн робко перевела взгляд с монет на старика.

— Вряд ли встретитесь снова с тем молодым человеком, вашим родственником.

И предсказатель стал завертывать монеты в розовые шелковые лоскутки.

— Неужели его нет в живых?

Голос у О-Рэн дрогнул. В нем слышался безотчетный страх: «Неужели это правда?» — и в то же время надежду: «Нет, этого не может быть».

— Жив он или умер, установить трудно, но… на встречу не надейтесь.

— Почему?

На упитанном лице предсказателя, завязывавшего парчовый мешочек, появилась ехидная улыбка.

— В жизни всякое бывает, случается и невероятное. Если бы Токио вдруг превратился в лес, — может быть, вам и удалось бы встретиться… Но гадание… гадание предсказывает точно.

О-Рэн заплатила гадателю изрядную сумму денег и, совсем пав духом, вернулась домой.

В тот вечер она задумчиво сидела у жаровни, подперев рукой щеку и слушая, как в чайнике булькает вода. Предсказание гадателя ничем ей не помогло. Наоборот, оно разбило вдребезги хрупкую веру, тайную надежду, которую О-Рэн лелеяла в глубине души… Почти несбыточную, но все же надежду. Неужели его и в самом деле нет в живых? Что-то в этом роде сказал старик. Ведь улица, на которой она в то время жила, была очень неспокойной. Кто знает, может быть, идя к ней, он нарвался на скандал. А может быть, просто забыл о ней и потому перестал приходить. О-Рэн словно увидела себя со стороны, как она сидит, ощущая на своей напудренной щеке тепло, идущее, от жаровни, и поигрывая щипцами для углей.

«Кин, Кин, Кин…» — писала она на золе и снова стирала.

5

— Кин, Кин, Кин.

О-Рэн все писала и писала, когда вдруг служанка тихо окликнула ее из кухни. Это, собственно, была не кухня, а служившая кухней комната с дощатым полом, расположенная сразу же за сёдзи.

— Что, бабушка?

— Госпожа! Идите сюда, посмотрите. Откуда она взялась, не пойму…

О-Рэн пошла на кухню.

В кухне, наполовину занятой очагом, свет лампы, проникавший сквозь сёдзи, создавал спокойный полумрак. Когда туда вошла О-Рэн, служанка поднимала с поля какого-то маленького белого зверька.

— Кошка?

— Нет, собачонка.

Прижав к груди руки, О-Рэн внимательно рассматривала собаку. Собака, которую держала на руках служанка, поводила светлыми глазами и тихо посапывала.

Это та самая собака, которая все утро скулила у помойки… Как она забралась в дом, не пойму.

— А ты и не заметила?

— Нет, хоть и была все время здесь, чайную посуду мыла… И правду говорят — человеческие глаза ничего не видят.

Служанка приоткрыла сёдзи и уже собиралась выбросить собаку в уличную тьму.

— Постой, я тоже хочу подержать ее на руках…

— Не нужно. Она вас всю выпачкает.

О-Рэн, не слушая служанку, взяла собаку и прижала к себе. Собака дрожала всем телом. Это напомнило О-Рэн о ее прошлом. Когда О-Рэн еще жила в веселом доме, она взяла к себе белую собачонку, с которой спала, когда ночью не было гостя.

— Бедненькая… Может, возьмем ее?

Служанка удивленно хлопала глазами.

— А, бабушка? Давай возьмем. Особых хлопот она тебе не доставит.

О-Рэн спустила собаку на пол и, широко улыбаясь, полезла в кухонный шкаф за съестным, чтобы накормить ее.

На следующий день собака с красным ошейником уже лежала на циновке.

Служанка, любившая порядок, разумеется, не одобряла этого. Особенно злило ее, когда собака выскакивала во двор, а потом следила грязными

лапами. Но О-Рэн, скучавшая от безделья, полюбила собаку, как ребенка. Во время еды собака всегда сидела у обеденного столика. А ночью она неизменно спала, свернувшись клубочком, на рукаве ночного кимоно О-Рэн.

— С тех пор я все время думала, не к добру это, не к добру. Разве же это дело: горит ночник, а эта белая собака сидит и не отрываясь смотрит в лицо спящей госпожи…

Так примерно через год рассказывала служанка моему приятелю, врачу К.

6

Невзлюбила собачонку не только служанка. Нахмурил свои густые брови и Макино, увидев лежавшую на циновке собаку.

— Это еще что такое? Пошла вон!

Макино, одетый, как обычно, в свою интендантскую форму, грубо пнул собаку ногой. Когда он пошел в гостиную, белая шерсть на спине собаки встала дыбом и она злобно зарычала.

— Меня просто бесит твоя любовь к собакам.

И, подсев к столику, чтобы выпить свою вечернюю чашечку сакэ, Макино, досадливо морщась, все же внимательно рассматривал собаку.

— Ты, по-моему, и раньше держала такую же?

— Да, та была тоже белая.

— Ты говорила, что ни за что не расстанешься с ней, а потом не знала, как от нее избавиться.

О-Рэн, поглаживая лежавшую у нее на коленях собачонку, улыбнулась. Она и сама прекрасно понимала тогда, что путешествовать на пароходе или на поезде с собакой хлопотно. Но теперь, когда она еще и с мужчиной рассталась, ей становилось невыразимо грустно при мысли, что она уехала в чужую, незнакомую страну, оставив белую собачонку. Поэтому вчера вечером, взяв на руки собаку и прижимаясь к ее носу щекой, О-Рэн без конца всхлипывала…

— Та собака хоть была умная, а эта совсем глупая. Во-первых, лицо… То есть морда… Морда совсем обыкновенная.

Макино, уже захмелевший, кажется, забыл о своем недовольстве и бросил собаке ломтик сырой рыбы.

— По-моему, она очень похожа на ту собаку, правда? Только нос другого цвета.

— Только нос? Нет, не только.

— У этой нос черный. А у той был коричневый.

Подливая Макино сакэ, О-Рэн вдруг увидела со всей отчетливостью мордочку своей прежней собаки. У той она была вся в бурых подпалинах,

всегда мокрая от слюны.

— Хм, может быть, коричневый нос считается у собак признаком красавицы.

— Красавца, если вы имеете в виду ту собаку. А у этого пса нос черный, значит, он урод.

— Выходит, эта собака тоже мужского рода? А я-то думал, что в этом доме единственный мужчина — я. Какая наглость!

Тронув О-Рэн за руку, Макино самодовольно рассмеялся.

Но надолго сохранить благодушное настроение ему не удалось. Когда они легли и постель, собака за фусума стала жалобно скулить. И не только скулить, кончилось тем, что она заскребла когтями по фусума. Макино, обреченно улыбнувшись, в конце концов сказал О-Рэн:

— Впусти ее.

Как только О-Рэн раздвинула фусума, собака смирно примостилась у их изголовья. И успокоившись, замерла, как белая тень, не сводя с них глаз.

О-Рэн казалось, что на нее смотрит не собака, а человек.

7

Через несколько дней, вечером Макино зашел за О-Рэн, и они отправились в расположенное поблизости варьете. Варьете, где показывали фокусы, танцевали с мечами и читали стихи, демонстрировали картинки с помощью волшебного фонаря, разыгрывали пантомимы, было до отказа набито людьми. Сесть им удалось лишь через некоторое время, когда они уже порядком устали. И далеко от эстрады. Как только они успокоились на своих местах, сидевшие рядом, точно сговорившись, стали удивленно разглядывать О-Рэн, причесанную как замужние женщины. Эта прическа придавала ей почему-то торжественный и в то же время грустный вид.

На сцене, при свете ярких ламп, размахивал обнаженным мечом мужчина, у которого голова была повязана скрученным в жгут платком. А из-за кулис слышался голос, читающий стихи: «Забыты давно тысячи гор и холмов исхоженных». И танец с мечами, и чтение стихов на О-Рэн навевали скуку. Макино же, затягиваясь сигаретой, смотрел на сцену с огромным интересом.

После представления принесли волшебный фонарь и стали показывать картинки. На полотне,

натянутом на сцене, то появлялись, то исчезали эпизоды японо-китайской войны. Можно было увидеть, например, как тонет, подняв огромный столб воды, китайский броненосец «Диньюань». Или как капитан Хигути с вражеским ребенком на руках ведет солдат в атаку. И всякий раз, как появлялся флаг с красным солнцем посредине, зрители начинали бешено аплодировать. А некоторые даже вопили истошным голосом: «Да здравствует империя!» Однако Макино, видевший войну собственными глазами, держался подчеркнуто сдержанно и лишь саркастически улыбался.

— Если бы на войне и в самом деле было так…

Это он сказал О-Рэн, когда показывали жестокий бой за Нючжуан, но достаточно громко, чтобы и сидевшие рядом слышали. Но О-Рэн, не отрывая глаз от экрана, лишь слегка кивнула. Любые картинки, которые показывают с помощью волшебного фонаря, обычно вызывают интерес у женщин. Но была особая причина, заставлявшая О-Рэн волноваться всякий раз, когда перед ее глазами возникали покрытые снегом крыши Чэнъина, привязанный к сухой иве осел, китайские солдаты с длинными косами.

В десять часов все закончилось. О-Рэн с Маки-

но шли по безлюдной улице, где стояли только жилые дома. Над улицей висела ущербная луна, заливая холодным светом покрытые росой крыши. Время от времени пуская в этот холодный свет дым от сигареты, Макино, видимо, все еще вспоминавший танец с мечами, тянул гнусоватым голосом стихи, от которых веяло стариной:

— «Свист хлыстов, тихая ночная переправа».

Когда они свернули в переулок, О-Рэн, будто испугавшись чего-то, схватила Макино за рукав.

— В чем дело? Ты испугалась?

Продолжая идти, Макино повернулся к О-Рэн.

— Мне показалось, что кто-то кричит.

О-Рэн еще теснее прижалась к Макино и испуганно взглянула ему в лицо.

— Кричит?

Макино остановился и прислушался. Но на унылой улице не слышно было ничего, даже собачьего лая.

— Померещилось. Кому здесь кричать?

— Померещилось, наверно.

— Может, из-за волшебного фонаря?

8

На следующее утро О-Рэн с зубной щеткой во рту пошла на галерею умываться. Там, как обыч-

но, около уборной стоял наполненный горячей водой таз с двумя ручками.

Мертвый зимний сад выглядел уныло. Пейзаж за садом и река, в которой отражалось пасмурное небо, тоже нагоняли тоску. Но стоило О-Рэн увидеть этот пейзаж, как она, полоща рот, сразу же вспомнила вчерашний сон, о котором уже успела забыть.

Ей снилось, будто она совершенно одна идет среди темных кустов и деревьев по узкой тропинке, идет и думает: «Наконец-то мое желание сбылось. Токио, сколько хватает глаз, превратился в безлюдный лес. И теперь я смогу наконец встретиться с Кин-саном». Она проходит еще немного, и тут вдруг откуда-то доносится грохот пушек и винтовочные выстрелы. В тот же миг небо в просветах между деревьями становится багровым, будто от пожара. «Война. Война…» О-Рэн бежит что есть сил. Но не может сдвинуться с места…

Ополоснув лицо, О-Рэн, стоя на коленях, спустила с плеч кимоно, чтобы вымыться до пояса. В это время что-то холодное коснулось ее спины.

— Ой!

Она не очень то испугалась и искоса посмотрела через плечо. Там, виляя хвостом, старательно

облизывала свой черный нос собачонка.

9

Через несколько дней Макино пришел к О-Рэн раньше, чем обычно, и привел с собой Тамию. Тамия, служивший приказчиком в магазине, принадлежавшем известному поставщику двора, оказывал Макино разные услуги, когда тот решил взять О-Рэн в содержанки.

— Как странно, правда? Стоило О-Рэн сделать себе такую прическу, и в ней ничего не осталось от прежней.

Макино протянул сидевшему против него Тамии чашечку сакэ, на его лицо, слегка изрытое оспой, падал яркий свет лампы.

— Послушай, Макино-сан. Причешись она как гейша или куртизанка, эта перемена не бросалась бы так резко в глаза, правда? Ведь что было, то было, никуда не денешься…

— Эй, эй, потише, служанка хоть и подслеповата, но вовсе не глухая.

Сделав такое предупреждение, Макино сам весело захихикал.

— Не важно. Она все равно ничего не поймет, даже если и услышит… Правда, О-Рэн-сан? Да и прошлое сейчас кажется дурным сном.

О-Рэн, не поднимая глаз, забавлялась с собакой, лежавшей у нее на коленях.

— Меня взял к себе Макино-сан, и раз уж я согласилась на это, плохо мне было бы, если бы сорвалось, поэтому я так волновалась, пока мы не добрались до Кобэ.

— Да, по шаткому мостку пустилась ты в путь.

— Не надо так шутить. Тайком привезти человека можно лишь раз.

Тамия выпил залпом сакэ и поморщился.

— Но все, что есть сейчас у О-Рэн, все это только благодаря тебе.

Макино своей пухлой рукой протянул Тамии еще чашечку сакэ.

— Тронут твоими словами, тогда мне действительно трудно пришлось. Вдобавок наш корабль попал в жестокий шторм… Помнишь, О-Рэн-сан?

— Да, я думала, что все мы пойдем ко дну.

О-Рэн, наливая Тамии сакэ, с трудом подлаживалась под общий тон разговора. Возможно, было бы лучше, если бы корабль утонул… Ей даже такое пришло на ум.

— Ваше счастье, что все у вас так хорошо… Но, Макино-сан, не может ли так случиться, что сейчас, когда оказалось, что теперешняя прическа очень к лицу О-Рэн-сан, она возьмет да и снова

изменит ее на старую?

— Захочет изменить, пусть меняет, ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь, это верно… И все же разве она не взяла с собой ни одного старого кимоно?

— Не только кимоно, даже гребни и шпильки — все взяла с собой как приданое. Сколько ни просил ее, брось, — нет, все взяла…

Макино пристально посмотрел в глаза О-Рэн, сидевшей у жаровни напротив; О-Рэн, точно не слыша его слов, делала вид, будто беспокоится, как бы не остыл чайник.

— Это великолепный шанс… Как ты считаешь, О-Рэн-сан? Давай выпьем за то, чтобы как можно скорей ты стала прежней.

— Неужели и ты вспоминаешь свои прежние привязанности?

— Видишь ли, коль скоро речь зашла о прежних привязанностях, то почему бы не вспомнить таких красавиц, как, например, О-Рэн-сан…

На покрытом редкими оспинами лице Тамии, который старательно цеплял палочками картошку, появилась двусмысленная улыбка.

Когда Тамия ушел, Макино рассказал еще ничего не знавшей О-Рэн, что скоро он уволится из

армии и станет торговцем. Как только придет разрешение оставить службу, поставщик двора, у которого сейчас служил Тамия, возьмет его к себе на солидное жалованье… Во всяком случае, разговор об этом был.

— Тогда лучше переехать отсюда в дом попросторнее, правда?

Макино, сморившись, улегся прямо у жаровни и курил манильскую сигару, которую принес в подарок Тамия.

— Зачем, и этот дом чересчур велик. Нас ведь всего двое — я и бабушка.

О-Рэн старалась побыстрее скормить прожорливой собаке остатки еды.

— Ведь тогда я тоже буду с вами.

— Но у вас же есть супруга.

— Жена? С женой я собираюсь развестись в самое ближайшее время.

И по тону, каким Макино сказал это, и по выражению его лица можно было заключить, что он не шутит, сообщая эту неожиданную весть.

— Лучше не делать зла.

— Тебя это не касается. Захочу — уйду, захочу — вернусь, это мне решать. И если поступлю плохо, то разве не я один за это в ответе?

Метнув в О-Рэн суровый взгляд, Макино отча-

янно задымил сигарой. О-Рэн сидела с грустным лицом, ничего не отвечая.

10

— И вот белая собака заболела… да, точно, как раз на следующий день после того, как хозяин приводил господина Тамию.

Так начала рассказывать о тогдашних событиях служанка О-Рэн моему приятелю, врачу К.

— Наверно, она чем-то сильно отравилась или еще что-то в этом роде. Сначала она целыми днями, не поднимаясь, лежала у жаровни и время от времени пачкала циновку. Госпожа, как ребенка, любила собаку и очень заботилась о ней: поила молоком, давала лекарство. Чего тут удивляться. И хоть удивляться нечего, все равно неприятно, верно? А когда собаке стало совсем худо, госпожа подолгу разговаривала с ней.

Хотя я и сказала: «разговаривала с ней», — на самом деле говорила, конечно, одна госпожа, и до глубокой ночи слышался ее голос, представляете? Потом стало чудиться, будто собака отвечает ей человеческим голосом, так страшно было! А однажды вот что случилось: в тот день дул сильный северо-западный ветер, меня посылали по делам, и когда я вернулась домой, — кстати, посылали

меня к гадателю, который жил поблизости, чтобы он посмотрел больную собаку, — так вот, меня посылали по делам, и когда я вернулась домой, в гостиной — сёдзи ужас как дребезжали — слышался голос госпожи. Я подумала, что пришел господин, и заглянула в щелку между сёдзи, а там ни души — одна госпожа. Вдобавок тучи, которые гнал ветер, скрыли солнце, госпожа с собакой на коленях становилась то светлой, то темной. Представляете? Сколько лет живу на свете, а такого страха еще не доводилось переживать.

Когда собака подохла, госпожа так убивалась, а у меня, по правде говоря, камень с души свалился. И не только я обрадовалась, хотя мне одной приходилось каждый день убирать за собакой. Господин тоже, когда услыхал, что собака подохла, ухмыльнулся: избавились наконец от обузы. Как подохла собака? Пока мы с госпожой еще спали, она доползла до туалетного столика, ее вырвало чем-то зеленым, тут она и подохла. С полмесяца пролежала неподвижно у жаровни вроде бы в беспамятстве и вот пожалуйста…

Как раз в тот день, когда О-Рэн должна была идти на рынок Ягэмбори, она увидела у туалетного столика бездыханную собаку. Собака, как и рассказывала служанка, лежала в зеленой рвоте.

О-Рэн давно уже была готова к ее смерти. С прежней собакой она с живой рассталась навсегда, с этой рассталась навсегда с мертвой. Возможно, ей не суждено было иметь собаку… Эта мысль вселила в сердце О-Рэн тихое отчаяние.

О-Рэн присела у туалетного столика и без всякого выражения взглянула на мертвую собаку. Потом подняла глаза и посмотрела в холодное зеркало. В зеркале вместе с ней отражалась и лежавшая на циновке собака. Пристально всмотревшись в ее отражение, О-Рэн, будто у нее закружилась голова, вдруг прикрыла лицо руками. И тихо вскрикнула.

Нос у собаки из черного стал вдруг коричневым.

11

Новый год в доме содержанки был грустным. Хотя к воротам и был прикреплен бамбук, а в гостиной стоял столик с разложенными на нем символами счастья и долголетия, О-Рэн в одиночестве сидела у жаровни, рассеянно глядя, как бледнеет разлитый на сёдзи солнечный свет.

С тех пор как не стало собаки, на нее по вечерам часто нападала тоска. В такие минуты О-Рэн с грустью думала не только о собаке, но и о том, жив

или нет тот мужчина, а также о том, каково сейчас жене Макино, которую она ни разу в жизни не видела. С тех пор, видимо, она и начала страдать галлюцинациями, причем очень странными…

Однажды, когда она стала наконец засыпать, подол ее ночного кимоно показался ей необычно тяжелым, будто на нем кто-то лежал. Когда собачонка еще была жива, она часто забиралась на одеяло… Такую же приятную тяжесть испытывала О-Рэн и сейчас. Она стремительно поднялась с подушки. Но в свете лампы, кроме клетчатого узора на ночном кимоно, ничего не увидела…

Как-то раз О-Рэн причесывалась у туалетного столика, и вдруг за ее отражением в зеркале пробежало какое-то белое существо. Не обращая внимания, она продолжала расчесывать свои густые волосы. Белое существо пробежало снова, теперь в противоположном направлении. Не выпуская гребня из рук, О-Рэн быстро обернулась. Но в светлой гостиной никого не было. Наверно, опять показалось, — она повернулась к зеркалу, но вскоре белое существо в третий раз пробежало за ее спиной.

В другой раз О-Рэн сидела в одиночестве у жаровни, и вдруг ей послышалось, будто где-то далеко на улице ее кто то зовет. Голос, смешан-

ный с шуршанием листьев бамбука у ворот, послышался всего раз. Он, несомненно, принадлежал тому мужчине, который всегда, даже теперь, когда она переехала в Токио, владел ее сердцем. Затаив дыхание, вся напрягшись, О-Рэн стала прислушиваться. Теперь милый ей голос слышался ближе, чем раньше. И вдруг он перешел в лай, который принес сюда ветер…

Однажды, неожиданно проснувшись, О-Рэн увидела в постели рядом с собой мужчину, который здесь никак не мог оказаться. Выпуклый лоб, длинные ресницы, — при свете ночника видно было, что он ни капельки не изменился. У левого глаза родинка — проверила даже это; действительно, рядом с ней лежал тот самый мужчина. О-Рэн нисколько не удивилась, сердце ее забилось от радости, и она, точно желая раствориться в мужчине, крепко обняла его за шею. Но голос разбуженного мужчины, недовольно пробормотавшего что-то, несомненно, принадлежал, хоть это и было совсем неожиданно, Макино. И в этот миг О-Рэн увидела себя обнявшей за шею Макино, от которого разило водочным перегаром.

Но не только галлюцинации, реальность тоже преподнесла О-Рэн нечто такое, что привело ее в смятение. Сразу же после Нового года, когда еще

не были убраны сосновые ветки, украшавшие вход, неожиданно явилась жена Макино, до которой дошли слухи о связи ее мужа с О-Рэн.

12

Когда пришла жена Макино, служанки, к несчастью, не было дома: она ушла за покупками. О-Рэн, напуганная голосом, попросившим разрешения войти, обессилев от страха, покорно поднялась и направилась в прихожую. Обращенная к северу решетчатая дверь проглядывала сквозь украшавшие вход сосновые ветки — за ней неподвижно стояла, потупившись, ни кровинки в лице, женщина в очках, кутавшаяся в поношенную шаль.

— Кто вы?

Спрашивая об этом, О-Рэн интуитивно чувствовала, кто эта посетительница. Потом пристально посмотрела на жалкое лицо женщины с растрепавшимся пучком, смиренно сложившей руки под хаори из ткани в мелкий рисунок, какую носят обычно замужние женщины.

— Я…

Немного помедлив, женщина, не поднимая головы, продолжала:

— Я жена Макино. Меня зовут Таки.

— Вот как? Я… — запинаясь, проговорила О-

Рэн.

— Не продолжайте, я все знаю. Вы так хороню заботитесь о Макино, примите самую искреннюю мою благодарность.

Женщина говорила миролюбиво. В ее тоне, как ни странно, не было и намека на издевку. Это-то и поставило О-Рэн в тупик, она не знала, что сказать.

— Сегодня первый день Нового года, и, воспользовавшись этим, я решила обратиться к вам с просьбой.

— Какой именно? Если только это в моих силах…

О-Рэн, державшейся настороженно, казалось, что она догадывается, о чем пойдет речь. Но если догадки ее подтвердятся, отвечать придется долго и подробно. Когда же она услышала первые слова, тихо произнесенные все еще стоявшей потупившись женой Макино, стало ясно, что она ошиблась в своих предположениях.

— Ну что вы, хоть я и сказала «просьба», но имела в виду сущую безделицу… Мне кажется, что в скором времени Токио превратится в лес — разрешите же и мне поселиться в вашем доме, как это сделал Макино. Вот в чем, собственно, и состоит моя просьба.

Она говорила тихо и размеренно. По ее виду совсем не было заметно, что говорит душевнобольная. О-Рэн потрясли ее слова, и некоторое время она беспомощно смотрела на поникшую фигуру женщины, освещенную со спины.

— Ну так как? Разрешите мне поселиться?

О-Рэн, точно у нее отнялся язык, была не в силах ответить. В какой-то момент женщина, подняв голову, широко раскрыла свои прищуренные холодные глаза и через очки пристально посмотрела на нее, — О-Рэн почувствовала себя так, словно все происходящее привиделось ей в дурном сне.

— Что случится со мной, в конце концов не имеет никакого значения, детей жаль, если меня выгонят из дому. Я понимаю, что доставлю вам немало хлопот, но все же прошу — разрешите поселиться у вас.

Сказав это, жена Макино спрятала лицо в свою старую шаль и вдруг заплакала навзрыд. Молчавшей О-Рэн стало невыразимо грустно. Значит, наступит время, когда она сможет встретиться с Кин-саном. Как это прекрасно. Как прекрасно. Отдавшись этой мечте, О-Рэн будто со стороны увидела себя, проливающую слезы на свое новогоднее платье.

Прошло совсем немного времени, и О-Рэн вдруг обнаружила, что в выходящей на север полутемной прихожей она стоит одна, — неужели она не заметила, как женщина ушла?

13

Когда седьмого января, в праздник «семи трав», Макино явился в дом содержанки, О-Рэн поспешила рассказать, что к ней приходила его жена. Но Макино, дымя манильской сигарой, слушал ее, как ни странно, совершенно спокойно.

— С вашей женой, по-моему, не все в порядке. — Взволнованная О-Рэн, нахмурившись, решительно продолжала: — Вы должны что-то немедленно предпринять, иначе может случиться непоправимое.

— Когда случится, тогда и буду думать. — Макино сквозь сигарный дым, прищурившись, смотрел на О-Рэн. — Чем беспокоиться за мою жену, побеспокоилась бы лучше о своем здоровье. В последнее время ты постоянно хандришь.

— Что будет со мной — все равно…

— Совсем не все равно.

Лицо О-Рэн затуманилось, и она замолчала. Но вдруг, подняв полные слез глаза, сказала:

— Я вас прошу, ради всего святого, не бросайте

жену.

Пораженный Макино ничего не ответил.

— Ради всего святого, прошу вас… — Стараясь скрыть слезы, она уткнулась подбородком в атласный воротник кимоно. — В целом свете нет человека, который был бы вашей жене дорог, как вы. Не помнить об этом — так бессердечно. И в моей стране женщина тоже…

— Хватит. Хватит. Все это я и сам прекрасно понимаю, так что незачем зря волноваться.

Макино, даже забыв о сигаре, уговаривал О-Рэн, как раскапризничавшегося ребенка.

— Этот дом такой мрачный… Да к тому же здесь недавно сдохла собака. От этого у тебя и хандра. Если удастся найти что-нибудь подходящее, давай сразу же переедем, согласна? Жить в таком мрачном доме… Ведь еще каких-нибудь десять дней, и я оставлю военную службу…

— Вам нужно прежде всего побеспокоиться о жене…

Когда впоследствии К. подробно расспросил служанку, она так рассказала ему о том, что тогда произошло.

— Теперешняя ее болезнь появилась еще в то время, и господину не оставалось ничего другого, как махнуть на это рукой. Однажды супруга

господина пришла к нам на Ёкоами, — я только что вернулась, меня посылали за покупками, — смотрю, моя госпожа молча сидит в прихожей… А прежняя госпожа зло так смотрит через очки, в дом не входит и только знай себе ругается и ругается.

Уж так мне неловко было слушать, хоть и тайком, как поносят моего господина. Но выходить к ним, подумала я, совсем ни к чему. Я ведь лет пять назад служила у прежней госпожи, и если бы она увидела меня, наверно, рассердилась бы еще больше. Случись такое, было бы еще хуже, и я решила не высовывать носа из-за фусума, пока старая госпожа не наругается всласть и не уйдет.

А потом, когда та ушла, госпожа говорит мне: «Бабушка, только что сюда приходила супруга господина Макино. Пришла и слова плохого мне не сказала, какой же она хороший человек». А потом со смехом говорит: «Жаль, с головой у нее неладно. Она сказала, что скоро весь Токио превратится в лес».

14

Тоска О-Рэн нисколько не рассеялась и после того, как вскоре, в начале февраля, она переселилась в просторный дом на улице Мацуи в том

же районе Хондзё. Целые дни она проводила в одиночестве, в столовой, слушая, как булькает в чайнике вода, и даже со служанкой не разговаривала.

Не прошло и недели после переезда в новый дом, как однажды вечером нагрянул Тамия, где-то уже изрядно выпивший. Только что севший за стол Макино, увидев собутыльника, тут же протянул ему стоявшую рядом чашечку сакэ. Прежде чем взять ее, Тамия вынул из-за пазухи, откуда выглядывала рубаха, банку консервов. Когда О-Рэн наполнила сакэ его чашечку, он сказал:

— Это подарок. Госпожа О-Рэн, это тебе подарок.

— Какие же это консервы?

Макино, пока О-Рэн благодарила Тамию, взяв банку, стал ее рассматривать.

— Взгляни на этикетку. Морской котик. Консервы из морского котика… Я слыхал, что у тебя меланхолия, потому-то и преподнес эти консервы. Они очень помогают до родов, после родов, от женских болезней… Это я слышал от одного моего приятеля. Он-то и начал их выпускать.

Облизывая губы, Тамия переводил взгляд с О-Рэн на Макино.

— Постой, разве морского котика едят?

Слова Макино вызвали у О-Рэн вымученную улыбку, чуть тронувшую уголки рта. Но Тамия, размахивая руками, стал с жаром говорить:

— Едят. Разумеется, едят… Правда, О-Рэн? Морские котики интересные звери — стоит появиться самцу, и около него сразу же скапливается до сотни самок. Среди людей такое тоже встречается — возьмем, к примеру, Макино-сана. Он и лицом похож на котика. В этом все дело. Так что давайте выпьем за Макино-сана… бедного Макино-сана.

— Ну что ты болтаешь!

Макино невольно улыбнулся, правда не очень весело.

— Стоит появиться самцу… Послушай, Макино-сан, действительно котики на тебя здорово похожи.

Тамия — на его слегка изрытом оспой лице появилась широкая улыбка — продолжал как ни в чем не бывало:

— Как раз сегодня я услышал от своего приятеля… от того, который выпускает эти консервы, что когда самцы этих самых морских котиков дерутся за самок… Ну, хватит об этом, чем говорить о морских котиках, я лучше попрошу О-Рэн, чтобы она сегодня предстала перед нами в своем прежнем виде. Согласна? О-Рэн-сан. Сейчас мы

называем ее О-Рэн-сан, но ведь это имя было придумано, чтобы укрыться от жизни. А теперь пусть она примет свое настоящее имя. Ведь О-Рэн-сан…

— Постой, постой, так как же это они дерутся за самок? Ты сначала об этом расскажи.

Макино, забеспокоившись, постарался уйти от опасной темы. Но результат против его ожидания получился обратный.

— Как дерутся за самок? Дерутся жестоко. Но зато честно и открыто. По крайней мере, не получишь удара из-за угла, на который ты способен. Прости меня за откровенность. Я все болтаю, все болтаю, а пора бы замолчать… О-Рэн-сан, прошу тебя, выпей чашечку.

Под злобным взглядом побледневшего Макино Тамия, чтобы выйти из затруднительного положения, протянул чашечку с сакэ О-Рэн. Но возмущенная О-Рэн, пристально глядя на Тамию, не взяла ее.

15

В ту ночь О-Рэн встала с постели в четвертом часу. Выйдя из спальни на втором этаже и спустившись по лестнице, она ощупью добралась до туалетного столика. И вынула из ящика футляр с бритвой.

— Макино. Сволочь Макино.

Шепча это, О-Рэн вынула бритву из футляра. Едва ощутимо запахло бритвой, остро наточенной бритвой.

Сердце ее вдруг всколыхнула бешеная злоба. Злоба, вспыхнувшая в О-Рэн еще в то время, когда бессердечная мачеха опустилась до такой низости, что заставила О-Рэн себя продавать. Злоба, скрытая жизнью последних лет, — так скрывают морщины под белилами.

— Макино. Черт. Лучше не видеть больше белого света…

О-Рэн обернула бритву рукавом своего яркого нижнего кимоно и встала у туалетного столика.

Вдруг она услышала тихий голос:

— Не делай этого. Не делай.

Она невольно затаила дыханье. Видимо, приняв за голос тиканье часов, отсчитывавших в темноте секунды.

— Не делай этого. Не делай. Не делай.

Когда она взбегала по лестнице, голос догнал ее. Остановившись, она стала всматриваться во тьму столовой.

— Кто здесь?

— Я. Я. Я.

Голос, несомненно, принадлежал кому-то из ее

добрых друзей.

— Исси-сан?

— Да, это я.

— Мы давно не виделись. Где же ты?

О-Рэн, точно все это происходило днем, села у жаровни.

— Не делай этого. Не делай.

Голос, не отвечая на ее вопрос, без конца повторял одно и то же.

— Даже ты удерживаешь меня? Но разве не лучше умереть?

— Не делай этого. Он жив. Жив.

— Кто?

Последовало долгое молчание. Нарушаемое лишь неутомимым тиканьем часов.

— Кто жив?

Безмолвие продолжалось еще некоторое время, но вот наконец голос произнес дорогое ей имя:

— Кин… Кин-сан… Кин-сан.

— Правда? Если бы только это оказалось правдой…

Подперев щеку рукой, О-Рэн глубоко задумалась.

— Но если Кин-сан жив и не приходит, значит, он не хочет встречаться со мной?

— Придет. Обязательно придет.

— Придет? Когда?

— Завтра. Придет к Мирокудзи, чтобы встретиться с тобой. К Мирокудзи. Завтра вечером.

— К мосту Мирокудзи, да?

— К мосту Мирокудзи. Придет вечером. Обязательно придет.

Больше голос ничего не сказал. О-Рэн в одном нижнем кимоно, не чувствуя предутреннего холода, долго еще сидела неподвижно.

16

На следующий день О-Рэн вышла из своей спальни на втором этаже лишь к вечеру. Она встала с постели в четыре часа и тщательнее, чем обычно, занялась косметикой. Потом, точно собираясь в театр, стала надевать свои лучшие кимоно — и верхнее и нижнее.

— Слушай, что это ты так наряжаешься?

Это обратился к ней Макино, который в тот день не пошел на службу и бездельничал в доме содержанки, читая иллюстрированный журнал «Жанровые картинки».

— Мне надо кое-куда сходить… — холодно бросила О-Рэн, стоя перед туалетным столиком и завязывая ленту в белый горошек, поддерживающую бант оби.

— Куда?

— Мне нужно к мосту Мирокудзи.

— К мосту Мирокудзи?

Макино овладело скорее беспокойство, чем подозрение. Это наполнило сердце О-Рэн бешеной радостью.

— Какие у тебя могут быть дела у моста Мирокудзи?

— Какие дела?..

Презрительно глядя в лицо Макино, она неторопливо застегивала пряжку шнурка, которым повязывают оби.

— Не волнуйтесь. Топиться я не собираюсь…

— Не болтай глупостей.

Макино швырнул на циновку журнал и досадливо щелкнул языком.

Было около семи часов вечера…

Мой приятель врач К., рассказав обо всем, что случилось до этого, продолжал не спеша:

— Макино пытался удержать О-Рэн, но она, не слушая его, ушла. Служанка тоже беспокоилась и хотела пойти вместе с ней, но О-Рэн капризничала, словно ребенок: если не отпустите — умру. Ну что тут было делать. Одну ее, разумеется, нельзя было отпускать, и Макино решил тайком пойти вслед за ней.

Как раз в тот вечер неподалеку от моста Мирокудзи был храмовой праздник в честь бодисатвы Якуси. Улицу, ведущую к мосту, несмотря на холодное время, запрудили толпы людей. Это, конечно, было на руку Макино; он мог незаметно идти за О-Рэн и следить за ней.

По обеим сторонам улицы бойко шла праздничная торговля. В свете масляных жестяных ламп искрились причудливые спирали вывесок торговцев сладостями, красные зонты торговцев бобами. Но О-Рэн, казалось, ничего не видела. Опустив голову, она упорно пробиралась сквозь толпу. Макино с трудом поспевал за ней, и она ушла далеко вперед.

Подойдя к мосту Мирокудзи, О-Рэн наконец остановилась и стала оглядываться по сторонам. Там, где дорога поворачивала к реке, стояли почти сплошь лавки садовников, торговавших карликовыми деревцами. Поскольку деревца растили к храмовому празднику, особо интересных экземпляров не было, если не считать крохотных сосен и кипарисов, раскинувших свои густые ветви на этой малолюдной улице.

«Хорошо, она пришла сюда, но ради чего?» — растерянно спрашивал себя Макино, который наблюдал за любовницей, укрывшись за теле-

графным столбом у моста. А О-Рэн все стояла там, задумчиво рассматривая выставленные в ряд карликовые деревья. Тогда Макино тихо подошел к ней сзади. И вдруг услышал, как О-Рэн шепотом радостно повторяет: «И правда, превратился в лес. Наконец-то Токио превратился в лес…»

17

— Если бы все на том и кончилось, было бы хорошо…

К. продолжал:

— Тут вдруг, продираясь сквозь толпу, подбежала белая, как снег, собачонка, и О-Рэн, протянув к ней руки, подняла ее и прижала к груди. Потом, точно во сне, начала шептать что-то непонятное: «Ты тоже ко мне пришла? Ты прибежала, наверно, издалека. На твоем пути были горы, были безбрежные моря. С тех пор, как мы расстались, не было дня, чтобы я не плакала. Собачка, которую я взяла вместо тебя, недавно умерла». Собачонка была, видимо, совсем домашняя — она не лаяла и не кусалась. Лишь тихонько скулила и лизала руки и лицо О-Рэн.

Не в силах смотреть на это, Макино позвал О-Рэн. Но она сказала, что ни за что не вернется домой до тех пор, пока сюда не придет Кин-сан.

Поскольку был праздник, вокруг них сразу же собралась толпа. Некоторые громко говорили: «Такая красавица — и безумная». Для О-Рэн, очень любившей собак, эта новая собака была огромным утешением. После долгих препирательств О-Рэн наконец согласилась идти домой. Но отделаться от зевак было не так-то просто. Да и сама О-Рэн все время порывалась вернуться к мосту.

Поэтому, когда Макино, успокаивая и уговаривая О-Рэн, привел ее наконец домой, на улицу Мацуи, он весь взмок…

Дома О-Рэн, прижимая к груди белую собачку, поднялась на второй этаж, в спальню. В темной комнате она спустила с рук это жалкое существо. Виляя коротким хвостиком, собака стала носиться по комнате. Она все делала, как первая собачонка О-Рэн, так же вскочила на кровать, с кровати на тумбочку.

— Ой…

Вспомнив, что в комнате темно, О-Рэн стала удивленно озираться. Прямо над ее головой с потолка свисала китайская лампа под стеклянным абажуром — неизвестно, когда ее зажгли.

— Как красиво. Кажется, я вернулась в прошлое.

Некоторое время она любовалась приятным

светом, исходящим от лампы. Но взглянув на себя в зеркало, покачала головой.

— Я теперь не прежняя Хэйлянь. Я — японка О-Рэн, и Кин-сану нечего ко мне приходить. Но если бы только Кин-сан пришел…

Вдруг О-Рэн подняла голову и снова вскрикнула. Там, где раньше была собачонка, теперь лежал китаец — опершись локтем о подушку, он курил опиум! Крутой лоб, длинная коса, наконец, родинка у левого глаза — все несомненно указывало на то, что это Кин-сан. Увидев О-Рэн, китаец, не выпуская трубки изо рта, чуть улыбнулся, как прежде, своими ясными глазами.

— Смотри, Токио, как и предсказывали, куда ни посмотри — один лес.

Действительно, за балюстрадой галереи второго этажа на густых ветвях деревьев беззаботно щебетали стаи птиц, напоминающих рисунок для вышивки, — глядя на этот пейзаж, О-Рэн с восторгом просидела всю ночь рядом со своим любимым Кином…

— Через день или два после этого О-Рэн, или, как ее по-настоящему звали, Мэн Хэйлянь, стала одной из пациенток психиатрической лечебницы. Во время японо-китайской войны она развлекала гостей в одном увеселительном заведении в горо-

де Вэйхавэе… Что? Какая это женщина? Подожди. У меня есть фотография.

На старой фотографии, которую показал К., была снята печальная женщина в китайском платье и с белой собачкой на руках.

— Когда она поступила в больницу, никто не смог заставить ее снять китайское платье. А если рядом с ней нет собаки, она поднимает крик: «Кин-сан! Кин-сан!» Макино тоже жаль. Взять в любовницы Хэйлянь — представляешь, что это значит: офицер императорской армии после войны привозит на родину женщину из вражеской страны — какие невероятные трудности пришлось ему, бедняге, преодолеть… Что сталось с Кином? Глупо об этом спрашивать. Я даже не знаю, почему подохла та собака — может, от болезни, а может, еще от чего.

ФРИЦ ЛЕЙБЕР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ

Перевод с английского С. Милова

Инки никого не подпускал к своему автоматическому пистолету, он даже не давал притронуться к нему! Пистолет был темно-синего цвета, здоровый такой, и когда ты слегка нажимал на курок, то мгновенно нанизанные друг на друга восемь 45-калиберных пуль выплевывались дулом. Словно кто-то с надрывом чихнул.

Сам Инки был чем-то сродни своему пистолету. Складывалось впечатление, что внутри него та же механика, те же шестеренки… И еще эта его ужасная привычка — слегка поглаживать сквозь карман брюк рукоятку пистолета. Иногда он даже нащупывал пальцем курок. Это сильно действовало нам на нервы.

Гласс однажды так и сказал ему: «Парень, достаточно тебе сделать одно неосторожное движение, как не заметишь, что отстрелил себе пальцы на ногах. Да что там — движение! Стоит тебе просто подумать о нем, как он тут же начнет палить!»

Я помню, Инки улыбался на это и не давал себе

труда что-либо ответить. Он был маленьким и жилистым, с бледным, как у смерти, лицом, которое выбривал до посинения. Делать это ему приходилось довольно часто, так как ненавистная иссине-черная щетина отрастала за каких-то три-четыре часа. Волосы на голове были такого же цвета. Когда он разговаривал, то в голосе проскальзывал иностранный акцент. С тех пор, как был принят Сухой закон, он работал в паре с Элтоном Ларсеном. Это было еще в те времена, когда морские ялики с переделанными автомобильными моторами играли в кошки-мышки с налогооблагателями с побережья Нью-Джерси и Нью-Йорка, когда обе стороны с интересом следили друг за другом без света, не используя никаких прожекторов (для того, чтобы сделать игру более увлекательной и трудной). Ларсен и Козакс сгружали свой товар с парохода и везли его в Твинлайт, штат Нью-Джерси.

Примерно в то же время Гласс и я присоединились к ним и стали на них работать. Гласс, который выглядел как нечто среднее между колледжским профессором и продавцом автомобилей, пришел откуда-то из Нью-Йорка, я же был обыкновенным полисменом в маленьком провинциальном городке, пока не решил вести

честный образ жизни. Обычно в наши обязанности входила перевозка товара на грузовике из Ньюарка.

Инки всегда ездил с нами, Ларсен — время от времени. Оба не были большими любителями поговорить: Ларсен — по той причине, что тогда видел толк в разговорах, когда отдавал приказы и распоряжения, а у Инки были проблемы с языком, английский давался ему с трудом. Все бы ничего, мы уже привыкли к его корявой речи, но самая большая странность Инки заключалась в том, что он ни на минуту не расставался со своей игрушкой. Он обращался с ней как со своим ребенком — гладил, пришептывал что-то вполголоса…

Однажды, когда мы мягко спускались по склону на машине, Гласс осторожно и вкрадчиво спросил его:

— Ну что тебя так привлекает в этой пушке, скажи, раскрой секрет! В конце концов, существуют тысячи похожих на нее…

— Ты так думаешь? — спросил Инки и метнул в нас быстрый, холодный взгляд, его черные глаза сверкнули. Он сильно коверкал слова. — Знаешь, что я тебе скажу, Гласс? (Он произнёс его имя как «Хласс»). Нет ничего похожего в этом мире. Люди,

оружие, бутылки виски — да что угодно. Все в этом мире разное. Каждый человек имеет свои, отличные от всех других отпечатки пальцев, и смею тебя заверить, что из всех пистолетов, сделанных на одном и том же заводе нет ни одного, который хотя бы отдаленно был похож на мой. Я найду его среди ста других с закрытыми глазами. Даже в разобранном состоянии.

Мы не стали ему перечить. Его слова звучали веско и убедительно. Определенно, вне всяких сомнений он влюбился в свою игрушку. Да так что будь здоров! Когда он спал, то постоянно держал свою правую руку под подушкой. Что он сжимал в руке, вы догадываетесь. Мне думается даже, что за всю свою жизнь она не оказывалась от него дальше, чем на три фута. Согласитесь, есть что-то ненормальное в человеке, который так относится к своему оружию.

Все началось в тот злосчастный день, когда Ларсен поехал с нами. Мы, как обычно, сидели молча. Оставалось часа два пути, как вдруг Ларсен заговорил. У него был едкий, громкий бас:

— У тебя шикарная игрушечка, Инки. Но, честно говоря, меня немного выводит из себя твоя дурацкая привычка разговаривать с ней по ночам на своем тарабарском языке, который никто,

кроме тебя и, возможно, этой штуки, не понимает. Послушай, а она, случайно, не отвечает тебе?

Инки не стал улыбаться на этот раз.

— Мой пистолет знает только восемь слов. И практически все они значат одно и то же, — сказал он.

— И что же это за слова? — не сразу понял Ларсен.

— Восемь свинцовых пуль.

Это была хорошая шутка и все мы засмеялись.

— А ну, дай-ка мне посмотреть на нее, — сказал Ларсен и протянул руку, — ну… ну же!

Но Инки быстро положил игрушку в карман и не вынимал ее до самого конца поездки.

После этого Ларсен всегда подшучивал над Инки, предлагал ему одолжить ненадолго свою «железяку» или обменяться на что-нибудь. По его словам, он «всегда хотел научиться тарабарскому языку»… Энтон был упрямым парнем со специфическим чувством юмора. Довольно долго он острил на эту тему, пока однажды резко не изменил тактику. Он стал вести себя так, как будто по-настоящему заинтересован в том, чтобы выкупить пистолет у Инки. Дошло до того, что он стал предлагать совершенно сумасшедшие суммы свыше двухсот долларов.

— Двести семьдесят пять долларов, Инки, — произнес он однажды вечером, когда мы тряслись мимо Кинсбурга с кузовом, набитым до отказа коньяком и ирландским виски, — это мое последнее предложение и тебе лучше было бы принять его.

Инки в ответ на это только покачал головой, состроил забавную гримасу и усмехнулся. И тогда, к моему великому удивлению (я чуть было не съехал с дороги от неожиданности), Ларсен вышел из себя.

— Да черт тебя возьми вместе с этой пушкой! — гаркнул он и, схватив Инки за плечи, хорошенько встряхнул его. Меня почти что спихнули с моего сиденья. Наверняка кто-нибудь да пострадал бы в этой истории, если бы нас вовремя не остановил полицейский на мотоцикле. Он получил причитающуюся ему сумму за молчание и стрелой умчался вперед. К тому времени, как он окончательно скрылся из виду, Ларсен и Инки уже успели немного остыть и больше не лезли друг к другу. Мы доставили наш товар на склад без дальнейших приключений, но все это происходило в полном гробовом молчании, никто словом не обмолвился, все словно в рот воды набрали.

Позже, когда мы с Глассом попивали кофеек в маленьком круглосуточном ресторанчике, я

сказал:

— Эти два парня свихнулись, тебе не кажется? Мне это совсем не нравится. Какого дьявола они ведут себя как последние придурки? И это теперь, когда все только-только утряслось и пошло как по маслу! Да, конечно, никто не спорит, у меня нет таких мозгов, как у Ларсена, но я никогда не полезу в драку из-за какого-то пистолета. Словно дети малые, честное слово!..

Гласс улыбнулся в ответ и неторопливо погрузил чайную ложку сахара в свою чашку.

— А Инки, тоже хорош гусь, — не унимался я, — говорю тебе, Гласс, это ненормально, когда человек так относится к блестящему куску металла. Я еще могу понять, что можно просто привязаться к нему и ощутить в какой-то степени чувство утраты, если он где-нибудь потеряется. То же самое почувствовал бы и я, если бы, не дай бог, потерял свои счастливые пятьдесят центов (они у меня вроде талисмана). Но ты посмотри, как он гладит и ласкает его, будто это его возлюбленная. Нет, это положительно действует мне на нервы. А теперь еще и Ларсен туда же! Он становится похожим на него.

Гласс пожал плечами.

— Все мы немного с вывихом. Другое дело,

что мы не хотим в это верить. Себе мы кажемся вполне нормальными, а окружающим… К тому же ты знаешь, что в последнее время участились случаи нападения на бутлеггеров[31], наше занятие стало опасным и нервным, вот мы и дергаемся из-за таких вещей, как автоматические пушки.

— Может, ты и прав, кто знает… — сказал я.

— Да, наверняка. И вот еще что, Безносый, у меня в запасе есть еще одно объяснение сегодняшним событиям.

— И какое же?

— Скорее всего дело в самом проклятом пистолете.

Я усмехнулся и послал его чистить зубы слону, так как в эти глупости не очень-то верил.

Однако с тех пор обстановка несколько изменилась. Ларсен и Инки Козакс практически перестали разговаривать друг с другом, за исключением тех моментов, когда вопрос касался дела. Прекратились всяческие упоминания в шутку и всерьез о пистолете. Теперь Инки решался доставать его наружу только в отсутствие Ларсена.

Годы шли, а наш бутлеггерский бизнес оставался таким же прибыльным, разве что только

---

[31] Сноски: 31

Бутлеггер (от англ. bootlagger) — жарг. торговец контрабандными спиртными напитками *(Прим. переводчика).*

прибавилось всякого вооруженного сброда на дорогах. Инки несколько раз подворачивался удобный случай продемонстрировать оглушительную серию хлопков из своей автоматической игрушки. Затем у нас возникли неприятности с бандой, главарем которой был обезьяноподобный ирландец по имени Люк Дюган. После нескольких серьезных стычек с его ребятами мы стали куда аккуратнее подходить к выбору следующего маршрута.

И все-таки бизнес, повторюсь, был приличным. Я продолжал без труда поддерживать материально почти всех своих родственников, а Гласс каждый месяц откладывал по несколько долларов в так называемый «Фонд персидских кошек» (тоже парень со странностями). Ларсен же, насколько мне известно, спускал все, что зарабатывал, на женщин и на все то, что было связано с ними. Он был одним из тех парней, которые принимают все удовольствия жизни с серьезным, замогильным выражением лица, и тем не менее только ради них он и жил.

Что касается Инки Козакса, то мы так никогда и не узнали, куда он девал свои деньги. Никто не видел, чтобы он много тратил и поэтому, естественно, все дружно решили, что он их просто

копит, переводя их в чеки в каком-нибудь банке. Хотя лично я не был уверен в этом. Может, он мечтал уехать на родину (где бы она ни была) и начать жизнь с начала. Так или иначе, он никогда не распространялся об этом. К тому времени, когда Конгресс украл у нас наш заработок, я уверен, что он успел подзаработать кругленькую сумму. Рэкет нас не сильно пугал. Наверное потому, что мы принимали все необходимые меры безопасности.

И вот настала ночь, когда мы отправились в наш последний рейс. Мы все равно должны были рано или поздно завязать с этим делом, так как крупные синдикаты требовали от правительства надежную и существенную охрану своим деньгам. У нас и у таких, как мы, независимых маленьких группок, даже если у них был боссом такой многоопытный и видавший виды человек, как Ларсен, не было ни малейшего шанса выжить. Гласс и я взяли двухмесячный отпуск для того, чтобы пораскинуть мозгами, что же нам делать дальше, как содержать персидских котов и моих неугомонных родственников. Впервые за долгое время мы были вместе и нуждались друг в друге. Все четверо.

А потом в одном номере утренней газеты я

прочитал, что Инки Козакс пустился-таки еще в один рейс. Его тело было найдено в куче мусора неподалеку от Элизабет, штат Нью-Джерси.

— Все-таки Люк Дюган достал его, — хмуро заметил Гласс.

— Да, что не говори, жалко парня, — произнес я, — особенно если учесть, что он так и не успел поразвлечься на свои деньжата. Нам еще повезло с тобой, Гласс, что мы мелкие рыбешки для Дюгана, о нас он беспокоиться не станет.

— Ты прав, Безносый. Кстати, в этой заметке говорится что-нибудь о пистолете Инки, который валялся рядом с ним?

«Рядом с трупом не было обнаружено никакого оружия», — по памяти процитировал я.

Гласс сказал на это, что очень трудно представить себе пистолет Инки в чужом кармане. Я согласился с ним и мы провели некоторое время в бурной дискуссии о том, была ли у Инки возможность защитить себя.

Двумя часами позже позвонил Ларсен и сказал, что ему необходимо встретиться с нами в «укромном местечке». Он заметно волновался и твердил, что Люк Дюган охотится за ним тоже.

«Укромным местечком» называлось трехкомнатное бунгало с большим гаражом из рифленого

железа рядом. Гараж предназначался для грузовика и для тех случаев, когда прослышав о том, что полиция намеревается «подмести мусор» в округе, необходимо было спрятать на время товар. Это было совсем рядом с Кинсбургом, полторы мили от главного шоссе и около четверти мили от залива, где мы прятали свою лодку. Жесткая, саблевидная, заостренная к верху наподобие острия ножа морская трава, высотой с человеческий рост, подходила к самому дому со стороны залива, то есть, с северной и западной сторон. Почва здесь была болотистой и едва заметно пружинила под ногой, но когда стояла жара или приливы не достигали высокого обычного уровня, поверхность ее засыхала и покрывалась густой сетью трещин, в которых поблескивала черная вода. Даже малейший ветерок заставлял морскую траву издавать сухой, неприятный шуршащий звук, так что казалось, будто к тебе со всех сторон сползаются змеи.

К востоку расстилались поля, а следом за ними, сам Кинсбург. Кинсбург — второсортный дешевенький городишко, существующий только благодаря некоторым ненормальным туристам, которым не хватает денег отдохнуть на более респектабельных и благоустроенных курортах.

Дома, все дома без исключения построены на возвышенности из-за частых штормов и сокрушительных приливов. В городе есть небольшая пристань для рыбачьих лодок. Только ловить здесь, кроме крабов, некого.

К югу от «укромного местечка» уходила пыльная дорога, ведущая к главному шоссе. Ближайший дом был в полмили оттуда.

Уже давно стемнело, когда мы с Глассом добрались до места. Мы закупили продуктов на пару дней, подозревая, что Ларсен может захотеть остаться там на какое-то время. Часа через два раздался скрип тормозов — подъехала машина Ларсена. Я вышел, чтобы загнать ее в пустой гараж и помочь донести чемодан. Когда я возвратился, Ларсен уже болтал с Глассом.

Энтон был здоров как бык, его плечи были необычайно широки и производили большое впечатление на окружающих. Однако всему его облику придавал устрашающий вид тот факт, что на широченных плечах покоилась совсем маленькая, причем почти лысая голова. То, что осталось от волос, было грязно-желтого цвета. Узенькие глазки-щелки и совершенно непроницаемое лицо окончательно довершали впечатление. Когда он говорил, казалось, что его

лицо и голос живут отдельно, независимо друг от друга: лицо всегда оставалось безучастным к тому, что выговаривал рот. И сейчас, словно с гипсовой маской на лице, он произнес:

— Да, Инки получил свое.

— Ребята Люка Дюгана имели на него хороший зуб. Он, помнится, уложил не одного из них в свое время, — с ходу включился я в разговор.

Ларсен кивнул и загадочно ухмыльнулся:

— Инки получил свое, — повторил он, поднимая свой чемодан и отправляясь в спальню, я планирую остаться здесь на денек-другой. Так, на всякий случай. Вдруг у них на меня зубик не меньше, кто знает. И вот еще что: я хочу, чтобы ты и Гласс побыли здесь со мной некоторое время.

Гласс незаметно мне подмигнул, мол, я уже говорил… Я прошел по комнатам, включил везде свет, и выглянул на дорогу. Конечно, она была пуста, кто мог ехать на ней в такой час? Это вынужденное ожидание чего-то в забытом богом и людьми домике мне мало улыбалось. Того и жди заявятся непрошенные гости с пушками в руках и перещелкают нас, как цыплят. Ведь самое интересное, что никто и не услышит. Думаю, Глассу также не очень-то нравилось наше дурацкое положение. Мне так кажется, что для Ларсена

было бы разумней уехать за тысячу миль от Нью-Йорка, но мне хватало мозгов помалкивать и не давать ему советов — я знал его характер.

После холодного ужина, состоящего из консервированных бобов и пива, мы стали пить кофе. Ларсен небрежно вытащил откуда-то свой пистолет и стал дурачиться с ним. Через секунду, да, именно через секунду-другую я уже твердо знал, что это *тот самый* пистолет. Около пяти минут длилось молчание. Оно было таким плотным и густым, что его можно было нарезать кусочками и продавать кубиками, как лед.

Гласс поигрывал с чашкой кофе, крутя ее на блюдце. Он, конечно, отличный актёр, но и ему не удалось до конца скрыть свое волнение. Я, чтобы занять свои руки, стал мелко-мелко кромсать ножом кусок хлеба. В животе потянуло холодком. От бобов, что ли?

Наконец Ларсен встал, шумно отодвинул от себя стул и, исподлобья глядя на нас, сказал:

— Жаль, что у Инки не было этого при себе, когда его достали. Сразу же после того, как он окончательно решил переправиться на Старый Континент, он дал его мне. По его словам, ему больше была не нужна эта игрушка, так как он завязал.

— Одно меня успокаивает: тот парень, что убил Инки, не завладел его пистолетом, — быстро произнёс Гласс и снова опустил глаза в чашку. Он говорил слегка дрожащим голосом и невпопад, было ощущение, что он любой ценой хотел поддержать разговор, чтобы не дать осесть и затвердеть тишине, — странно… Просто не верится, что Инки мог взять и отдать кому-то свой пистолет… Могу представить себе, что он чувствовал в этот момент. Наверное, пистолет и все навалившиеся на него неприятности были тесно связаны друг с другом. Исчезнет одно — пропадет, растворится другое…

Ларсен вопросительно приподнял бровь и покосился на Гласса. Тот замолк и стал сосредоточенно рассматривать гвоздь в стене напротив.

— Что с его деньгами? — рискнул как можно непринужденней спросить я и хлебнул из чашки.

Ларсен пожал плечами и продолжил играться с пистолетом, засылая патрон в патронник, щелкая туда-сюда предохранителем, крутя его на указательном пальце — в общем проделывал все те же движения, которые так раздражали нас в Инки. Но теперь, после всего случившегося, я почувствовал себя как-то неуютно. Мне стало

казаться, что я слышу, как люди Люка Дюгана подкрадываются к нашему дому, раздвигая дулами ружей высокую морскую траву. Смутная тревога овладела мной. Я встал и начал слоняться из угла в угол.

Именно в тот момент это и случилось. Когда в очередной раз Ларсен подкинул пистолет в воздух, он падая, соскользнул с его руки и упал на пол. Звук падения был целиком заглушен выстрелом, раздавшимся одновременно — пуля с сочным звуком зарылась в дощатый пол рядом с моей ногой, подняв легкое облачко древесной пыли.

Как только я понял, чего чудом избежал секунду назад, меня прорвало:

— Я всегда говорил Инки, что рано или поздно подобное случится! Проклятый дурак!

— К сожалению, Инки находится слишком далеко, чтобы услышать тебя, — справедливо подметил Гласс.

Ларсен оторопело смотрел своими свинячьими глазенками на лежащий между его ног пистолет. Он еще дымился. Затем Энтон качнул головой, натужно усмехнувшись, поднял его и положил на стол. В его лице не было ни кровинки.

— Эту чертову штуковину нужно выбросить

куда подальше. Слишком опасно держать ее при себе, она принесет несчастье, — сказал я Ларсену. — Но лучше бы я этого не делал… Сначала он смерил меня презрительным взглядом, а затем разразился отборным шведским матом.

— Помалкивай в тряпочку, Безносый, — завершил он свою убийственную тираду, — и не смей мне указывать, что делать, а чего не делать. Я сам смогу позаботиться о себе и об этом пистолете. А сейчас я отправляюсь спать.

Он с треском захлопнул за собой дверь в спальню, после чего мы вдруг со всей ясностью поняли, что спать придется скорее всего на полу, укрывшись чем попало. От этой мысли нам стало еще тоскливей.

Но спать не хотелось. И дело было вовсе не в парнях Дюгана… Умирая со скуки, мы достали колоду карт и начали играть в «пятнистый» покер. Разговаривали почти шепотом. «Пятнистый» покер мало чем отличается от обыкновенного, разве что четыре из пяти карт раздаются в открытую. С раздачи ты заказываешь по одной карте, поэтому деньги постоянно кочуют из рук в руки. Но мы играли по минимуму, наша ставка была десять центов. Это отличная, захватывающая игра, позволяющая быстро вытянуть деньги из

простачков, Гласс и я частенько засиживались допоздна за этой игрой, когда нечего было делать. Но так как мы в равной степени были глупы или наоборот — опытны (как уж вам больше нравится), никто из нас не выходил в постоянные лидеры.

Было очень тихо, если не считать приглушенного храпа Ларсена, шороха травы за окном и редкого позвякивания десятицентовых монет.

По прошествии получаса Гласс случайно бросил взгляд на пистолет, который лежал на дальнем углу стола. И потому, как он заметно вздрогнул и заерзал на стуле, я понял — что-то не так. Медленно я перевел глаза на забытую Ларсеном игрушку. Так и есть! Я не мог точно определить в чем дело, но всем телом чувствовал, что произошло нечто странное. Когда Гласс своими худыми и узловатыми пальцами крутанул пистолет, я понял в чем дело… Перед своим бурным уходом в спальню Ларсен положил пистолет на стол так, что он был направлен своим дулом на входную дверь. Я почему-то был уверен в этом. Сейчас же дуло его было направлено совсем в другую сторону — в сторону спальни. Когда у тебя работа нервная, то рано или поздно память начинает играть с тобой злую шутку.

Ровно через полчаса мы снова заметили, что дуло пистолета направлено на спальню. На этот раз Гласс побледнел как полотно и стал испуганно озираться по сторонам. Я же списал все на расшатанные нервы — пора подлечиться. Рыбалка, свежий воздух, одиночество… Одна сигарета в день и никакого пива.

Гласс тихо присвистнул и поднялся с места. Он стал экспериментировать: класть пистолет на разные участки стола и подталкивать его, пробуя на устойчивость. Потом он стал трясти стол, чтобы посмотреть, будет ли тот от этого вращаться.

— Теперь все ясно, — наконец, сказал он шепотом, — когда пистолет лежал здесь, то достаточно было легкого подрагивания стола, чтобы он двинулся с места и описал полукруг… Видишь, стол стоит неустойчиво, он вибрирует. Когда мы играли в карты, мы опирались на него и слегка покачивали, и пушка медленно вертелась по кругу.

— Мне наплевать на все это, — в свою очередь прошептал я, — знаешь, мне не очень-то хочется быть застреленным во сне этой игрушкой только потому, что этот стол, видите ли, плохо стоит. Мне думается, что шума проходящего в двух милях отсюда поезда вполне достаточно, чтобы этот

сумасшедший курок нажался сам собой. Дай-ка мне пистолет.

Гласс вручил его мне, и я, аккуратно держа эту опасную железку дулом вниз, разрядил ее и положил обратно на стол. Пули же я бросил себе в карман. После этого мы решили рискнуть и сыграть еще партию-другую в карты.

— Ставлю десять центов на свою красную пульку, — произнес я («пулька» обозначала туза, я назвал своего туда «красным», потому что он был червовым).

— Мой король повышает ставку еще на десять, — ответил Гласс.

Но все же карты не отвлекали. Я не мог сконцентрироваться на игре, когда мои мысли метались между Люком Дюганом и пистолетом Инки.

— Помнишь тот вечер, Гласс, — начал я, — когда ты было заикнулся о том, что, вероятно, не всё чисто с этим пистолетом ?

— Мало ли чего я говорил, Безносый. Не многое из того, что я говорю, обычно стоит запоминать. Давай ка лучше продолжим игру. Ставлю пять центов на две семерки.

Я последовал его совету и вновь попробовал сосредоточиться на картах, но в этот раз мне не повезло и я просадил пять или шесть долларов.

К двум часам ночи мы оба чертовски устали и одновременно решили покончить с этим. Азарт в тот вечер так и не охватил ни одного из нас. Мы достали пуховые одеяла, завернулись в них и попытались урвать у ночи несколько часиков сна. Я еще некоторое время прислушивался к шороху морской травы и гудкам товарного состава в двух милях от дома, раздумывая над возможными ходами и провокациями хитрого Люка Дюгана. Наконец, я отключился.

Еще только-только забрезжил рассвет, когда меня разбудил непонятный щелкающий звук. Через окно, сквозь тени, на пол падал призрачный, зеленоватый свет. Я лежал, не шевелясь, сам не понимая, к чему прислушиваюсь, что хочу услышать. Только с пробуждением я осознал, как неудобно было спать на полу, без подушки и простыни, и как ужасно чесались мои лицо и руки от комариных укусов. И вдруг я услышал это снова. Такой звук мог означать для меня только одно — резкий металлический удар собачки, которая бьет вхолостую своим молоточком по пустому барабану. Дважды я слышал этот звук. Казалось, что он доносится из глубины комнаты. Я быстро выбрался из одеяла и стал расталкивать Гласса.

— Этот чертов пистолет! — возбужденно шеп-

тал я ему в ухо, — Гласс, проснись! Он пытался выстрелить!

Когда человек внезапно пробуждается среди ночи от каких-то странных звуков, он должен себя чувствовать приблизительно так, как чувствовал себя я, когда не думая, говорил эти сумасшедшие вещи. Гласс пристально, ничего не понимая, посмотрел на меня, потер глаза и улыбнулся. Нет, я не видел в этих сумерках его улыбку, но я почувствовал ее в голосе, когда он саркастически произнес:

— Все гораздо проще, Безносый. Ты просто рехнулся.

— Да говорю тебе, я клянусь, что слышал сам, своими ушами, — настаивал я на своем, — это был щелчок собачки!

Гласс громко зевнул.

— Следующее, что ты мне поведаешь, это то, что будто бы пистолет был «осведомителем» своего бывшего хозяина.

— «Осведомителем»? — переспросил его я, ничего не понимая, и почесал затылок. Я начинал сердиться, так как чувствовал себя полным идиотом. В такие моменты, когда Гласс выпячивает напоказ свою ученость, я обычно скисаю. Ведет себя, как колледжский профессор, чтоб его…

— Послушай, Безносый, — начал он, — тебе когда-нибудь доводилось слышать о ведьмах?

Я осторожно подошел к окну, дабы удостовериться в том, что нас никто не подслушивает. Так, на всякий пожарный. Даже если там кто-то и был, я все равно ничего не разглядел. Да, сказать по правде, в этой тьме я и не ожидал что-нибудь увидеть, просто волновался сильно.

— Что ты имеешь в виду? — вопрос его мне показался неуместным и даже, в какой-то степени, оскорбительным. — Конечно, слышал. А кто о них не слышал, покажи… Знал я одного парня, датчанина из Пенсильвании, он рассказывал мне о ведьмах, что они могут наложить всяческие заклятья и навести порчу на людей. По его словам, его собственный дядя умер только потому, что на него навела порчу одна из таких ведьм. Этот датчанин был торговцем на корабле и я не хочу сказать, что особенно поверил в его рассказ, но все же, наверное, в этом что-то есть.

Гласс довольно кивнул в ответ. Экзамен выдержан. И снова этот ненавистный, назидательный тон:

— Видишь ли, Безносый, дьявол дает каждой ведьме в помощь какое-нибудь живое существо: черную кошку, собаку, или даже лягушку. Это

существо следует за хозяйкой повсюду, советует ей, как поступать, защищает и, наконец, мстит в случае смерти ведьмы. Эти маленькие создания зовутся Осведомителями — другими словами, попроще, помощниками, которые посылаются главным начальником в Аду присматривать за «избранными». Вот, вкратце, и вся история. Сами ведьмы обычно разговаривают с ними на не понятном никому, кроме них, языке. Ты понял, к чему я клоню? Времена меняются, меняется и стиль. Изменились и Осведомители. Пистолет Инки черный? — Черный. А помнишь, мы все смеялись, когда он, бывало, бормотал с ним по ночам на языке, понятном только ему самому? Было дело, бормотал. И еще…

— Да ты сам спятил, вот что, — оборвал его я. — Не люблю, когда из меня делают дурачка.

— Да почему же, Безносый? — отреагировал он и невинно посмотрел на меня. — Ты же сам только что мне рассказывал тут о том, что этот пистолет живет своей собственной жизнью, пытается выстрелить без всякого участия человека. Так или не так?

— Спятил ты, — повторил я уже растерянно, чувствуя себя по уши посаженным в грязную, вонючую лужу. Лучше бы мне было не будить

Гласса вообще, — посмотри, вон он лежит на столе, там же, где мы его вчера оставили, а пули все еще находятся у меня в кармане.

— Твое счастье. Впрочем, и мое тоже, — мрачно произнес он с трагической интонацией актера, исполняющего роль гробовщика, — ну вот что, раз ты меня так рано разбудил, я, пожалуй, пройдусь до соседей и куплю у них свежую газету. Ты пока можешь пойти искупаться под душем — вид у тебя, должен признаться, несколько помятый.

Я терпеливо выждал несколько минут после того, как за ним закрылась дверь (не хотелось мне оказаться в дураках вторично), затем подошел к столу и осмотрел пистолет. В первую очередь я взглянул на фабричную марку и имя изготовителя. На рукоятке я обнаружил одно добела затертое место, на котором, вероятно, и было все это когда-то указано. Больше ничего. То есть вообще никаких следов, знаков, отметин — ничего. Я всегда считал, что пистолет Инки — самая обычная игрушка, каких тысячи, но сейчас я не был уже в этом так уверен. Нет, поймите правильно, в общем внешне пистолет выглядел вполне обычно и ничем не отличался от других. Пистолет, как пистолет. Но при близком рассмотрении (возможно, здесь присутствует

самовнушение) рукоять, курок, предохранитель и прочие отдельные детали его были какими-то *необычными*. В конце концов я успокоил себя тем, что это, должно быть, какая-то неизвестная мне иностранная фирма, о которой я раньше ничего не слышал.

Однако чем дольше я держал пистолет в руках, тем отчетливее осознавал, как он манит меня к себе. Мой рациональный ум не мог объяснить это ничем другим, как необычными свойствами темно-синей стали, из которой пистолет был отлит. Он был настолько гладким и приятным на ощупь, что невольно хотелось поглаживать длинный ствол, перебрасывать с руки на руку и крутить на пальце. Через несколько минут я почувствовал, что пистолет начинает овладевать моим воображением — мне стала мерещиться всякая чертовщина. Я почти отбросил его на каменную доску и отошел в сторону.

Когда вернулся Гласс, солнце уже встало. Что мне сразу бросилось в глаза, так это то, что на нем не было лица. Он небрежно швырнул мне газету на колени и потыкал пальцем, где читать. Она была раскрыта на пятой странице. Я прочитал:

ЭНТОН ЛАРСЕН РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО

ПОДОЗРЕНИЮ В УБИЙСТВЕ КОЗАКСА

Полиция считает, что экс-бутлеггер убит собственным дружком

Я поднял голову и увидел Ларсена, стоящего в проходе спальни. Он был одет в пеструю пижаму и выглядел очень неважно: лицо опухло и приобрело нездоровый желтоватый оттенок, глаза заплыли. Не сводя с нас тяжелого взгляда, он молчал. Стоял, смотрел и молчал.

— Доб… Доброе утро, босс, — Неторопливо произнес Гласс, — мы вот только что прочли в газете. Там пишут о тебе. Пытаются подставить тебя. Знаешь, что пишут? Будто именно ты, а не какой-нибудь Дюган пристрелил Инки.

Ларсен растянул рот в улыбке так, что стали видны его гнилые зубы. Ему не было смешно — просто он так демонстрировал мимику. Он подошел ко мне, выхватил из рук газету, быстро пробежал глазами по строкам и снова улыбнулся. Потом спокойно прошел к умывальнику и побрызгал холодной водой лицо.

— Тем более, — повернулся он к нам, — тем более. Для нас как нельзя лучше то, что мы находимся здесь.

Тот день был самым длинным и тягостным днем в моей жизни. Иногда мне казалось, что

Ларсен так до конца и не проснулся. Если бы я не знал его, то наверняка принял бы его за обкурившегося наркомана. Он все сидел и сидел в своей пижаме, сидел до самого обеда. Всякий раз, глядя на него, казалось, будто он только что продрал глаза и выполз из кровати. Но самым худшим все же было то, что он даже не собирался поведать нам о своих дальнейших планах. Я не хочу сказать, что на него это было непохоже — вовсе нет, Ларсен всегда был замкнут, но сейчас было совсем другое дело и другие обстоятельства. Его смешные свинячьи глазки стали изрядно действовать мне на нервы, у меня даже у самого глаз задергался. Представьте себе: он сидел все время не шелохнувшись, а его глазки шныряли туда-сюда с бешеной скоростью (так бывает у тех, что переборщит с опиумом). Было ощущение, что он вот-вот начнет крушить все вокруг, как буйнопомешанный.

Наконец, это стало действовать на нервы и Глассу, что, нужно признаться, весьма меня удивило — обычно он всегда кичился тем, что умеет держать себя в руках в «экстремальных ситуациях». Его волнение проявилось в том, что он начал осторожно предлагать различные варианты наших дальнейших действий: может нам

сходить за свежей газетой, почему бы не позвонить своему адвокату в Нью-Йорке, или почему бы мне не связаться со своим двоюродным братом Джейком (очень мило), чтобы он разнюхал в полицейском управлении Кинсбурга, что да как и все в таком роде… Каждый раз Ларсен грубо затыкал ему рот.

Один раз я даже подумал, что он убьет Гласса за его язык. А тот, как последний дурак, продолжал выдавать свои нескончаемые идеи. Я видел, чувствовал, что назревает взрыв. Это было также очевидно, как и то, что у меня на лице отсутствует нос. Не могу понять, что заставляло его болтать без умолку. По моему мнению, когда человек с высшим образованием типа «колледжского профессора» попадает в такую переделку, то делается совершенно непробиваем, на него словно пелена какая находит. У такого человека слишком «натасканные» мозги, и они просто не могут не подавать всяческие идеи — а это, порой, может плачевно кончиться.

Что же касается меня, то я держался изо всех сил. Я неустанно твердил себе: «Ларсен в порядке. Просто он на грани срыва. Все мы на этой грани. Кроме того, я знаю его десять лет. Он в порядке, в полном порядке». И тут я понял, что коль скоро

начал повторять про себя эти вещи, так это только потому, что постепенно начинал понимать, что с Ларсеном не все в порядке.

Взрыв, о котором я говорил, произошел около двух часов дня. Глаза Ларсена вдруг широко раскрылись, как будто он вспомнил нечто очень важное, и он так резко вскочил со своего ареста, что я стал испуганно озираться по сторонам, ожидая появления вооруженного отряда Люка Дюгана или, по меньшей мере, полиции. Однако они были здесь ни при чем. Ларсен накрыл пистолет своей волосатой рукой и замер. По его телу прошла дрожь. Его пальцы, как лапки огромного паука, стали лихорадочно прощупывать все изгибы оружия. И тут его лицо исказилось в злобной, страшной гримасе:

— Кто разрядил его? Я спрашиваю, кто разрядил его?!! — заорал он сиплым и мерзким голосом. — Кто и зачем?..

Нет, Гласс не мог сидеть спокойно:

— Я думал, что ты можешь поранить себя, — сказал он.

Ларсен решительно подошел к нему и наотмашь ударил его по лицу так, что тот повалился на пол. Я крепко ухватился за ножку стула, на котором сидел, в случае, если мне придется

воспользоваться им как дубинкой и замер в ожидании. Гласс какое-то время поворочался на полу, а потом, сумев побороть боль, приподнялся на локтях и выразительно посмотрел на меня. Из его левого глаза ручьем текли слезы — удар пришелся по левой стороне лица. На сей раз у него хватило здравого смысла ничего не говорить и не улыбаться. Некоторые придурки, желая продемонстрировать свое мужество, улыбаются в подобных ситуациях. Может, они его и демонстрируют, но вот только со здравым смыслом в этом случае туговато.

Около двадцати секунд Ларсен находился в нерешительности — ударить его ногой по лицу или нет.

— Ну, хорошо, теперь ты уже прикусишь свой болтливый язык? — спросил он.

Гласс слабо кивнул. Я отпустил ножку стула.

— Где пули? — спросил Ларсен.

Я спокойно встал со стула, подошел к столу и одну за другой выгрузил из кармана все пули, — ровным таким рядочком.

Ларсен перезарядил пистолет. Мне чуть не сделалось дурно, когда я увидел, как его безобразные руки скользят по черно-синей стали и поглаживают ее — я-то хорошо помнил эти ощущения…

— Никто не смеет прикасаться к этой штуке, кроме меня, понятно? — не поднимая глаз, произнес Ларсен. Сказав это, он прошел в спальню и аккуратно прикрыл за собой дверь.

Все мои мысли вертелись вокруг одного: «Гласс был абсолютно прав, когда сказал, что Ларсен тронулся на этом автоматическом пистолете Инки. Он начал вести себя в точности так же, как вел себя его предыдущий хозяин. Энтону теперь физически необходимо, чтобы пистолет всегда находился рядом с ним. Именно это чувство бессознательно мучило его все утро…»

Я склонился над все еще лежавшим на полу Глассом. Он продолжал неотрывно смотреть на дверь спальни. Из огромного синяка, оставленного рукой Ларсена на его лице, стекала тоненькая струйка крови.

Очень тихо я прошептал ему все то, что думал о Ларсене:

— Давай используем момент и натравим на него полицию, — заключил я, — или, на худой конец, дружно навалимся на него, когда он выйдет оттуда…

Гласс отрицательно покачал головой. Он продолжал смотреть на дверь, вся левая часть его лица спазматически дергалась. Вдруг он весь

напрягся и издал странный глуховатый смешок, который исходил, как мне показалось, из самих внутренностей.

— Я не могу поверить! — просипел он. — Это же просто невероятно!

— Это он убил Инки, — прошептал я в его ухо, — теперь уже я в этом совершенно уверен. А теперь он находится в таком состоянии, что, не задумываясь уберет с дороги и тебя.

— Да я не о том, — отмахнулся Гласс.

— Тогда о чем же?

Он стал трясти своей головой, как будто этим хотел помочь себе избавиться от преследовавшей его мысли.

— Я заметил кое-что, или, вернее… вернее кое до чего дошел, — произнес загадочно он.

— Писто… Пистолет? — с трудом выдавил я из себя. Мои губы высохли и мне было очень сложно выговорить это слово.

Он как-то странно на меня посмотрел и привстал.

— С этого момента нам нужно быть крайне осторожными, — сказал Гласс, и через несколько мгновений добавил, — сейчас мы ничего не можем поделать. Он начеку и к тому же вооружен. Дождемся вечера…

Прошло немало времени, пока неожиданно из спальни не раздался голос Ларсена. Ему нужна была кипяченая вода для бритья. Я молча отнес кипяток. А к тому времени, когда я начал жарить мясо, он вдруг вышел и как ни в чем не бывало сел за стол. Весь умытый, выбритый, гладко причесанный (я имею в виду то, что на его лысой голове осталось от волос). Он был одет, на голове красовалась шляпа. Но несмотря ни на что, он имел все тот же желтоватый цвет лица, мешки под глазами и все тот же бегающий взгляд человека, перекурившегося опиума. Мы ели мясо с бобами и запивали пивом. Никто во время ужина не произнес ни слова. Атмосфера была недоброй. На дворе уже было темно, слабый ветерок шевелил за окном морскую траву, заставляя ее издавать жуткие шуршащие звуки.

Наконец Ларсен резко приподнялся, прошел вокруг стола и сказал:

— Давайте сыграем в «пятнистый» покер.

Пока я мыл посуду, он вынес свой чемодан и положил его на край стола. Затем он с задумчивым видом вытащил из кармана пистолет Инки и какое-то время пристально рассматривал его. На лице Энтона застыло неопределенное выражение — выражение, в котором смешались

неуверенность, удивление и, как мне даже показалось, страх. Потом он упаковал пистолет в чемодан, закрыл его и затянул туго ремнями.

— Мы уходим сразу после игры, — сказал он.

Я даже не знал радоваться этому сообщению или нет.

Начальная ставка была десять центов, и как только началась игра, Ларсен тут же стал постоянно выигрывать. Это была очень странная игра, я был весь на взводе. У Гласса, сидящего рядом со мной, страшно опухла левая щека и ему все время приходилось щуриться сквозь правую линзу очков (левая треснула, когда Ларсен ударил его). Было ощущение, что мы играем на вокзале, просто так, чтобы убить время до прихода поезда — Ларсен так и не снял с себя шляпу. Тени со всей округи сползлись к нашему дому и в ожидании затаились. Я с детства считал, что тени — существа живые, не переменил своего мнения насчет них и сейчас. Обвернутая старой газетой лампочка бросала яркий конус света на часть стола, остальная же комната тонула во мраке. Он сказал, что после игры мы уедем отсюда. Но *куда*?

Все началось тогда, когда Ларсен выиграл уже с каждого из нас по пять долларов — именно тогда я услышал подозрительный шорох. Сперва я не

придал ему особенного значения, потому что он был едва слышен и смешивался с постаныванием травы за окном, но с самого начала он насторожил меня.

Ларсен вскрыл короля и сгрёб одним движением руки со стола все деньги.

— Сегодня ты явно не сможешь проиграть, — заметил Гласс и улыбнулся. И тут же болезненно моргнул, так как улыбка напомнила ему о недавнем инциденте: причинила боль его пораненной щеке.

Ларсен нахмурился. Он, казалось, был совершенно равнодушен к своему везению и к замечанию Гласса. Его маленькие поросячьи глазки продолжали беспорядочно метаться из стороны в сторону, что меня лично стало уже больше чем раздражать. Я стал прикидывать: «Может, он и убил Инки Козакса, допустим. Гласс и я для него ровным счетом ничего ценного не представляем. Может, он как раз сейчас обдумывает, как с нами расправиться. Или решил использовать нас для чего-то и думает, как много нам можно рассказать. Если он затеет что-нибудь, я тут же опрокину этот стол ему на голову. Обязательно опрокину, главное успеть это сделать…» Я начал смотреть на него другими глазами, теперь он был

для меня совершенно посторонним, несмотря на то, что я знал его в течение десяти лет, он был моим боссом и платил отличное жалование.

И тут я снова услышал этот звук, на сей раз он был более отчетливым. Это был очень специфический звук, который сложно описать — нечто похожее должна была издавать завернутая во множество одеял и пытающаяся из них выкарабкаться наружу крыса. Я поднял глаза и заметил, что и без того бледное лицо Гласса теперь стало просто белым. Синяк на его левой щеке проступил сильнее.

— Моя черная пуля добавляет десять центов, — сказал Ларсен и толкнул монету в общую кучу.

— Я с тобой, — поддержал его я и кинул туда же два пятицентовика. Мой голос показался мне таким сухим и сдавленным, что я перепугался.

Гласс вложил свои деньги и раздал всем еще по одной карте.

Теперь уже я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица — мне показалось, что странный звук исходил прямо из чемодана Ларсена, а ведь я прекрасно помнил, что он уложил пистолет Инки таким образом, что он был направлен мушкой в противоположную нам сторону.

Шорох становился все громче. Гласс, конечно,

не мог сидеть спокойно, чтобы ничего не ляпнуть. Он чуть отодвинул назад свой стул и зашептал: «Мне показалось, что я слышал…»

Но закончить ему не удалось: Ларсен метнул в него полный безумия убийственный взгляд и Глассу вновь пришлось образумиться и несколько неуклюже завершить: «Мне показалось, что я слышал, как прошел одиннадцатичасовой поезд».

— Сиди тихо и не дергайся, — властно сказал Ларсен, — сейчас только без пятнадцати одиннадцать, ты ничего не слышал. Мой туз добавляет десять центов.

— Поддерживаю, — прохрипел не своим голосом я.

Я не понимал того, что говорю. Мне хотелось вскочить с места и вышвырнуть чемодан Ларсена подальше за дверь, я хотел сбежать… Но я сидел не двигаясь. Все мы сидели, не двигаясь, пребывая в каком-то оцепенении. Мы не осмеливались шелохнуться по той причине, что если бы мы это сделали, то автоматически признали бы невероятное, невообразимое, ошеломляющее… Итак, мы постепенно сходили с ума. Я снова облизал языком свои истрескавшиеся губы.

Я всматривался в карты, тщетно пытаясь вы-

бросить из головы все постороннее. К этому моменту все карты были на руках. У меня был валет и кое-какая мелочь, кроме того я вычислил, что моя лежащая вниз картинкой карта тоже была валетом, итого пара валетов. Гласс нам уже продемонстрировал своего короля. Однако туз Ларсена был и оставался самой сильной картой в игре.

А звук все не прекращался. Шуршащий, скребущийся, проникающий в самое сердце. Приглушенный звук.

— Я повышаю ставки еще на десять центов, — громко сказал Гласс. У меня возникло такое подозрение, что он сказал это только для того, чтобы заглушить этот страшный, леденящий душу шорох, а не потому, что его карты были особенно хороши.

Я с деланным любопытством повернулся к Ларсену, будто мне неожиданно стало интересно, как он отреагирует на слова Гласса — будет дальше повышать или спасует. Теперь его глаза не бегали по сторонам, а неотрывно смотрели в одном направлении — на чемодан. Его рот скривился в безобразной усмешке. Через несколько мгновений его губы зашевелились. Его голос был таким низким, что я с трудом разбирал слова:

— Еще десять центов. *Знаешь, это я убил Инки.* Что там говорит твой валет, Безносый?

— Повышает ставку, — машинально ответил я.

Его ответ последовал таким же едва различимым голосом:

— У тебя нет ни единого шанса на выигрыш, Безносый. Но понимаешь, в чем загвоздка — он не имел при себе денег, хотя утверждал обратное. Я вычислил местонахождение его тайника — он прятал их в своей комнате. Однако я не могу выполнить эту часть работы сам, полицейские легко опознают меня. Вот тут вы мне и пригодитесь. Вы легко и быстро сделаете это для меня. Именно поэтому мы направляемся сегодня ночью в Нью-Йорк. Еще десять центов. Что скажешь?

— Я понял тебя, — услышал я свой собственный голос.

Шум прекратился. Прекратился не постепенно, а внезапно, сразу. И тут мне в десять раз больше захотелось вскочить со своего места и что-нибудь предпринять, но я буквально прирос к стулу.

Ларсен медленно перевернул лежащую на столе карту. Бубновый туз. И снова я едва слышал его слова:

— Два туза. И вот еще что — маленький пистолет Инки не сумел защитить его. У него даже не

было шанса пустить его в ход. Трефы и бубны. Две пули. Я выиграл.

В следующее мгновение это случилось.

Мне кажется, что нет необходимости много распространяться о том, что мы сделали потом. Тело мы похоронили недалеко от дома, среди морской травы. Подчистили все в доме и, отъехав пару миль на машине, оставили ее. Пистолет мы взяли с собой, разобрали на части, расплющили их до неузнаваемости булыжником и повышвыривали в залив. О деньгах Инки мы больше ничего и выясняли, да и не пытались. Полиция до нас так и не добралась. Мы считали себя счастливчиками, что нам удалось так ловко замести следы после случившегося.

Ибо дым и пламя внезапно вырвались из маленьких круглых дырочек и весь чемодан запрыгал и задергался от отдачи: восемь свинцовых пуль рассекли Энтона Ларсена пополам…

ТЕОДОР СТАРДЖЕН

ОНО

Перевод с английского С. Милова

Оно шло по лесу.

Оно никогда не рождалось, и все же существовало. Глубоко в земле, в перегное, под сосновыми иголками, горел огонь.

Он не давал дыма. В жаре, тьме и разложении заключалась жизнь, но жизнь, противоположная той, что берет свое начало от весенней прохлады, света и пения птиц. Оно получило жизнь, но оставалось мертвым. Бездыханное, оно шло по лесу, безжизненное, оно было видящим, мыслящим и обладающим огромной, страшной силой…

Оно выбралось из тьмы и теплого рыхлого перегноя в утреннюю прохладу. Оно было воистину громадным и состояло из бесчисленных, беспорядочно налепленных друг на друга комьев грязи, некоторые из них при его передвижении отпадали по дороге и, шевелясь на земле, таяли, подобно сахару в кипятке, превращаясь в светящуюся лесную пену.

Оно не знало жалости, любви, не знало ни

красоты, ни веселого смеха. Оно обладало большой энергией и развитым интеллектом. Скорее всего, его невозможно было уничтожить. Оно выкарабкалось наружу из лесного перегноя и залегло, пульсируя, на солнце. Струпья его мокро сверкали в золотистом свете: часть их была похожа на какие-то болезненные вздутия, которые шелушились и осыпались. Чьи мертвые кости дали ему очертания и форму человекоподобного существа?

Своими полусформировавшимися руками оно стало скрести землю и биться о пень. Затем оно стало кататься по листве, пока вдруг резко не остановилось на согнутых, осыпающихся локтях. Оно нарвало полную горсть травы и размазало ее по груди, после чего со спокойным любопытством наблюдало за стекающим по телу серо-зеленым соком. Плавно поднявшись на ноги, оно схватило молодое деревце и уничтожило его, снова и снова ломая о себя гибкий податливый ствол, пока тог не превратился в щепки. Потом оно осторожно подняло замершее от страха полевое животное и медленно раздавило его своими огромными пальцами, давая крови, пульсирующей плоти и обмякшей шкурке отвратительным месивом сползать вниз по руке.

Оно начало поиск.

Кимбо несся сквозь высокую душистую траву, словно столбик пыли, который взметнул внезапный порыв ветра. Его пушистый хвост упругой спиралью вертелся над спиной из стороны в сторону, зубастая пасть была раскрыта, ярко-красным лоскутком выплескивался из нее язык. Он бежал рысью, наслаждаясь свободой и силой мохнатых лап. Его блестящие губы были черны, как смоль, длинные уши с кисточками на конце развевались на ветру. С головы до самых когтей Кимбо был псом, здоровым, жизнерадостным животным.

Он одним махом запрыгнул на валун и тут же стрелой метнулся дальше — длинноухий кролик выбежал из норки под скалой, и Кимбо, заливившись победным лаем, бросился вдогонку. Он знал наверняка, что жертве не уйти, но медлил с завершающим прыжком, великодушно давая ей шанс выжить. Кролик мячиком прыгал перед самым носом пса, прижав ушки к спине, задние лапы мощными толчками несли его вперед. Но тут случилось неожиданное: внезапно кролик резко остановился и, когда Кимбо в последнем смертельном прыжке бросился на него, метнулся в сторону и скрылся в прогнившем полом бревне.

Пес взвизгнул от досады, обнюхал со всех сторон неожиданное укрытие для живого прыгающего ко мочка, недовольно пофыркал на него и признал свое поражение. Он еще раз для верности обежал вокруг бревна, после чего, несколько упав духом, поплёлся дальше.

Оно наблюдало за Кимбо из зарослей, оно заранее осторожно подняло свои покрытые коростой огромные руки и замерло в ожидании.

Кимбо сразу учуял его — того, кто стоял, не шелохнувшись, у тропы. Для него оно было обыкновенной кучей мусора, которая пахла падалью, то есть тем, до чего даже было противно лапой дотронуться. Он презрительно фыркнул и побежал дальше.

Оно дало ему возможность подойти поближе, а затем обрушило на него свой тяжелый кулак. Кимбо заметил краем глаза черную падающую тень и рванул что есть силы вперед. Рука скользнула по гладкой спине, задела хвост и с глухим стуком упала на землю. Кимбо, получив хороший «шлепок», кубарем покатился вниз, по склону, он просто захлебывался неистовым лаем. Но вот он снова на ногах — встряхнул головой, всем телом, словно после купания, и утробно зарывал.

Назад он шел твердой, упругой походкой, хвост

его, теперь опущенный, был на одном уровне с пригнутой к земле головой, шерсть вокруг шеи встала дыбом. В его позеленевших от ненависти глазах светилось убийство.

Оно подняло свои руки снова и приготовилось к встрече.

Кимбо замедлил бег, собрался в комок и пулей бросился на чудовище. Он вцепился ему в самую шею, челюсти его сомкнулись. Зубы Кимбо не встретили почти никакого сопротивления, они прокусили одну полужидкую грязь и заскрипели друг о друга. Он упал. Упал и страшно зарычал у самых его ног, приготовившись к новому броску.

Оно склонилось над Кимбо и дважды нанесло удар. После того, как спина собаки была сломана, оно опустилось рядом и стало разрывать ее на части…

— Вернусь через часок-другой, — сказал Элтон Дру и поднял лежавшее за деревянным ящиком ружье. Его брат весело рассмеялся:

— Старина Кимбо целиком завладел твоими мыслями, Элтон.

— Я хорошо знаю этого чертяку, — ответил тот, — когда я зову его целых полчаса и он не показывается — это означает, что у него возникли проблемы или он загнал на дерево что-то стоящее

этого ружья. Не отвечая на мой зов, он сам зовет меня к себе.

Кори Дру передал полный стакан молока семилетней дочери и невольно улыбнулся:

— Ты относишься к охотничьей собаке, как я к своему ребенку.

Девочка как только услышала, что о ней говорят, подбежала к дяде и стала дергать его за рукав: «Дядя Элтон, поймай мне Бармаглота»! «Бармаглот» — изобретение Кори. Это он жил в темных углах, готовый в любой момент проглотить маленьких девочек, которые гоняются сломя голову за цыплятами, играют на проезжей части дороги и тянут в рот зеленые яблоки. У него огромные, длинные руки и очень чуткие уши, специально приспособленные для того, чтобы слышать детский плач и всхлипы. Он обожает кушать тех, кто намеренно искажает немецким акцентом молитву, кто роет пещеры в стогах сена до тех пор, пока они окончательно не разрушатся, подкладывает любимых красных рыбок в заготовленные для свежего парного молока канистры и катается ночью на взмыленных после рабочего дня лошадях.

— А ну-ка, быстро иди сюда. Держись подальше от дядиного ружья! — прикрикнул Кори. — Если

ты увидишь Бармаглота, Элтон, приведи его сюда. Будь любезен, напомни ему, что у него встреча с Малышкой сегодня вечером. Вчера она опять напроказничала: по доброте душевной Малышка подсыпала коровам перца, думала, им же «вкусней» будет…

— Вот оно что. Не волнуйся, девочка, — усмехнулся дядя Элтон, — я приведу тебе Бармаглота, побеседуешь с ним. Если, конечно, он меня сам не проглотит прежде, — добавил серьезно он.

Элтон Дру шел по тропе к лесу и думал о Малышке. Она была воистину феноменом: избалованным деревенским ребенком. Еще бы! Они оба с братом любили Клисс Дру, она предпочла его Кори, теперь они вдвоем любят ее ребенка. Забавная штука — любовь. Элтон всегда принадлежал самому себе, и поэтому все его рассуждения о жизни пропускались сквозь холостяцкую призму, его отношение к любви было весьма настороженным. Он прекрасно знал, что представляет из себя любовь, так как все еще испытывал ее к жене брата и будет испытывать ее и дальше, покуда жива Малышка. Любовь всегда была с ним, и все же он старался не думать о ней. Любить собаку в этом смысле очень легко и удобно по той причине, что ты и чертова псина можете преспокойно

любить друг друга, не говоря при этом ни слова. Запах пороха и мокрой шерсти были лучшими духами для Элтона Дру, пронзительный вопль загнанного зверька, выстрел и довольная усмешка были настоящей поэзией для его души. Любовь, испытываемая к животному имеет другой вкус, нежели любовь, от которой слова встают комом в горле, а, когда их все-таки выдавливаешь из себя, то оказывается, что ты вовсе не то хотел сказать. Итак, Элтон любил свою охотничью собаку Кимбо, свой винчестер, и помимо этого, позволял своей другой безответной любви к жене брата и его дочери мирно и без шума поедать его.

Его зоркие глаза заметили свежие отпечатки ног на мягкой почве у валуна. Отсюда Кимбо начал свою смертельную погоню за кроликом. Не особенно обращая внимания на следы, оставленные собакой, он начал искать глазами ближайшее место, где бы мог спрятаться кролик, и тут увидел большое бревно. Ему уже отсюда было видно, что Кимбо был там. Однако, похоже, что он опоздал. «Старый безмозглый кретин, — пробормотал Элтон, — сколько раз тебе можно повторять, что ты никогда не догонишь кролика по прямой, ты должен был схватить его, бросившись наперерез…» Он издал особый свист-сигнал

в надежде, что Кимбо роется где-то поблизости в поисках норы другого, более сговорчивого кролика, но безрезультатно. Слегка озадаченный, Элтон вернулся на тропу. «Он никогда такого раньше не выкидывал», — мягко произнес он.

Он профессиональным движением видавшего виды охотника переломил ружье пополам и аккуратно зарядил его. В округе ходили слухи о том, что однажды Элтон Дру попал в пшеничное зернышко, подброшенное в воздух. Слухи были истинной правдой. Ему не составляло труда расщепить установленную на острие ножа пулю или затушить одним выстрелом две свечи, стоящие в полуметре друг от друга. И не было на свете того, чего убоялся бы Элтон Дру, ибо знал: нет на свете живого существа, которое невозможно было бы убить метким выстрелом. В это, по крайней мере, он искренне верил.

Существо в лесу с любопытством взирало вниз на то, что осталось от Кимбо. Оно попыталось застонать, как застонал Кимбо перед смертью, и само подивилось звуку, исторгнутому собственным ртом. Оно постояло с минуту, анализируя случившееся в своем холодном, рациональном мозгу. Кровь была теплой. Солнечный свет — тоже. Те, кто двигались и носили мех, имели сердце,

заставляющее вязкую красную жидкость течь по крохотным канальцам в их телах. Через определенное количество времени жидкость засыхала. Жидкость, которая стекала с зеленых неподвижных существ с корнями, была совсем иного рода. К тому же потеря большой или малой части тела для них не означала потерю жизни. Это было очень интересное наблюдение, но существу с прогнившей землей в голове таких наблюдений было недостаточно. Единственным желанием его было желание познания. Оно было просто заинтриговано всем происходящим вокруг.

Вечерело. Солнце изменило свой цвет и стало клониться за холмистый горизонт, окрашивая облака и багровые тона. Чудовище резко подняло голову навстречу надвигающейся темноте. Даже для тех, кто знаком с ночью ближе, чем со своим соседом, она была и поныне остается таинственным явлением. Для него же, от которого вряд ли можно ожидать такого чувства, как страх, это также было чрезвычайно любопытным. И только с этой позиции оно наблюдало за сгущающимися сумерками.

Что происходит? Видеть становится труднее. Отчего так? Оно мотало своей бесформенной головой из стороны в сторону. На самом деле все

вокруг погружалось во тьму, с каждой минутой лес терял свои очертания. Предметы меняли форму, вся гамма дневных цветов поглощалась единственным и неповторимым цветом ночи — черным. Что видели уничтоженные и разорванные им на куски существа? Как они видели? Например, то, что было побольше и атаковало его, имело два специальных приспособления на голове, которые меняли свое положение в зависимости от внешних обстоятельств. Сначала оно оторвало у этого создания две ноги, затем ударило по его мохнатой морде. И тогда создание, видя приближающуюся руку, затянуло пленкой приспособления — закрыло глаза. Следовательно, оно *видело*.

Уже потом, когда жертва умерла, а удары все наносились с прежней силой, это никак не отражалось в ее глазах. Они оставались открытыми и смотрящими в одну точку. Логическим выводом этого было то, что когда существо перестало жить, дышать и двигаться, оно утратило необходимость иметь глаза. Другими словами, потеря зрения означает смерть. Мертвые не умеют ходить, бегать и вообще двигаться. Они лежат без движения. То ли потому, что оно стало плохо различать предметы в темноте, то ли по ка-

кой-то другой причине, но чудовище сочло себя мертвым существом, поэтому улеглось прямо на тропу, неподалеку от изуродованного трупа Кимбо и на какое-то время действительно поверило в то, что оно мертво.

Элтон Дру шел в темноте по лесу. Он был по-настоящему обеспокоен. Он свистнул снова, затем позвал — никакого ответа. «Старый блохастый коврик… Ты никогда раньше не позволял себе этого», — он сокрушенно потряс головой. Давно прошло время ужина, Кори должно быть нужна его помощь, на ферме осталось немало работы. «Кимбо!» — закричал он в темноту что есть силы. Крик эхом прошелся по черным теням и затерялся где-то среди них. Элтон поставил ружье на предохранитель и опустил приклад на землю у самой тропы. «Дела…», — подумал он, опершись на него. Вдруг он почувствовал, как земля под прикладом стала оседать, словно мох у болота. Преодолев минутное колебание, он шагнул прямо на грудь нежити, лежащей у тропы. Его нога по щиколотку погрузилась в податливую, теплую гниль. Он громко выругался и отпрыгнул в сторону.

— У-ух, черт!! Да здесь чей-то труп!.. Пролежал здесь, наверное, невесть сколько времени… А а, ч-

черт! — он с омерзением стал вытирать ботинок пригоршней листьев, в то время как глубокий отпечаток ноги, оставленный Элтоном в груди нежити постепенно, издавая слабое шуршание, затягивался гладко стекающей с краев темнотой. Оно лежало и лениво наблюдало за человеком своими мерцающими мутными глазами, за его плавными, уверенными движениями. Ему захотелось поближе познакомиться с этим новым неосторожным существом.

Элтон тщательно протер приклад ружья новой пригоршней палой листвы и пошел по тропе дальше. Он все свистел и свистел. Не терял надежды.

Клисс Дру стояла в дверях коровника. Поверх ее аккуратного в красную крапинку платья был надет синий рабочий фартук. Ее золотистые волосы с пробором посередине были собраны на затылке в тугой узел.

— Кори, Элтон! — громко закричала она, вытирая о фартук руки.

— Ну, что там? — недовольным голосом отозвался Кори из амбара, где он доил Эршир. Приятный, журчащий звук наполняющейся молоком канистры доносился оттуда.

— Зову и зову вас, — сказала Клисс, — ужин

стынет, да и Малышка не хочет есть, пока все не соберутся. А где Элтон?

Кори усмехнулся, отнес канистру от дороги, с шумом установил ее в углу, щелкнул металлическим замком и ласково похлопал корову по спине. Та сделала шаг в сторону и, грузно покачиваясь, словно лодка на море, вышла во двор.

— Еще не вернулся.

— Не вернулся? — Клисс переступила порог амбара и приблизилась к мужу. Он уже сидел возле следующей коровы, уткнувши свой лоб в ее теплый бок. Вид у него был весьма озабоченный. — Но Кори, он же сказал, что…

— Да-да, я знаю. Он сказал, что вернется к ужину. Я прекрасно это слышал. Однако, он не вернулся, сама видишь.

— Ты немедленно должен… Ах, Кори, дай мне закончить с этим самой. Элтон давно вернулся бы, если мог… Может, он…

— Может. Может, он со своей умненькой собачкой увидел голубую сойку и увлекся охотой, — Кори сделал неопределенный жест рукой в сторону коров, — у меня впереди еще двадцать шесть недоенных голов. Мне еще нужно накормить свиней и уложить цыплят спать. Кроме того, необходимо подбросить сена лошадям, убрать

навоз, отремонтировать упряжь и выгнать на ночной выпас. Еще есть дрова, которые нужно поколоть и перетаскать в дом, — минуту он доил молча, нервно кусая губу, — и ты это прекрасно знаешь.

Клисс стояла, скрестив руки на груди, и думала о том, как бы унять прилив раздражения Кори. Уже не в первый раз Элтон со своей охотой забывал о прямых обязанностях фермера…

— Так что я буду заниматься своим делом. Зачем мне отвлекать Элтона? Пускай веселится. Всякий раз, когда он вынюхивает какую-нибудь белку, я почему-то остаюсь без ужина. Мне это уже начинает надоедать, извини меня…

— Я помогу тебе, — уверила Клисс. Она вспомнила прошлую весну, когда Кимбо удерживал огромного, с полтонны весом, черного взбешенного медведя, пока Элтон не всадил тому в голову пулю. Малышка тогда нашла крошечного, оставленного на несколько минут матерью медвежонка, и понесла его домой. По дороге она споткнулась, упала в яму и поранила себе лобик. — Нельзя ненавидеть собаку, которая спасла жизнь твоего ребенка, — думала она.

— Этого, как раз, делать не нужно! — огрызнулся Кори. — Быстро возвращайся в дом. Уверяю,

ты найдешь там достаточно работы. Когда освобожусь, я подойду… Ах ты, черт! Клисс, не плачь. Я не хотел тебя обидеть; честное слово… Вот незадача! — он встал и обнял ее, — я малость погорячился, слышишь? Прости. Ладно… Теперь ступай. Я не хотел быть грубым с тобой, извини. Иди к Малышке. Я должен закончить здесь все сегодня же вечером. Работы, сама видишь, немало. Тут четверым не управиться за день, а все, чем мы располагаем — это я, да еще этот… охотник. А теперь уходи, Клисс.

— Хорошо, — всхлипнула она и положила голову на его плечо. — Кори…

— Да?

— Хотя бы позови его. Вдруг он не в состоянии вернуться. Вдруг что-то случилось. Может… Не дай бог!

— Никто и ничто не может причинить вред моему брату, он превосходный стрелок. Прекрасно сам о себе сможет позаботиться. Хотя, честно говоря, не представляю, что могло его *так* задержать. Ну все, все… Иди в дом и накорми ребенка.

Клисс возвратилась в дом. Ее молодое красивое лицо было омрачено. Если Кори сейчас крупно поссорится с Элтоном (а все шло к этому) и отошлет его отсюда, хозяйство окажется под угрозой

свертывания — они просто не справятся со всем одни. Вопрос о найме рабочих вообще не рассматривался — все ляжет на плечи одного Кори и он просто загнется, не осилит. И никто бы не осилил. Она вздохнула и закрыла за собой дверь. Было семь вечера, а ужинать еще никто и не собирался. Боже, ну почему Элтон…

Прошло два часа, Малышка была уже в кровати. Клисс слышала, как Кори копошился в амбаре: вот он в сердцах швырнул кусачки в угол и раздался металлический звон.

— Элтон не вернулся? — спросили они друг друга одновременно, как только Кори ступил на порог кухни. Клисс обреченно покачала головой. Он подошел к печке, убрал загородку и сплюнул на раскаленные угли.

— Ложись спать, — глухо сказал он.

Она отложила в сторону вязание и посмотрела на его широкую спину. Кори было двадцать восемь, по его походке и по его поведению ему можно было дать на десять лет старше, а выглядел он на все десять лет моложе.

— Сейчас, — ответила неопределенно Клисс.

Кори бросил взгляд в угол, за деревянный ящик, где обычно стояло ружье Элтона, и издал непередаваемый звук, который, впрочем, мог значить

только одно — презрение. Он сел и стал стягивать свои тяжелые, грязные ботинки.

— Уже десятый час, — робко произнесла его жена. Кори не ответил, он был занят поиском домашних тапочек.

— Кори, ты же не собираешься…

— Не собираюсь что?

— О, ничего, ничего. И просто подумала, что может быть Элтон…

— Элтон! — взорвался Кори. — Собака охотится за полевой мышью, Элтон охотится за своей собакой, и теперь ты хочешь, чтобы я отправился на охоту за самим Элтоном? Скажи, ты этого хочешь?

— Я просто… Ты же знаешь, он никогда раньше так не задерживался.

— Да ни за что в жизни! Идти и искать его в девять часов вечера? В такую темень? Да черт меня побери, если я клюну на это! Уверяю тебя, что он бы не стал так беспокоиться о нас, если бы, не дай бог, с нами что…

Клисс промолчала. Она встала и приблизилась к печи. Ее невидящий, полный отчаяния взгляд, упал на давно кипящую в котле воду. Казалось, Клисс напрочь забыла про то, что котел пора снимать с огня. Ее привел в себя легкий шум сзади.

Она повернулась и увидела, что Кори снова стоит одетый. Он был мрачен, как туча.

— Я знала, что ты все-таки пойдешь, — сказала она. Хотя на ее лице не было улыбки, она чувствовалась в ее голосе.

— Я скоро вернусь, — буркнул Кори, — я не думаю, что он забрел далеко. Уже поздно. Я совсем не боюсь за него, но… — он с хрустом переломил двенадцатикалибровое ружье, внимательно осмотрел ствол, вставил в него два патрона и сунул целую их коробку в карман, — все-таки не жди, — бросил он, выходя, через плечо.

— Не буду, — тихо сказала Клисс и закрыла за ним дверь. Она включила настольную лампу и снова принялась за вязание.

Тропа, ведущая в лес, была едва заметна в темноте. Поднимаясь по ней, Кори не переставал вглядываться вперед и время от времени выкрикивать имя брата. Воздух был холодным и очень спокойным, застывшим, резкий и неприятный запах перегноя растекся в нем. Кори втянул в себя этот воздух, выдохнул и снова вдохнул. Затем, на выдохе, громко выругался. «Чушь какая! — раздражительно пробормотал он, — собака эта, охота в десять вечера… Элтон!! — закричал отрывисто он. — Элтон Дру!!» — но одно лишь

приглушенное, холодное эхо вторило ему. Он вошел в лес.

Воняющая груда мусора, которую он прошел в темноте, хорошо слышала и чувствовала колебания почвы, создаваемое его ногами. Но она не пошевелилась, так как считала себя мертвой.

Кори продолжал идти, оглядываясь по сторонам. Он совсем не смотрел под ноги, они сами почувствовали, что вновь вышли на тропу.

— Элтон!

— Это ты, Кори?

Кори Дру остановился, как вкопанный. Сердце его бешено забилось. Теперь он смог различить едва заметный, расплывчатый черный силуэт сидящего на земле человека. Голос, который он услышал, был спокойным, проникающим и по-настоящему жутким.

— Элтон, это ты?

— Я нашел Кимбо, Кори…

— Где ты был?! — заорал страшным голосом Кори. Ему не нравились эти сумерки, он страшился их, от голоса Элтона ему стало не по себе: слишком много в нем было какой-то безнадежности и безразличия ко всему. Он посчитал, что имеет вполне законное право не на шутку рассердиться на своего брата.

— Я звал его, Кори. Звал и свистел, но старый плешивый чертяка не отвечал мне.

— То же самое я могу сказать о тебе, ты… паршивец! Почему ты не явился на ужин? Где ты был? Ты что, попался в собственный капкан?

— Собачка всегда отвечала мне, ты же знаешь, — продолжал все тот же монотонный голос из тьмы.

— Элтон, да что с тобой? Какого дьявола? Какое мне дело до того, что твоя псина не отвечала тебе? Где…

— Это, наверное, потому, что она никогда не умирала раньше, — Элтон не любил, когда его перебивали, его голос стал несколько тверже, — да, наверное, именно поэтому…

— Что? Что ты сказал? — Кори судорожно дважды с силой сжал сухие губы и сглотнул, — Элтон, ты что, двинулся рассудком? Что ты мелешь?

— Кимбо мертв.

— Ким… О-о! О! — перед глазами Кори тут же промелькнула картина: Малышка, лежащая в беспамятстве на дне оврага, и Кимбо, который яростно лаял и прыгал на черного медведя, а потом мертвой хваткой вцепился ему в спину и держал его, пока не подоспел Элтон… Кимбо.

— Что здесь произошло? — стараясь держать

себя в руках, произнес Кори.

— Я это и пытаюсь выяснить. Кто-то разорвал его на части.

— Разорвал… на части?! — голос Кори задрожал.

— От него не осталось ничего. Ни единого целого кусочка, Кори. Разорван каждый сустав. Внутренности тоже… Вот они, лежат рядом, посмотри…

— О боже! Боже! Ты думаешь, что это медведь?

— Нет. Это не медведь и вообще не то, что передвигается на четырех ногах. Он весь здесь, целиком, его не собирались есть. Чьих бы это не было рук дело, его сначала убили, а потом… потом разорвали на части.

— О боже, — снова повторил Кори, — да кто же?.. — вдруг наступила звенящая тишина, — пойдем домой, Элтон, — сказал он почти мягко, — ты же понимаешь, что бессмысленно сидеть возле него всю ночь.

— Я останусь здесь. Я просижу до рассвета, а потом возьму его след. Я выслежу его. Я буду идти по следу до тех пор, пока не увижу того, кто это сделал. Я отомщу за моего маленького Кимбо, за мою маленькую собачку.

— Да ты пьян или сошел с ума, Элтон!

— Нет, я не пьян. Хотя можешь думать все, что тебе угодно. Так или иначе, я остаюсь.

— Да ты, верно, забыл, что мы с тобой содержим ферму. Ты и я. Хоть это ты помнишь? Я не собираюсь доить двадцать шесть коров в одиночку. Между прочим, я только что проделал это сейчас.

— Тебе кто-нибудь поможет. Я никуда не пойду. А вот тебе, по-моему, пора идти, Кори.

— Ах ты, грязный подонок! — застонал от бешенства Кори, — Ты вернешься вместе со мной. Сейчас! Я знаю, что заставит тебя образумиться!

Голос Элтона был таким же твердым и ровным:

— Не подходи ко мне ближе, парень.

Кори продолжал идти на голос Элтона.

— Я сказал, — теперь голос стал очень тихим и спокойным, — *стой там, где стоишь*.

Кори продолжал приближаться. Тут в тишине раздался звонкий металлический звук — это щелкнул предохранитель. Кори остановился.

— Ты это что же… Ты целишь *в меня*, своего брата? — дрожащим голосом прошептал Кори.

— Все верно, в тебя. Ты же не сделаешь за меня эту работу, да я и не прошу. Я остаюсь здесь до рассвета.

Прошло не менее минуты. Единственным звуком во тьме было прерывистое и тяжелое дыхание Кори.

— У меня тоже имеется ружье, Элтон. Идем домой.

— Ты не видишь меня и можешь промахнуться.

— И все же я настаиваю на своем, вставай.

— Мне это уже стало надоедать, Кори. Я хорошо вижу то место, где ты стоишь. Я здесь сижу четыре часа.

— Мое ружье превратит тебя в месиво.

— А мое просто убьет тебя.

Не говоря больше ни слова, Кори Дру развернулся и зашагал быстрым шагом обратно на ферму.

Черное, полужидкое, оно лежало в темноте без движения. Оно не имело твердого представления о том, что такое смерть и считало себя мертвым. Те, кто были живыми, видели и могли двигаться, те, кто были мертвы, не делали ничего. Они не видели и не двигались — просто лежали с открытыми глазами и смотрели в одну точку. Его мутный взгляд упал на зубчатый ряд верхушек деревьев. Что-то произошло: черный цвет стал бледнеть, он уже не был абсолютным и всепоглощающим. Это занимался рассвет. В его

голове зашевелились мокрые, тягучие мысли. Продолжая лежать бесформенной кучей мусора, оно стало анализировать новые факты, оно анатомировало их, как проделывало это с живыми существами при свете дня, оно сравнивало, делало выводы и раскладывало по полочкам.

Теперь деревья, стоящие на вершине холма, стали видны более отчетливо, за их четко очерченные восходом стволы трусливо прятались тающие тени. Небо светлело с каждой минутой. Когда яркий солнечный свет слил небо с деревьями, смазав их в одно световое пятно, ослепшая тьма стала поспешно просачиваться под землю. Нежить решила так: раз опять ничего не видно, значит, она наверняка мертвая и ей стало интересно, как долго она должна будет пребывать в этом состоянии. Но вот на фоне неба снова стали вырисовываться контуры деревьев, и нежить немножко запуталась, как, она опять видит? Да, это очевидно. Значит, мертвые оживают? Рано или поздно это случается? Очень любопытно. Но она не торопилась, она умела ждать и наблюдать, оставаясь в неподвижности.

Солнце поднималось все выше и выше. Солнечный луч ударил прямо по ее мутным глазам, но они не просветлели, а зажглись изнутри зеленым

огнем. Где-то пронзительно крикнула птица, и как сова убивает землеройку, как скунс набрасывается на своего собрата, так эта ночь схватила остывшие трупы своих жертв и, не мешкая, сгинула. Два распустившихся цветка приветливо кивнули друг другу, демонстрируя пеструю расцветку своих нарядов, большой желтой стрекозе надоело быть серьезной — она расправила свои прозрачные крылья, бодро подползла к краю листа и, включив свой крошечный моторчик, стрелой унеслась в лесную чашу. Тысячи золотых солнечных лучей хозяйничали сейчас в лесу: они приподнимали намокшую от росы траву и ворошили кусты, в которых еще прятались едва живые и насмерть перепуганные тени. «Я снова живу, — подумала нежить, — я живу, потому что снова отчетливо вижу…»

Оно приподнялось на своих толстых, осыпающихся ногах и взмахом руки попыталось поймать бьющий по глазам солнечный луч. Намокшие за ночь грязные комья через какое-то время подсохли на утреннем солнце и с первым шагом ее опали на землю маленьким сухим дождем. Нежить направлялась вверх по склону, она хотела найти и осмотреть Кимбо, который, по ее мнению, должен был ожить, как ожила она…

Малышка открыла глаза с первыми лучами солнца, когда в комнате стало светлеть. Дядя Элтон не вернулся — это была первая мысль, мелькнувшая в её голове. Папа возвратился поздно ночью и целый час кричал на маму. Элтон свихнулся, он окончательно сошел с ума, он наставил ружье на своего родного брата. Если Элтон когда-нибудь подойдет к его земле ближе, чем на десять футов, то Кори изрешетит его пулями, он станет у него похожим на решето… Элтон был ленив, инертен, эгоистичен и временами готовым на все. Он, наконец, был бешеным и опасным. Малышка очень хорошо знала своего отца: дяде Элтону не будет житья, пока он не уберется из этих мест.

Она вскочила с кроватки с трогательной и невинной грацией ребенка и подбежала к окну. Кори вел под узду двух лошадей в загон. Снизу, из кухни, доносились характерные звуки: звон тарелок и громыхание кастрюль.

Малышка ополоснула лицо холодной водой и перед тем, как вытереться полотенцем, встряхнула головой, как намокший терьер. Она схватила на ходу чистую рубашку и рабочие фланелевые штанишки, подскочила к краю лестницы и приступила к своему ежедневному утреннему

ритуалу одевания брюк: ступив правой ногой в штанину, она стала подпрыгивать на месте, целясь другой ногой в следующую. После меткого попадания она, не мешкая, мячиком проскакала вниз по лестнице, через каждую ступеньку застегивая по одной пуговице. Добралась до кухни она уже совсем одетой.

— Дядя Элтон так и не вернулся, мам?

— Доброе утро, маленькая. Нет, не вернулся, — Клисс была *слишком* спокойной и уравновешенной. Кроме того, она очень много улыбалась, что было подозрительным после вчерашней сцены… Это не укрылось от Малышки.

— Куда он ушел?

— Не знаю, Малышка. Давай усаживайся завтракать.

— А что такое выродок, мам? — вдруг спросила Малышка. Ее мать от неожиданности чуть не выронила тарелку из рук.

— Никогда, слышишь, никогда не смей произносить этого слова!

— О? В самом деле? Так почему же тогда наш дядя Элтон оказался…

— Кем это он еще оказался? — немного резко спросила Клисс.

Рот Малышки уже сомкнулся на полной ложке

овсяной каши. С набитым ртом она попыталась ответить:

— Ну… этим самым, выход…

— Малышка!!

— Все-все, мам, — ответила, усердно пережевывая, та, — а что здесь особенного?

— Говорила я Кори не орать на весь дом, — проворчала себе под нос Клис.

— Что бы не значило это слово, мой дядя не такой, — заключила Малышка, — он, наверное, снова ушел на охоту?

— Он отправился искать Кимбо, дорогая.

— Кимбо? Ах, мама, так выходит и Кимбо исчез? Он тоже не вернулся?

— Нет. И прошу тебя, просто умоляю, хватит задавать свои глупые вопросы.

— Хорошо, хорошо. Куда же, по-твоему, они пошли?

— В лес, на север. Уймись же, наконец!

Малышка отодвинула от себя тарелку с кашей. Ее осенила одна блестящая идея — чем больше она увлекалась ею, тем медленнее и медленнее она жевала и все чаще и чаще кидала хитрые взгляды на мать из-под полуопущенных ресниц. Будет просто ужасно, если папа сделает что-нибудь с дядей Элтоном. Кто-то должен пре-

дупредить его об опасности.

Малышка уже была на полпути к лесу, когда в отдалении раскатисто прозвучали выстрелы, эхом разнесшиеся по всей долине. Стреляла двустволка Элтона.

Кори работал в южном секторе поля, за культиватором, когда услышал выстрел. Он быстро отключил машину, мотор, постепенно теряя обороты, заглох. «Ого», — присвистнул он и тревожно огляделся по сторонам. Кори опустился на землю и стал прислушиваться. «Один, два, три, четыре, — считал он, — кого-то засек, все-таки засек, черт его дери. Так, перед последним выстрелом тщательно прицелился, очень тщательно. Бог мой…» — Кори резким движением встал и перенес культиватор в тень дуба. «Убийца Элтон,» — с горькой усмешкой на устах пробормотал он и прошел на задворки за ружьем. Его кулаки были сжаты.

Клисс стояла в дверях.

— Я за патронами, — кинул он и прошел в дом. Клисс ни на шаг не отставала от него. Перед тем, как достать коробку с патронами, он проверил острие охотничьего ножа.

— Кори…

— Слышала выстрелы? — не поднимая головы, тихо произнес тот, — впрочем, что я спрашиваю,

конечно, слышала. Элтон совсем спятил. Вот что я тебе скажу, он не станет понапрасну тратить заряд. Клисс, он убил человека. Он решился на это еще вчера вечером. Дай-ка ружье.

— Кори, наша Малышка…

— Не выпускай ее из дома. Господи, вот чертовщина! Вляпался мой братец… — Кори решительно шагнул через порог.

Клисс схватила его за руку:

— Кори, остановись же наконец! Я хочу тебе сказать… Малышка исчезла… Повсюду обыскалась, звала…

Кори застыл на месте. Он медленно повернулся к ней.

— Малышка… Когда ты видела ее в последний раз?

— Во время завтрака, — по бледному лицу Клисс текли слезы.

— Она сказала что-нибудь? О том, что, может, уйдет…

— Нет, ничего. Она задавала много вопросов об Элтоне и о том, куда он мог уйти.

— Ты сказала?

Клисс испуганно посмотрела на мужа, кивнула и тут же закусила в ужасе кисть.

— Ты не должна была этого делать, дорогая,

— уже на ходу крикнул Кори и бегом помчался в сторону леса. Глядя на его удаляющуюся фигуру, Клисс проклинала себя, она была готова убить себя в эту минуту.

Кори бежал, высоко подняв голову, ничего не видя перед собой, кроме извилистой тропы. Он тяжело дышал, ноги его задеревенели, и он перестал их чувствовать. На верху холма он остановился — перед ним был лес. Кори согнулся пополам, положил устало руки на колени и попробовал отдышаться. Он даже не почувствовал острого запаха перегноя в воздухе, его легкие судорожно наполнялись сырым воздухом и тут же выбрасывали его, голова кружилась.

Справа, в гуще леса, он боковым зрением уловил какое-то движение и резко вскинул ружье. Все еще тщетно пытаясь восстановить дыхание, Кори двинулся вперед. Там что-то было, это не могло ему почудиться. Нечего даже сомневаться. Он так крепко сжал в руках ружье, что оно, казалось, слилось с ним в одно целое. Что-то черное пряталось за деревьями, оно ждало его…

Кори попробовал расслабиться. С таким напряжением можно и промахнуться. Он выпрямил спину, расправил плечи и тут же почувствовал, как его сердце стало успокаиваться, силы воз-

вращались к нему. Приобретя уверенность, он твердо навел своей двенадцатикалибровик в сторону чащи и щелкнул предохранителем.

— Выходи! — выговорил Кори, как только голос вернулся к нему.

В ответ ему раздался стук дятла где-то поблизости.

— Выходи, или клянусь всеми святыми, я буду стрелять! — заорал он что есть силы.

После затянувшейся паузы его палец стал постепенно нажимать на курок.

— Ты сам напросился, приятель, — выдавил Кори и выстрелил.

С отчаянным криком нечто метнулось из своего укрытия и выбежало на открытое место.

Это был худой, маленький человек, одетый во все черное, с розовым детским лицом, какого Кори никогда не видывал. Лицо это было перекошено страхом и болью. Человек подползал к нему все ближе и ближе, он то приподнимался, то вновь припадал к земле: «О моя рука! Умоляю, не стреляйте больше! Бог мой, рука, вы прострелили ее! Не надо, не надо стрелять!»

Кори колебался лишь мгновение. Он подбежал к человеку, поднял его на ноги и заглянул в его огромные, испуганные небесно-голубые глаза.

— Ты попал в меня, — бескровными губами прошелестел незнакомец и вытянул худую окровавленную руку, — боже, ты подстрелил меня…

— Какого дьявола, кто ты такой?!

Тут с человеком приключилась внезапная истерика, из его рта посыпались обрывки предложений и безумных выкриков. Кори от неожиданности отпрянул назад и вновь слегка приподнял свое ружье. Нужно признаться, он был не на шутку напуган случившимся. Прорвавшийся у незнакомца поток слов состоял главным образом из полуфраз типа «я не делал этого», «ужасно», «вырвало», «потерял бумаги», «труп» и «пожалуйста, не стреляйте в меня»…

Кори пытался дважды задать один и тот же вопрос, но безрезультатно: глаза раненого были широко раскрыты, он судорожно хватал ртом воздух. Тогда Кори со всей силы ударил его по лицу, сбив его тем самым с ног. Человек корчился, стонал и причитал, его окровавленная рука зажимала рот, из которого, кажется, тоже шла кровь.

— А теперь разъясни мне толком, что здесь происходит?

Человек с трудом приподнялся на один локоть:

— Я не делал этого, поверьте, я здесь совершенно ни при чем, — всхлипнул он, — никогда… Я

шел рядом и услышал выстрел, а потом кто-то стал страшно, не по-человечески и очень громко ругаться, а чуть позже раздался душераздирающий крик… Я решил посмотреть, подошел поближе и раздвинул кусты… Там лежал мертвый человек. Впрочем, нет, не мертвый, это слово не подходит… Меня вырвало на месте, я побежал прочь, появились вы — я спрятался… Вы подстрелили меня, а потом…

— *Заткнись*! — человек повиновался, как будто в нем что-то отключили, — итак, — Кори указал дулом на ведущую в лес тропу, — ты говоришь, что видел там мертвого человека?

Незнакомец отчаянно кивнул и тут же снова заплакал. Кори помог ему встать.

— А теперь ступай по этой тропе вниз, к моей ферме, — сказал он, — передай моей жене, чтобы она обработала и перевязала рану. И запомни — ей ни слова о том, что ты видел в лесу. Жди моего возвращения. Ты понял меня? Ответь? — Кори слегка тряхнул его за плечи.

— Да. Благодарю вас. О, благодарю вас!

— Теперь иди. Быстро! — Кори подтолкнул его в правильном направлении, а сам пошел дальше один. Животный страх охватывал его при приближении к тому месту, где он вчера оставил

сидеть на земле своего брата. Холодная испарина выступила у него на лбу, когда Кори различил впереди какое-то непонятное темное пятно.

Он нашел его на том же месте, рядом с Кимбо. Кимбо и Элтон, дружившие и любившие друг друга несколько лет, Кимбо и Элтон, которые не могли прожить друг без друга и дня, Кимбо и Элтон, которые охотились, сражались и спали вместе, делились друг с другом, теперь были мертвы. Было нечто устрашающее и роковое в том, что они погибли одной смертью. Кори Дру был взрослым и сильным мужчиной, но когда его взору открылось то, что сотворило неведомое существо с его братом и собакой его брата, ему стало не по себе…

Маленький человек, одетый во все черное, спешил вниз по тропе. Он кряхтел, постанывал и с такой любовью прижимал поврежденную руку, что создавалось впечатление, будто бы он ничего не имеет против того, чтобы вдобавок похромать для большего эффекта. Правда, через какое-то время он прекратил свои причитания и сменил быстрый шаг на обыкновенный, прогулочный. Теперь он был похож на возвращающегося после удачной охоты терьера, который решил оставшийся небольшой участок пути домой не

торопиться. Человек два раза глубоко вздохнул, произнес: «О, господи» и, видимо, там, наверху, его услышали, потому что он тут же почувствовал себя гораздо лучше. Он обвязал накрахмаленным платочком кисть, но, похоже, это не остановило кровотечение: платок в минуту пропитался кровью. Затем он попробовал пережать руку в локте, но это оказалось болезненным. В конце концов он небрежно засунул платок обратно в карман и стал просто с довольно глупым видом размахивать раненой рукой в воздухе, пока кровь не свернулась сама. Он не видел и даже не подозревал о том, что позади него крадется влажный, комкообразный Ужас. Человек с детским лицом брезгливо поморщился: он уловил в холодном влажном воздухе едкий и острый запах перегноя.

У чудовища были три большие рваные дыры в груди и одна прямо в центре безобразной, бесформенной головы. На спине у него красовались три близкие друг к другу черные точки, четвертая же находилась прямо на затылке. Это были следы от пущенных Элтоном Дру пуль, которые прошили его насквозь. Практически вся половина его головы была снесена прочь, кроме того в области плеча оно имело глубокую вмятину с четко

очерченными краями. Это был след от приклада, которым воспользовался Элтон сразу после того, как понял, что четыре пули не уложили эту тварь и даже не причинили ей сколько-нибудь значительного вреда. Принимая один за другим удары от обезумевшего от страха и ненависти Элтона, эта нежить не чувствовала никакой боли и не питала к нему злости. Единственное, что интересовало ее — почему он действовал именно *так*?

Теперь же чудовище следило за этим маленьким черным человечком, который шагал по тропе и зачем-то размахивал рукой. Оно не торопилось, внимательно старалось ступать след в след и не открывать своего присутствия. Оно продолжало осыпаться мелким дождиком грязевых комков.

Маленький человек с детским лицом вышел из леса и остановился, облокотившись на большое, толстое дерево. Это дерево было своеобразным пограничным столбом, последним деревом на пути к ферме. Человек задумался. Достаточно он тут натерпелся. Что хорошего ждало его на ферме, кроме перебинтованной руки и утоления голода? Для чего ему подвергать себя риску и проходить по этому делу в качестве свидетеля? Не для этого он прибыл сюда. Где-то в этой окрестности должны располагаться останки старой охотничьей

землянки, в которой, вполне вероятно, он сможет найти необходимое ему подтверждение… Однако все это было очень неопределенно и сомнительно. Во всяком случае, настолько сомнительно, что он без тени сожаления вспоминал об утерянном документе. Было бы большой глупостью оставаться в близлежащем провинциальном городишке надолго, больше того, чем требовали обстоятельства. С другой стороны, совершенно нелепо было бы подчиниться совету фермера — прийти в его дом и ждать, пока он вернется. Все-таки лучше дойти до города. Что ни говори, а это более трезвое решение.

Чудовище прислонилось к тому же дереву с другой стороны.

Маленький человек в черном с омерзением принюхался к внезапно нахлынувшему невесть откуда запаху гнили. Он вновь достал носовой платок, нервно помял его в руках и обронил на землю. Как только он наклонился подобрать его, огромная рука нежити просвистела в воздухе и схватила воздух в том месте, где секунду назад находилась голова человека. Если бы это произошло, то от детского розовощекого лица вряд ли бы что-нибудь осталось. Человек вновь разогнулся, держа перед собой двумя пальцами платок. На

лице его читалась досада: будь тот почище, он бы обязательно в него высморкался.

Существо за деревом снова приподняло руку для смертоносного удара, но в этот момент человек швырнул от себя платок и быстро пошел прочь, через поля, он решил пересечь всю деревню и выйти на дальнее шоссе, которое, по его мнению, должно было привести его рано или поздно к городу.

Оно набросилось на носовой платок, подобрало его, внимательно изучило, а потом медленно разорвало на четыре части. Оборванные края платка мало впечатлили его и он с надеждой посмотрел на быстро удаляющуюся фигуру маленького человека в черном. Слишком поздно. Оно проводило его взглядом и вернулось в лесную чащу.

Как только Малышка услышала выстрелы, она перешла на бег. Конечно, очень важно было как можно быстрее предупредить дядю Элтона о том, что говорил ее отец, но не менее важным казалось для нее посмотреть на то, кого подстрелил дядя. Наверняка этот «кто-то» или «что-то» было очень крупным, дядя Элтон никогда не стреляет понарошку. В первый раз в жизни она слышала целую серию выстрелов, в кого можно так па-

лить? «Я знаю, — с возбуждением подумала она, — знаю! Это должен быть медведь…»

Она зацепилась за торчащий корень и упала со всего маху на землю. Но уже в следующее мгновенье она вновь была на ногах — некогда было обращать внимание на такие пустяки, как ссадины и ушибы, ей страшно хотелось иметь еще одну медвежью шкуру у себя в комнате. Куда же она положит ее? Может, просто расстелит на полу или будет пользоваться ей как одеялом. Быть может, сам дядя Элтон будет сидеть на ней и что-нибудь рассказывать ей по вечерам, он так интересно рассказывает… Ой, нет-нет-нет. Ах, если бы не папины угрозы! Папа грозился убить его. Если бы в ее силах было что-нибудь изменить! Взволнованная недобрым предчувствием, она было ускорила бег, но вскоре настолько запыхалась, что вынуждена была перейти на быстрый шаг. На вершине холма, перед самой кромкой леса, она остановилась и посмотрела назад.

Перед ней раскинулась типичная сельская местность юга тридцатых годов. Она стала внимательно изучать поле, пытаясь обнаружить на нем своего отца. Старые и новые грядки аккуратными ровными рядами простирались от подножья холма до самого дома. Своими зоркими глазка-

ми она немедленно отметила тот факт, что ряд последней, крайней грядки не доведен до конца, что было очень непохоже на Кори. Вон он положил культиватор под развесистое дерево, а сам куда-то исчез. Нет, это не было похоже на ее отца. Она присмотрелась еще раз — нигде поблизости не было видно бледно-синей рубашки Кори.

Она тихонько прыснула от смеха при мысли, что ей так легко удалось провести своего отца. Но в следующую секунду детский смех потонул в нечеловеческом предсмертном вопле Элтона.

Не на шутку перепугавшись, она перебежала тропу и нырнула в первые попавшиеся кусты. Она была совсем недалеко от того места, откуда раздались выстрелы. Стараясь не шевелиться в своем колючем и неудобном укрытии, она стала прислушиваться дальше. Довольно скоро до нее донеслись звуки быстро приближающихся шагов. Она в страхе прижалась к земле и тут увидела маленького человечка, одетого во все черное. Его лицо было совсем детским и глядя на него, невольно хотелось определить его возраст. Однако, и помимо одежды что-то удерживало от поспешного причисления его к подросткам. В широко раскрытых голубых глазах был невыразимый ужас, весь он как в беспамятстве расчищал

себе вытянутыми руками дорогу и шел не глядя, напролом. У кустов, где спряталась Малышка, он споткнулся и, словно подкошенный, упал. Перед падением он неуклюже взмахнул руками и незаметно для самого себя подбросил вверх кожаную папку, которая сначала с треском приземлилась на кусты, а потом скользнула прямо в руки Малышки. Человек этот больше никогда не видел свою папку. Правда, нужно признаться, он и не приложил особых усилий к ее поиску впоследствии.

Долгое время она лежала, боясь пошевельнуться. Оправиться от непонятного страха ей помогли опять-таки мысли о дяде и новой шкуре медведя. Она поднялась, отряхнулась, подобрала кожаную папку и уже без тени страха зашагала в глубь леса. События разворачивались слишком быстро для нее, она не поспевала за ними. Чего проще было взять и позвать дядю Элтона? Однако что-то мешало ей это сделать. Она вновь остановилась и прислушалась. Где-то рядом, только уже позади нее прогремел выстрел, и после минутной паузы она расслышала отдаленный голос отца и еще чей-то чужой, который, вероятно, принадлежал незнакомцу в черном, обронившему папку. Она не решилась приблизиться к тому месту,

слишком быстро закончилась бы игра. Вся переполненная сладостным ощущением собственной находчивости и охваченная азартом игры, Малышка призадумалась. И тут ее осенило.

Не помня себя от радости, она торжествующе щелкнула пальцами. Она не раз играла с дядей Элтоном в игру «Инджун», и это происходило как раз на этом месте. Они использовали целый набор секретных сигналов, известных только им двоим. Ей особенно хорошо удавалось подражать крикам птиц, Элтон утверждал, что она могла бы давать уроки правильной подачи голоса самим птицам. Но крик какой птицы выбрать? Ах, точно — решено, это будет голубая сойка! Четыре раза — два раза по два. Малышка довольно кивнула. Этот сигнал означал, что она срочно хочет его видеть, встреча у Тайника. Тайник — это открытое Элтоном место, о котором он рассказал только ей, и только они вдвоем могли пользоваться этим Тайником. Ни одна живая душа больше не знала о нем: выступ скалы над Большим Ручьем. Не совсем пещера, но нечто очень похожее на нее. По крайней мере это было место, на которое стоило всего раз взглянуть, чтобы потом долго-долго про него вспоминать.

Малышка, весело подпрыгивая, помчалась к

Ручью. Она была совершенно у уверена в том, что дядя Элтон помнил крик голубой сойки. И тем более, что этот крик означает.

На дереве, ветви которого свешивались над окровавленными останками Элтона, сидела большая сойка, ее перья отливали на солнце синевой. Абсолютно не чувствуя рядом присутствия смерти, она не заметила подвоха в искусственном и чересчур высоком крике Малышки и ответила ей четырьмя протяжными криками. И судьбе было угодно распорядиться так, что после двух криков голубая сойка сделала небольшую паузу, дважды полоснула клювом о сухую ветку, а затем крикнула еще два раза…

Кори понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя после увиденного. Он отвернулся от этого страшного зрелища и ухватился за сосну, дыхание его стало прерывистым, голова закружилась. Лежащее перед ним было когда-то человеком, было его родным братом, Элтоном, — превратившемся теперь в изуродованные и расчлененные останки.

— Боже, боже, боже!..

Постепенно силы вернулись к нему и он буквально заставил себя вновь посмотреть на это. Он осторожно приблизился, склонился и по-

добрал ружье Элтона. Ствол его был чистым и блестящим, но приклад и средняя часть были выпачканы какой-то воняющей гнилью. Где он мог сталкиваться раньше с этим запахом? Не важно — где-то. Он тщательно вытер странную грязь. Но ремень ружья все-таки пришлось выбросить: гниль просто въелась в его материю. В его голове прозвучали слова Элтона: «Я выслежу его. Я возьму его след и буду идти по нему до тех пор, пока не увижу того, кто это сделал… Я отомщу за моего маленького Кимбо, за мою маленькую собачку!»

Кори поискал взглядом упаковку пуль Элтона. Вот она, рядом — такая же мокрая и липкая, одного цвета со всем остальным… Ну, что ж — это даже лучше. Орошенная кровью Элтона пуля — это как раз то, что нужно. Он отошел на небольшое расстояние и начал методично осматривать землю в поисках следов. Искать пришлось недолго — тяжелые, гигантские следы трудно было не заметить. Кори вернулся к тому месту, откуда начал.

— Я отомщу за тебя, брат, — громко прошептал он и пошел по следу. След изрядно вилял, то заводя его в непроходимые заросли кустов, то на залитые солнцем лужайки. Во время своего преследования он с интересом посмотрел на

возвышающийся слева от него небольшой холм, от которого так и веяло смрадом. Нечто похожее на глину, перемешанную со мхом и плесенью… У него появилось смутное предчувствие, что он мог иметь какое-то отношение к убийству его брата.

В Кори не осталось никаких других человеческих чувств, кроме ненависти и упрямства. Он проклинал себя за то, что не привел Элтона домой прошлой ночью и за те слова, которые позволил себе по отношению к нему.

Следы привели его обратно к краю леса. Внезапно он наткнулся на большое развесистое дерево и тут заметил кое-что еще: отпечатки ног маленького человека в черном. Рядом лежали обрывки белой материи. А это что еще такое? Другие следы, совсем маленькие. Следы от детских босоножек…

— Малышка!! — никакого ответа. Ветер вздохнул, пошевелив на его голове сухие светлые волосы. Или они поднялись от ужаса?

Где-то прокричала голубая сойка.

Малышка резко остановилась и оглянулась назад: несмотря на большое расстояние, голос отца показался ей чересчур громким и пронзительным.

— Вы только послушайте, как он кричит! —

весело воскликнула она, — точно с ума сошел! — она для верности еще раз прокричала голосом сойки, чтобы дать понять дяде Элтону, что она тоже услышала его, и поспешила к Тайнику.

Эта местность называлась «Мамонтов Валун» из-за огромных размеров (почти с двухэтажный дом) камня, расположенного у Большого Ручья. Это место было когда-то обиталищем первобытных людей каменного века. Высеченная в камне пещера в форме треугольника, один угол которого уходил вглубь, в заросли ежевики, наводила на мысль о полной опасностей жизни этих людей. Два других угла образовывали широкий вход, рядом с которым протекал Ручей. Маленькая, неудобная, усеянная острыми булыжниками комнатка без крыши — вот что приблизительно представлял из себя Тайник. И тем не менее для Малышки и Элтона он был самым дорогим и любимым местом на всей земле.

Она осторожно раздвинула кусты и заглянула в пещеру.

Дядя Элтон! — мягко позвала она. Никакого ответа. Ну что ж, с минуты на минуту он будет здесь. Она забралась вовнутрь и расположилась на полу.

Как она любила здесь бывать! Приятная про-

хлада, журчащий, наполненный искристым светом и смешно булькающий звук бегущего Ручья, непередаваемый воздух наполняли ее необыкновенной радостью. Она крикнула дядю Элтона снова — так, на всякий случай — после чего обхватила руками коленки и приготовилась ждать. И только сейчас она вдруг вспомнила, что принесла с собой кожаную папку маленького человека в черном.

Сначала она внимательно рассмотрела ее со всех сторон и только потом открыла ее. Папка была разделена по центру кожаной перегородкой. С одной стороны лежало несколько бумаг, завернутых а большой желтый конверт, а с другой — несколько бутербродов, шоколадка и яблоко. Изрядно проголодавшаяся к тому времени Малышка, не долго думая, набросилась на еду. Она приберегла один бутерброд для Элтона (хотя истинной причиной было то, что она не любила сильно перченое). Все остальное было съедено в мгновение ока.

Но вот когда уже была съедена шоколадка и яблоко быстро стало таять в руке, Малышка немного забеспокоилась. Она приподнялась и стала кидать плоские камни в Ручей, затем попробовала от нечего делать стоять на руках. Она

даже пыталась сама сочинить и рассказать самой себе какую-нибудь интересную историю, но у нее не очень получалось и она бросила эту затею. Малышка продолжила томительное ожидание. С момента условного сигнала времени прошло предостаточно. Дядя Элтон никогда еще так не подводил ее.

Наконец, в отчаянии, она вновь обратилась к папке и ее содержимому. Вынула из нее конверт с бумагами, забралась на большой гладкий камень и принялась читать их.

Это были пожелтевшие от времени газетные вырезки, наклеенные на альбомные листы. Все они повествовали о причудливых завещаниях, которые оставляли после своей смерти люди. Одна старая леди, например, завещала огромную сумму денег тому, кто совершит путешествие с Земли на Луну и обратно. Другая оставила все свои деньги на строительство шикарного приюта для кошек, чьи хозяева (или хозяйки) по каким-то причинам умерли. Один человек завещал тысячи долларов первому, кто решит его математическое уравнение и сможет доказать правильность своего решения. Но один абзац среди всей колонки был выделен особо и подчеркнут синим карандашом:

«Одно из самых таинственных завещаний века — завещание Тадеуса М. Кирка, умершего в 1920 году, остается в силе. Так случилось, что указанный сэр увлекся собиранием бренных останков всей своей многочисленной семьи и соорудил необыкновенной красоты мраморный мавзолей, в который имел намерение поместить всех их. Он находил и поднимал из земли гробы по всей стране. Порой ему было достаточно лишь отдаленного родства, чтобы купить право на перезахоронение.

Тадеус Кирк являлся последним в роду, после его смерти не осталось никого. В его завещании говорится о том, что он выделяет значительную сумму на регулярный ежегодный ремонт своего мавзолея, но основная часть всего завещания достанется в качестве вознаграждения тому, кто представит тело его дедушки, Роджера Кирка, чье место в мавзолее до сих пор пустует. Любой, кто найдет его останки, может получить деньги незамедлительно».

Малышка громко зевнула над всей этой писаниной, но так как больше нечего было делать, она продолжила чтение. Дальше шли толстые, мелко исписанные листы деловой переписки и первым было письмо от какой-то важной персоны из

фирмы адвокатов:

«Отвечая на Ваш запрос относительно завещания Тадеуса Кирка, мы уполномочены заявить следующее: пропавший без вести дед сэра Кирка был ростом пяти футов и пяти дюймов, на левой руке след от незажившего перелома, в череп хирургическим путем была вставлена треугольная серебряная пластина. На данный момент мы не располагаем информацией о месте и времени его смерти. Он исчез, и после четырнадцатилетнего отсутствия был официально объявлен умершим.

Сумма вознаграждения, указанная в упомянутом завещании, плюс подоходные проценты, составляют в настоящий период времени свыше шестидесяти двух тысяч долларов. Она будет выплачена первому, кто представит на рассмотрение останки и те доказательства, по которым можно будет установить их подлинность».

Там было еще много всего, но Малышка утомилась. Она лениво пролистала еще и маленькую черную тетрадку, в которой также, как оказалось, ничего интересного не было. В ней все было исчеркано карандашом, добрая половина ее была исписана под краткие отчеты о посещении городских библиотек, остальное же занимали различные выписки из книг с такими скучными

названиями, как «История графств Анджелин и Тайлер» и «История семьи Кирк». Она небрежно отшвырнула от себя тетрадь. Каким же глупым должен быть этот маленький человек, чтобы интересоваться подобным занудством. Но куда же, в конце концов, запропастился дядя Элтон ?!

Она стала напевать себе под нос какую-то известную только ей песенку: «Тумалумалум тум, та-та-та», одновременно пританцовывая в неком старинном танце, в котором необходимо было подбирать края юбки и вращаться, как это делала одна девочка в кино.

Шорох кустов у самого входа в пещеру остановил ее. Она на цыпочках подкралась к выходу и осторожно выглянула. Да, сюда кто-то шел — было видно, как раздвигаются кусты и слышна тяжелая, уверенная поступь. Тут ей в голову пришла блестящая мысль — спрятаться за выступ скалы и когда дядя Элтон войдет, внезапно напрыгнуть на него. Вот он удивится! Она хихикнула и растворилась в густом тенистом проеме.

Еле сдерживая готовый вырваться радостный возглас, она слышала, как кто-то заскользил по каменистому склону (должно быть, чуть не упал) и гулко приземлился на пол пещеры. Что-то насторожило ее в самом звуке… Постой-ка…

Малышка попыталась сконцентрировать весь свой небогатый жизненный опыт: для человека такой комплекции, как дядя Элтон, добраться сюда, сквозь эти колючие заросли кустов и ничуть не запыхаться вряд ли было возможным, но она не слышала этого тяжелого дыхания. Более того, она не слышала вообще, чтобы кто-нибудь здесь *дышал*.

Затаив дыхание, Малышка выглянула из своего укрытия и тут же застыла, словно громом пораженная, из ее перекошенного ужасом рта вырвался странный звук, который можно сравнить со скрипом плохо смазанной двери. Тот, кто стоял там, не был дядей Элтоном. Тот, кто стоял там, был скорее чудовищной карикатурой человека: гигантское существо, похожее на неуклюжую, кое-как слепленную из глины куклу. Но Малышке сейчас совсем не хотелось играть.

Существо это заметно подрагивало, одни части его блестели, смоченные непонятной слизью, а другие напоминали засохшие, прилипшие друг к другу комья навоза. Практически вся нижняя часть лица отсутствовала, и это придавало ему невероятно уродливый вид. У него не было ни носа, ни рта, а глаза его располагались на разных уровнях: один выше другого, оба грязно-корич-

невого цвета, без всякого намека на белок. Оно стояло и, не шевелясь, смотрело на нее. Смотрело и подрагивало конвульсивной дрожью. С тихим хрустом от его туловища оторвался округлой формы грязевой комок и шлепнулся на землю. Он подкатился к самым ее ногам. Малышка продолжала скрипеть.

Оно заинтересовалось звуком, издаваемым существом за камнем, в нем было что-то новое.

Малышка отползла, насколько это было возможно назад и прижалась спиной к холодной каменной стене. Все в ее голове перемешалось, в глазах помутнело, мозг беспорядочно переключался с одного на другое. Она раскрыла рот, чтобы позвать на помощь, но не смогла этого сделать — горло словно налилось свинцом. Ее глаза стали вылезать из своих орбит, а лицо страшно покраснело, будто ее душили. Две золотистые, аккуратно заплетенные косички бешено виляли из стороны в сторону, как попавшие в западню лисички. Боже, если бы она находилась на открытой местности, или, хотя бы, у самого входа в эту пещеру… Да он же бегает быстрее всех на свете! Но лучше всего было, конечно же, оказаться дома, в постели, под одеялом.

Нежить сделала шаг по направлению к ней,

сделала его абсолютно без всякого выражения, автоматически, медленно, неотвратимо, внушая подлинный Ужас. Малышка стояла с широко раскрытыми глазами, не шевелясь. Невидимый пресс сокрушающей волны страха обрушился на ее легкие, теперь она едва заметно шевелила губами — заглатывала маленькими порциями воздух, словно выброшенная на берег рыбешка, ее сердце билось так, что сотрясало своим стуком весь мир. Чудовище подошло к самому устью каменной ниши, но, пытаясь протиснуться в нее, с удивлением обнаружило, что у него ничего не выходит. Ниша оказалась такой узенькой и маленькой, что только маленький ребенок мог протиснуться в нее.

Создание тьмы стояло, облокотившись на скалу своими плечами. Оно давило на нее все сильнее и сильней, пытаясь добраться до ребенка своей угловатой, комкообразной рукой.

Девочка медленно присела на корточки, эта тварь была настолько близко, что жуткий запах, от нее исходивший, был физически ощутим, его можно было видеть. И тут, сквозь безмолвный, тупой страх, мелькнула надежда. Безумная, слепящая надежда — оно не может проникнуть сюда, потому что… потому что слишком огромно!

Липкая затвердевшая грязь его ноги стала медленно растягиваться под страшным давлением, внутри него взору открылись какие-то белые тягучие жилы, из зловонных глубин торпедировал потревоженный маленький черный жучок. Плечо монстра с противным треском надломилось. Этот надлом увеличивался с каждой секундой и, когда чудовище в очередной раз бессознательно с силой ударилось о скалу, внезапно довольно большой кусок плеча с хрустом отпал от него и тут же оно, издавая звук, подобный тому, как проводят камнем по стеклу, протиснулось в расщелину на целых три фута. Ему хватило нескольких секунд, чтобы выхватить из темноты своими мутными глазами девочку и внимательно осмотреть ее. В следующее мгновение оно вытянуло свою толстую, тяжелую руку вперед и стало опускать ее на голову ребенка. И вот оно настигло это неизвестное ему маленькое существо.

Вся побелевшая от тошнотворного, мутящего страха, немая от сковавшего все ее члены ужаса, девочка инстинктивно вжалась в стену еще на дюйм (хотя она даже не подозревала, что такое возможно) и смердящая, дубинкообразная рука грубо скользнула по ее спине, оставляя грязный влажный след на голубой хлопчатобумажной

рубашке. Вдруг по телу чудовища прошло нечто вроде судороги и оно, вытянув руку во всю длину, ликвидировало этот последний решающий дюйм. Черная рука схватила девочку за одну из косичек, и Малышка потеряла сознание.

Ее возвращение из забытья было подобно прыжку в леденящую воду после приятного, теплого, покалывающего крохотными иголочками в кончики пальцев беспамятства. Первое, что открылось взгляду Малышки, это то, что та же расплывчатая страшная рука держит ее за волосы. Чудовище подняло девочку так высоко, что ее лицо было на одном уровне с его бесформенным, лишенным всяких человеческих черт лицом. Она равнодушно отметила про себя тот факт, что в том месте, где должен был находиться у чудовища рот, в этой гнилостной трещине, сквозь которую был виден шейный позвонок, копошились белые могильные черви. Оно со спокойным любопытством разглядывало девочку, раскачивая ее при этом за волосы взад-вперед. И тут боль выдираемых волос сделала то, чего не смог сделать ее страх — она вернула голос. Малышка истошно, с надрывом закричала. Она раскрыла рот, набрала в свои сильные, молодые легкие воздух, и закричала. Не закрывая рта,

она судорожно втянула в себя свежий воздух и закричала с новой силой. Все мускулы детского лица сжались в воспроизведении этого далеко не детского и вообще не человеческого крика. Этот страшный, однотонный протяжный вопль пронзил и наполнил собой лесную тишину на десятки миль.

Нежить ничего не имела против. Она продолжала держать ее за волосы и с любопытством разглядывать. Когда же она получила удовлетворяющую ее информацию об этом беспрерывно орущем феномене, она разжала руку и огляделась по сторонам, полностью игнорируя оглушенную и сжавшуюся в комок Малышку. Нежить прошагала к кожаной папке, подняла ее и разорвала пополам в том месте, где был шов. Затем она подняла с пола бутерброд, оставленный девочкой, и также жестко, равнодушно и целенаправленно, как она разрушала и уничтожала все вокруг себя, смяла его в своей руке, грязно-белое месиво полезло между ее пальцами. Но на сей раз нежить ничего не почерпнула для себя из этого бессмысленного действа.

Малышка открыла глаза. Прошло немало времени, прежде чем до ее сознания дошло, что она свободна, и когда она увидела над собой вновь

приближающуюся черную тень, опрометью зайчонком проскочила между ног чудовища вглубь пещеры и только потом сообразила, что загнала себя в новую ловушку. Когда она почувствовала спиной холодный камень, из ее полураскрытого рта снова стали вырываться скрипящие звуки. И тут внутри нее зажегся огонек бешенства: она слепо нащупала на полу камень размером с грейпфрут и изо всех своих сил метнула его в чудовище. Он пролетел низко и очень быстро, и с глухим звуком попал ему прямо в пятку. Нежить как раз собиралась ступить в воду, когда удар настиг ее. Брошенный ребенком камень нарушил равновесие гигантского неуклюжего тела. Нежить зависла на какой-то момент над самым краем, а затем, словно в замедленном действии, рухнула вниз, поднимая кучу серебряных брызг. Она упала прямо в самую заводь… Не долго думая, Малышка с диким криком выбежала наружу и помчалась прочь.

Кори Дру шел по следу, который был отмечен маленькими засохшими комочками грязи. Теперь он наверняка знал, что они каким-то образом имели отношение к убийце его брата. С этой тропы было трудно сбиться. Именно тогда он и услышал первый ее крик. Отшвырнув в сторону

свое ружье и выставив дулом вперед винчестер брата, он помчался вперед в такой смертельной панике, что даже не заметил клинообразной скалы и пробегавшего мимо нее Ручья. В этот момент Кори не был человеком. Кори был отцом, ослепленным страхом за свою девочку, он не видел ничего вокруг: деревья, камни, кусты — все смешалось у него перед глазами. Он забыл про свои ноги, ему казалось, что он летит…

Ребенок бежал со всех ног, он падал, снова поднимался и продолжал бежать, в голове у него с этого момента пульсировала только одна мысль: бежать, бежать как можно дальше от безликого Ужаса в пещере.

Когда Кори настиг ее, схватил и поднял на руки, Малышка истерично заорала, когда Кори прижал ее к груди, она закричала так, что у него заложило уши, а когда Кори стал лихорадочно гладить ее по голове, то ему показалось, что ее крик материализовался: каждое дерево, куст, травинка, сама земля исторгали из себя душераздирающий, леденящий кровь оглушительный крик… И ничто не могло остановить его.

Чудовище лежало в воде. Трудно сказать, нравилось ему это новое ощущение, или нет. Оно покоилось на самом дне, целый фут отделял его

массивную голову от поверхности. Оно лежало и анализировало только что происшедшее. Что заставило его заглянуть в пещеру? — Странные звуки, издаваемые девочкой. Да, и еще — тот черный материал, из которого была сделана папка, было гораздо труднее разорвать, чем материал, из которого были сделаны все зеленые, белые и мохнатые предметы до него. Маленькое двуногое создание своим тихим пением заинтересовало его, и оно вошло во внутрь. Потом создание начало кричать. То, во что он оступился и упал, было холодным и мокрым. Оно обмывало его тело, уменьшало его. Раньше такого никогда не случалось. Очень интересно. Чудовище решило подождать и поподробнее изучить это новое ощущение, у него не возникло желания спастись, ибо оно не осознавало угрожающей опасности, не понимало, с чем столкнулось. Единственным желанием, ради которого оно передвигалось и уничтожало, было желание Познания.

Рожденный весной ручеек, смеясь, струился вниз, он купался в солнечных лучах, искрился, сверкал и переливался в них, он воздавал должное родникам и источникам, которые подпитывали его силы. Он весело журчал, играл с болтающимися маленькими корнями и слегка

подталкивал бочком зазевавшихся рыбешек и головастиков, которые тут же в панике кидались в крошечные заводи и отсиживались там. Это был веселый и счастливый ручей. Когда он добрался до озерца перед клинообразной пещерой, он обнаружил в своих владениях чудовище. Сначала он попробовал его растолкать, но когда увидел, что у него ничего не выходит, стал легонько пощипывать его. Он щепотками отрывал от чудовища рыхлые наросты, выравнивал их и тщательно вымывал грязь. Вода вокруг него окрасилась в черный цвет. Это обстоятельство не остановило ручей, он лишь с большим рвением продолжил работу: он вымывал и чистил все, к чему прикасался и не знал при этом отдыха. Где он находил гниль, разрушение или болезнь, он, подобно терпеливому хирургу, удалял их, а если он видел, что гнилью поражен большой пласт, то не раздумывал особенно долго — принимался удалять весь пласт. Это был хороший ручей, ручей — санитар. У него даже в мыслях не было причинить какой-то вред этому чудовищу, он просто решил немного подчистить его, он рассеивал смытую грязь по всей заводи и она, образовывая темные круги вокруг камней, постепенно оседала на дно, где питала собой корни

водорослей, которые от этого станут еще более сочными, зелеными и прекрасными.

А чудовище все таяло. «Я уменьшаюсь, становлюсь меньше», — думало оно, — любопытно. Теперь я не могу двигаться. А сейчас еще та моя часть, что думает, также исчезнет в этом холодном и мокром веществе… Потом и весь я исчезну в нем… Сначала я перестану мыслить и анализировать, а потом вовсе прекращу существование. И это тоже очень, очень интересно…»

Итак, чудовище уменьшалось и продолжало загрязнять собой воду. Но даже тогда, когда она снова стала чистой, вода продолжала обмывать и общипывать оставленный чудовищем скелет. Он был небольших размеров и на его левой руке теперь был явственно различим неправильно зажитый участок перелома. Солнечные лучи ярко поблескивали на вставленной в бледный череп серебряной треугольной пластине. Скелет был очищен от грязи полностью. Ручей, хитро прищурившись, звонко рассмеялся над ним.

Они нашли скелет — шестеро угрюмых, мрачных мужчин, которых послали найти убийцу. Никто так и не поверил Малышке, когда она позже рассказала свою историю. Позже, потому что в тот день она кричала без перерыва в течение

семи часов, а весь следующий день пролежала без движения, точно мертвая. А не поверили ей по той простой причине, что ее история была про Бармаглота, и все знали, что этот «Бармаглот» был придуман ее собственным отцом для того, чтобы она не проказничала. Но именно благодаря ей в Большом Ручье был найден скелет и люди, работавшие в банке, прислали всей семье чек на такую сумму, о какой все они не смели даже мечтать. Как было установлено, тот скелет принадлежал старому Роджеру Кирку, хотя найден он был по непонятной причине в пяти милях от того места, где лес поглотил его останки и воссоздал заново — в обличье монстра.

Семья Дру построила новый сарай, закупила новую отборную скотину и наняла на работу четырех человек. Но с ними не было Элтона. И с ними не было Кимбо. А Малышка с тех пор кричит по ночам и выросла очень худой и болезненной.

ЖАН РЭЙ

ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО

Перевод с французского С. Зенкина

Уже в который раз мистер Торндайк, хозяин публичной библиотеки в квартале Степл-инн, поглядывал со своего места на причудливые дома с деревянным фасадом, стоящие напротив его окна.

В читальном зале, где на столах из черного дерева громоздились книги, не было ни души, и он не мог уже в который раз кому-нибудь рассказать, что чрезвычайно ценит тюдоровский стиль этих построек, что только они одни и сохранились при пожарах и потрясениях, пережитых Сити, начиная с XV века.

Ни души…

Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные и лоснящиеся тома, для библиотекаря в счет не шел.

Доктор Бакстер-Браун был простым квартальным лекарем; он жил на Черч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких тусклых домов в

окрестностях Клиссолд-парка, не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а немногочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом. Два раза в неделю он тащился через всю столицу до Холборна, в пыльную читальню Торндайка; там он просиживал час или два и в итоге уходил с какой-нибудь книжкой под шестипенсовый залог.

На улице моросило, а стол его находился в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк и не думал зажечь одну из ламп с зеленым абажуром ради такого небогатого посетителя.

Бакстер-Браун, не читая, шелестел толстыми страницами «Истории Англии», а под этот том исподволь подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком.

Тут вошла мисс Боуз, и мистер Торндайк почтительно поклонился ей. Мало того что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давало ему случай выказать свои познания в истории.

— Прошлый раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас в моем скромном доме, мисс

Боуз, мы с вами говорили о Рене, о том, как он отстроил после пожара 1666 года Гилдхолл[32]…

Бакстер-Браун встал; тонкую брошюрку он незаметно сунул в карман пальто, а в руке держал какой-то роман недавнего издания.

— Благодарю вас, сударь, до свидания, сударь, — сухо произнес библиотекарь, держа двумя пальцами протянутую лекарем монету.

Приземистый силуэт доктора растаял в повисшей над Холборном измороси.

— Если так работать, не больно-то будешь сыт, — проворчал ему вслед мистер Торндайк.

После чего, вновь заулыбавшись, он продолжил свою лекцию для постоянной клиентки:

— Следует, впрочем, признать, что башни, пристроенные Реном к Вестминстерскому аббатству, плохо гармонируют с его величием…

На углу Холборна, ожидая автобуса среди терпеливо-угрюмой, до нитки промокшей толпы, Бакстер-Браун придерживал рукой оттопыренный карман своего пальто, как будто в нем заключался бумажник, полный денег. Между тем лежал там всего-навсего старый альманах Уоррена за 1857 год, до сих пор лишь чудом не

---

[32] Сноски: 32

Гилдхолл — здание ратуши лондонского Сити. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

угодивший в кухонную печь мистера Торндайка или же в руки еврея-старьевщика Паанса, который дважды в год скупал у него на вес книги, непригодные более для выдачи.

Когда Бакстер-Браун вернулся домой, было уже поздно; в подъезде он столкнулся со своей хозяйкой миссис Скиннер; та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие.

— Надо бы как-нибудь внести ей хотя бы часть платы, — уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, застланной протертым до самой основы ковриком.

Огонь в камине не горел, а из газового рожка с истрепанным асбестовым экраном шел лишь скудный свет.

Бакстер-Браун положил альманах Уоррена на свой скверно навощенный круглый стол, рядом с сильно початой бутылью виски и липкой от слюны курительной трубкой; затем тщательно проверил, хорошо ли заперта дверь, заткнул скважину замка бумажным катышком и аккуратно прикрыл окно зеленой хлопчатой шторой.

— Ну-с… — вздохнул он. — Только сперва позовем-ка на помощь Полли.

Схватив трубку, он набил ее грубым комковатым табаком из серого бумажного кулька и с

наслаждением закурил.

— Полли, добрая моя старая Полли, — произнес он с грубоватой нежностью.

Полли хоть как-то скрашивала его жизнь холостяка, стесненного в деньгах и упорно преследуемого неудачами; подражая герою прочитанного как-то детективного романа, он присвоил ей женское имя и даже вырезал на ее головке три крестика — просто так, чтобы обозначить свою собственность и особую привязанность.

«Превосходная штука», — говорил он иной раз сам себе, вспоминая тот день, когда, оказавшись случайно при деньгах, приобрел по довольно высокой цене эту трубку в стиле «честерфилд» из толстого английского вереска.

— Ну-с…

Бакстер-Браун читал, обхватив руками голову и прикусив губу от напряжения:

«В 1842 году коллекция редкостей, собранная Хорасом Уолполом в Строберри-хилл, была пущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Ди — врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской. То был кусок каменного угля великолепного черного цвета, прекрасно отполированный и

обтесанный в форме овала, с ручкой из темной слоновой кости.

Некогда зеркало хранилось в коллекции графов Питерборо со следующей надписью: «Черный камень, посредством которого доктор Ди вызывал духов».

При распродаже коллекции Уолпола его купило не известное лицо за двенадцать фунтов, и с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти.

Известно, что ни в роду Питерборо, ни в роду Уолполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-либо неуместное любопытство.

Элайас Ашмол, автор диковинной и жуткой книги «Theatrum Shemicum»[33], рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях: «При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или в пещерах, что помещаются в недра.

Надо полагать, что и позднейшие владельцы

---

[33] Сноски: 33
«Химический театр» *(средневек. лит.).*

зеркала, страшась такой власти, остереглись испытывать…»

Бакстер-Браун не стал читать окончание статьи, посвященное плачевной судьбе загадочного Джон Ди, зато вооружился увеличительным стеклом, чтобы разобрать надпись мелким почерком на полях:

«Да, но мрачный разбойник Эдвард Келли, тенью следовавший за злосчастным Ди, пользовался зеркалом для отыскания кладов и для совершения своих таинственных преступлений.

В руках бесчестного человека этот достопримечательный предмет, несомненно… (здесь бумагу прогрыз жучок, и часть текста отсутствовала) …то, что ТАИТСЯ в зеркале».

Слово «таится» было не подчеркнуто, а написано крупными буквами.

Заметки на полях заканчивались несколькими строчками другого, торопливого почерка:

«Зеркало похитили Куэйтерфейджи. Они воспользовались им, чтобы отыскать сокровища… (здесь опять поработал жучок) …да будут прокляты до последнего своего колена».

Глубоко и протяжно по своему обыкновению вздохнув, Бакстер-Браун нажал на пружинку потайного ящика небольшой уродливой кон-

торки в стиле Дедлоу и положил туда альманах Уоррена рядом с кожаным футляром. В футляре хранились дорогие, тонкой работы инструменты из полированной стали. Они были очень добротные и некогда принадлежали Стентону Миллеру по кличке Козел, которого мартовским утром повесили в Ньюгейтской тюрьме, в то время как от проливного дождя, смешанного с крупным градом, разбивались стекла в домах на Патерностер-роу.

Лекарь покачал головой; он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда его, полумертвого от побоев расправившейся с ним толпы доставили в полицейский участок в Ротерхайте.

— Возьмите-ка это вместо гонорара, док, — шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся. — Всегда может пригодиться… Да и неохота, чтобы у меня это нашли.

На исход дела самого Стентона Миллера «это» никак не повлияло, а вот Бакстер-Брауну и впрямь кое в чем пригодилось — ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю.

— Ну-с, Полли… — промолвил он, пуская струю дыма в потолок.

Три дня спустя он уже знал, что последний маркиз Куэйтерфейдж живет на Эстиз-роу, в старом

ветхом доме с запыленными окнами, которые зато были занавешены тяжелыми и дорогими парчовыми шторами.

— А, это чертов скряга Куэйтерфейдж — да покарают его Господь и все святые угодники! — выкрикнула торговка-зеленщица как раз тогда, когда Бакстер-Браун с беспечным видом прогуливался по Эстиз-роу.

И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расфранченный на манер Брэммела[34], мелкими шажками поднимается на крыльцо.

Эстиз-роу — захолустная улочка в Кэнонбери, на ней и днем-то мало народу, а глубокой ночью и вовсе безлюдно.

Вход в особняк Куэйтерфейджей преграждала крепкая дверь, вся в запорах и с двойной цепочкой; зато дворовая калитка, выходившая на неглубокий канал Олвин, без долгих колебаний поддалась первому же нажиму полуторафутового стального прута. Бакстер-Браун прошел через дворик, затопленный дождями, словно речная старица, открыл задвижку на окне домашней прачечной и без труда отыскал дорогу в комнаты верхнего этажа.

---

[34] Сноски: 34

Джордж Брайан Брэммел (1778—1840) — знаменитый английский денди.

Да, Стентон Миллер говорил правду, его инструменты и впрямь кое для чего годились! Бакстер-Браун убедился в этом, разрезая стальную обшивку затейливого домашнего сейфа, украшенного золоченой нитью и изящными коваными узорами.

Он уже заканчивал свою работу, когда вошел маркиз Куэйтерфейдж, держа перед собой кочергу.

Доктор вырвал у него из рук это смехотворное оружие и стукнул им по маленькому грушевидному черепу.

Старик пискнул по-птичьи и упал; профессиональный опыт подсказал Бакстер-Брауну, что второго удара не требуется.

Без спешки и волнения обследовав внутренность шкафа, он обнаружил там двенадцать фунтов ассигнациями, кучку новеньких шиллингов и, в красном шелковом чехле, зеркало доктора Ди.

* * *

Вернувшись домой, Бакстер-Браун на три четверти опорожнил бутыль виски и извлек зеркало из чехла.

Огорченно вздохнув, он отложил на стол Полли,

потому что в кульке больше не оставалось табаку. После чего со всей внимательностью принялся изучать диковинный магический предмет.

Узкий темный овал сиял словно клочок безлунного и беззвездного ночного неба; лекарь заметил, что он блестит, не отражая никакого света; тем не менее в сумрачных глубинах зеркала он не обнаружил ничего необыкновенного.

Чтобы собраться с мыслями и с духом, он начал твердить имя таинственного создателя зеркала, иногда присовокупляя к нему и имя Эдварда Келли.

Через час у него по спине уже струился пот, а руки лихорадочно тряслись от неизвестно откуда взявшегося жара.

Ближе к рассвету газовый свет стал бледнеть, так как Бакстер-Браун забыл опустить монету в прорезь счетчика.

Освещение погасло совсем, и тут лекарь увидел, как из глубины зеркала исходит красивое голубое сияние.

Его первым движением был жест испуга — он выбежал и заперся в другой комнате.

Однако почти сразу же он обругал себя за трусость и, несмотря на мерзкую дрожь во всем теле, вернулся к столу.

Свечение продолжалось, хотя и не так сильно.

— Следует… изучить это явление… в научных целях, — пролепетал лекарь. — Этот голубой свет как бы поляризуется… Итак, смещаясь влево от зеркала, я вижу…

О да! он видел — хотя, без сомнения, предпочел бы, чтобы на странной черной поверхности не появлялось никакого видения, как ни желал он сам воспользоваться тайным могуществом зеркала.

Впрочем, видение было довольно смутным, и Бакстер-Браун лишь ценой напряженных умственных усилий сумел различить в нем более или менее определенные формы.

— Что-то вроде… гм, не очень-то ясно, но что-то вроде платья… пожалуй, даже халат. Гм… ага, вот голова… а вот и ноги.

Очертания становились все четче.

Голова в рыцарском шлеме выступала над широким бесформенным подбородным щитком. Ступни были непомерно длинные и узкие, заключенные в уродливые ножные доспехи, в каких изображаются на старинных гравюрах последние рыцари войны Алой и Белой роз.

— Невелика красота, и смысла никакого, — заключил, на миг расхрабрившись, Бакстер-Браун.

Больше, однако, он уже не пытался хорохо-

риться перед лицом неведомого; он понял, что непонятная и нескладная картинка создает вокруг себя атмосферу отвратительного ужаса. Голубое свечение было достаточно сильно, чтобы озарить близлежащие предметы, и он видел, как бутыль виски и Полли окутываются фосфорно-опаловым маревом.

То были привычные, даже милые ему вещи, обыкновенные предметы обихода; но теперь он глядел на них со страхом, как будто они тоже составляли часть опасной тайны, возникшей рядом с ним.

Между тем бесформенное видение, сгустившись всего на несколько секунд, снова быстро расплывалось; первым исчез подбородный щиток, туманно-зыбким сделалось одеяние, потом и змееобразные ступни растаяли в колышущейся мгле. И вдруг, словно по щелчку выключателя, все разом померкло, и комната погрузилась в темноту.

— Скорее счетчик! — вскрикнул Бакстер-Браун, бешено шаря по карманам в поисках монет.

Он уже опускал их в прорезь счетчика, когда услыхал за спиной звон бьющегося стекла, а затем быстрое бульканье жидкости.

Минуту спустя обломок ауэровского газового

рожка ярко засветился.

Бутыль была разбита вдребезги, и содержимое в два ручья растекалось по столу. Черное зеркало вновь казалось простой агатовой пластиной.

— А может, все было лишь болезненной игрой моего воображения? — простонал доктор.

Но тут же сокрушено покачал головой:

— Как же тогда разбилась бутылка, да и…

Выпучив глаза, он остолбенело и озадаченно уставился на свой стол: Полли исчезла.

* * *

Миновала неделя, прежде чем Бакстер-Браун вновь набрался мужества испытать в ночной тиши и темноте тайну магического зеркала.

Ничего не произошло.

Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь; причуды ради он даже стал призывать тени Ди и Келли, более того — потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджерса.

Его охватило разочарование; он больше не мечтал о волшебных поисках сокровищ и даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил.

— Стоило ли труда… стоило ли труда… — то и

дело бормотал он. Однако мысль свою не договаривал и сам не мог бы сказать, относилось ли его сожаление к убийству на Эстиз-роу.

Как бы то ни было, преступление принесло ему двенадцать фунтов и несколько шиллингов; но все эти деньги растаяли, как снег на солнце.

В день, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Скиннер.

Уведомила о визите — слишком громко сказано; на самом деле она велела домашней прислуге Дайне Пабси, выполнявшей всю черную и грязную работу, передать доктору, чтобы он «не уходил из дому, не поговорив с миссис Скиннер, если не хочет, вернувшись домой, увидеть у себя на двери большие красные печати».

Миссис Скиннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа; но Бакстер-Браун задолжал ей уже за восемь кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минуты хорошего настроения.

Явилась она ровно в одиннадцать, то есть через два часа после Дайны Пабси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость.

— Доктор Браун, — начала она, — так больше продолжаться не может. Терпение мое велико, я могла бы терпеть и еще, если бы сама не имела серьезной нужды в деньгах. Соблаговолите взглянуть на этот счет — вы увидите, что задолжали мне…

Внезапно она умолкла, с отвращением принюхалась и воскликнула:

— Господи, какая гадость… Что за дрянь такая у вас в трубке, доктор! Не могу здесь больше оставаться. Какой смрад… Убирайтесь вон, съезжайте из моего дома… О! Как же тут воняет!

И она выбежала, причем ведомость (случай неслыханный в летописи дома) выскользнула у нее из рук и, порхнув в воздухе, опустилась на пол.

Бакстер-Браун рад был избавиться от ее криков и угроз, однако, нахмурив лоб, так и остался неподвижно сидеть за круглым столом в мрачном оцепенении: с тех пор как пропала Полли, он из экономии так и не купил себе новую трубку, а потому перестал курить!

С другой стороны, сколько он сам ни принюхивался, он так и не почуял никакого табачного запаха; только тяжелым духом несло от кухонной раковины да пахли кое-какие флаконы с

лекарствами.

Пожав плечами, он заглянул в потайной ящик задвинутой в угол конторки.

Черное зеркало было на месте, темное и блестящее, но без всяких чар и откровений; рядом покоились в своем кожаном футляре стальные инструменты.

Вздохнув, Бакстер-Браун взял их в руки.

В этот миг с нижнего этажа раздался вопль о помощи:

— Доктор! Доктор! Она умирает!

Лекарь узнал пронзительный голос Дайны Пабси.

Он застал прислугу у открытых дверей кухни; она орала во все горло и проливала потоки слез.

— Она вошла и говорит: «Что за табак... О, как он воняет!..» А потом упала. И больше не шевелится! Ой! Ой!

Бакстер-Браун увидел, что миссис Скиннер распростерта на бело-красном кафельном полу; ее очки отлетели далеко в сторону и разбились.

Лицо хозяйки дома было отвратительно перекошено.

— Она больше не шевелится — вы же видите! — рыдала служанка.

«Ей больше и не пошевелиться», — тихонь-

ко сказал себе лекарь, ибо он определил, что несчастная умерла.

Составив краткое заключение для медицинских экспертов столичной полиции, он поднялся обратно к себе и убрал на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Скиннер, то по праву примет участие и в расследовании, а в этих двух качествах немедленно получит гонорар в три фунта шесть шиллингов.

А с этим уже можно будет спокойно протянуть несколько дней.

* * *

Почему с тех самых пор он так неотвязно думал о пропаже Полли?

Трубка эта мало-помалу стала для него чем-то вроде подруги, которой он не имел в своей нищей холостой жизни, и теперь ему ее так недоставало, что не хотелось искать замену; у него даже пропала охота курить.

Но эту мелкую заботу вскоре заслонили неприятности более серьезные: мало того что он сидел совершенно без денег, но был еще и весь в долгах, отнимавших у него всякую надежду прокормить себя.

Пациентов, которые и раньше-то бывали у него редко, теперь не стало вовсе; какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилия и приемные часы.

Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно.

— Ах, Стентон Миллер, — бормотал он, — придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат во злодействе.

Он снова достал из ящика футляр с инструментами из полированной стали.

Рядом, в своем чехле из алого шелка, лежало зеркало доктора Джона Ди.

Он бросил на него раздраженный и презрительный взгляд.

— А ты, — проворчал он, — не сегодня-завтра будешь творить свои чары на дне реки!

До сих пор во время своих убогих ночных краж он почти всецело полагался на какую-то неведомую счастливую звезду. Исключением было разве что кровавое дело на Эстиз-роу, когда он заполучил в свои руки черное зеркало.

Нынешнюю свою вылазку, призванную не дать ему окончательно впасть в нищету, он подготовил более тщательно.

В доме, который он присмотрел в Блумсфилде, никто не жил. Его хозяйка леди Аберлоу лечилась в клинике на Косуэлл-роуд и взяла с собой всех слуг.

Все это он выведал из разговора двух своих коллег-врачей, не замечавших или не обращавших внимания на то, как внимательно он к ним прислушивается.

На одном из окон первого этажа ставни были опущены не до конца, а Бакстер-Браун уже имел достаточно опыта и знал, что они не составят серьезной преграды для ночного вторжения.

Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса на улице Корнхилл; когда же он пешком дошел до Лондон-уолл, хмурой и угрюмой, словно сам дух дурного настроения, на улицы уже постепенно наползал fog[35]. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари; даже звуки делались глуше, и сирены на набережной Виктории, словно клятом придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении.

Бакстер-Браун удовлетворенно вздохнул. Он-то даже с черной повязкой на глазах отыскал бы

---

[35] Сноски: 35
Туман *(англ.)*.

дорогу в Блумсфилд, к дому леди Аберлоу, к окну с неплотно закрытыми ставнями.

Он забрался внутрь без особых усилий; белый луч его карманного фонарика заскользил по мертвенно-белым чехлам на мебели и по свернутым коврам в строгой гостиной викторианской эпохи.

Он поднялся по широкой винтовой лестнице, уходившей куда-то вверх, в темноту, и нашел на втором этаже дверь, которая, судя по всему, вела в спальню леди Аберлоу. Распахнув ее, он застыл, пораженный внезапным ужасом, как будто перед ним выросло какое-то чудовище.

На самом деле комната могла испугать его лишь одним — тем, что была ярко освещена.

Горели все двенадцать ламп большой люстры с подвесками, а за желтой бархатной козеткой стоял торшер с розовым абажуром. Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде и впрямь забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой и, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой.

У Бакстер-Брауна заходили ходуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди.

— Ну давай же, давай… — пробормотал он, — нужно ведь это сделать… иначе я пропал.

Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, висевшему на задней стене. Он подошел и приподнял его: словно две пары глаз, вспыхнули четыре медные кнопки на дверце вмурованного в стену сейфа.

Стальные инструменты резво принялись за дело и без большого груда одолели преграду.

— Наконец-то… наконец-то… — всхлипнул Бакстер-Браун; и действительно, по щекам его потекли слезы неизъяснимой радости, когда он увидел перед собой толстые пачки банкнот и три желтые кучки соверенов.

Набив себе карманы, он торжествующе взмахнул полуторафутовым стальным прутом, который послужил ему для последнего напора на дверцу сейфа.

Внезапно все тело его свела судорога: на этаже хлопнула одна из дверей, по ступенькам лестницы застучали торопливые шаги; он даже услышал сухой щелчок взведенного курка.

Бакстер-Браун весь окаменел. Он не двинулся с места ни тогда, когда в проеме раскрытой двери возник тяжелый, мощный силуэт мужчины, ни тогда, когда в лоб ему уставилось маленькое, круглое и злое дуло автоматического пистолета.

Однако роковой выстрел так и не раздался, а

мужчина не успел ни окрикнуть грабителя, ни позвать на помощь.

Стальной прут выскользнул из рук Бакстер-Брауна, с тонким звуком ракеты просвистел в воздухе и врезался во что-то в темноте. Бакстер-Браун так и не шелохнулся, а тело уже опустилось на пол лицом вниз, и из головы ключом заструилась кровь.

Лишь со страшным напряжением оторвал он от пола ноги, которые словно увязли в невидимом болоте. Но тут силы к нему вернулись, и он одним прыжком перемахнул через труп.

На лестничной площадке он оглянулся.

Двенадцать ламп озаряли слепящим светом взрезанный сейф и размозженный череп убитого сторожа, меж тем как в мягком сиянии торшера…

Ай! Бакстер-Браун, которого почти не волновало отвратительное зрелище насильственной смерти, в этот миг едва не закричал от гадкого страха: между абажуром торшера и диванными подушками висела в воздухе, словно зажатая в зубах невидимого курильщика, его Полли.

Он прекрасно узнал ее по сильно обожженной головке, по трем крестикам на ней.

Его охватило шальное желание вернуться,

перешагнув обратно через окровавленный труп, и забрать с собой свою любимую трубку, столь загадочно пропавшую, — как вдруг из нее вырвалось колечко дыма, за ним второе, третье, и вот уже Полли раскурилась вовсю, наполняя воздух густым синим туманом; она курилась сама по себе… в пустоте… в ужасной пустоте.

И тогда Бакстер-Браун стремглав бросился прочь, в темноту и туман; заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле, он целых три часа добирался до Клиссолд-парка до своей выстуженной комнаты.

Ибо в его отсутствие порывом ветра распахнуло окно, и теперь серые пелены тумана вились вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе.

* * *

Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер-Брауном спустя десять лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной, он хранит самое мощное и грозное орудие магии, некогда оставленное людям существами из незримого мира, — черное зеркало доктора Джона Ди?

Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Салома, о колбах с гомункулами

Карпентера, одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти и, не сбиваясь с пути, странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знания, из которых Высший Разум соткал призраков и вечных духов.

Бакстер-Браун выкупил себе в Камден-тауне кабинет для приема больных у пожилого квартального лекаря, на склоне лет мечтавшего обзавестись сельским домом у речки с форелью, где-нибудь в своем родном Девоншире. Он стал теперь вполне счастлив и покоен.

Он пополнел, отпустил усы на галльский манер, и лицо у него лоснилось, так как он приохотился к обильной еде.

Он носил костюмы в клетку от братьев Керзон и обедал в ресторане Бакки, где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей, жаренных на открытом огне.

Он состоял в клубе любителей виста в таверне «Кингфишер» и играл не так уж плохо.

За все эти годы он только три-четыре раза вынимал темное волшебное зеркало из его красного чехла.

Без любопытства и без страха склонялся он вновь над этой немой загадкой, и ни разу не появ-

лялось у него желания опять воззвать к той силе, что заключалась в сумрачной глубине черного камня.

И все же при всем своем равнодушии он ни о чем не позабыл, и изредка перед невидимыми глазами его памяти мелькала быстрой тенью странная фигура в подбородном щитке и ножных доспехах.

Что же касается Полли, то ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия.

Сначала приключилась прискорбная история со Сламбером.

В Камден-тауне Бакстер-Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье году примерно в 1820-м и которые сохранили в своих старых добрых камнях достаточно хитрости и лукавства и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушают старые и громоздят на их месте новые высотные дома.

На первом этаже, образуя анфилады комнат с низким потолком, размещались передняя для ожидания приема, приемный кабинет и крошечная лаборатория, где Бакстер-Браун собственноручно приготовлял около дюжины

лечебных мазей и сиропов, пользовавшихся недурной репутацией и приличным спросом!

На втором этаже была гостиная, сиявшая новенькой мебелью и поддельным литьем в динанской манере; в ней лекарь проводил свой досуг в безупречном, на его вкус, интерьере.

Он редко принимал там гостей, так как, несмотря на свое солидное состояние и неизменную удачливость, остался как и прежде, нелюдимым холостяком.

Среди немногих приятелей, кому он охотно отворял врата своего грошового земного рая, был и милейший мистер Сламбер, с которым он познакомился в «Кингфишере».

Мистер Сламбер раньше был педелем в колледже, жил очень бедно и кое-как зарабатывал на пропитание, держа корректуру для третьеразрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше двух пинт эля, а если и выпивал третью, то лишь когда за нее платил Бакстер-Браун.

Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона: одно-единственное крутое яйцо или же kipper[36]. Поэтому лекарь ча-

---

[36] Сноски: 36
Копченая селедка *(англ.)*.

стенько приглашал его разделить с ним обильное угощение — крепко посоленное холодное мясо или птицу, которые он заказывал себе на дом из ближайшего трактира.

В беседе мистер Сламбер мало чем блистал, если только разговор не сворачивал на один особенный предмет — старинные способы освещения. Бесхитростный и добродушный мистер Сламбер становился несравненным лириком, говоря о свечах, коптилках и лампах Карселя. Вот почему в тусклых глазах отставного педеля Бакстер-Браун стал чуть ли не богом в тот день, когда приобрел у мелочного торговца с Чипсайда длинную высокую лампу из толстого синего стекла, снабженную водяной линзой на медной консоли и излучавшую влажно-зеленый свет.

— Клянусь вам, что это Кантерпрук! — воскликнул Сламбер, вне себя от восторга.

— Кантерпрук?

— Так звали знаменитого мастера-жестянщика, — гордо отвечал мистер Сламбер, — он жил в Боро[37] около 1790 года и завоевал громкую и заслуженную славу изготовлением таких вот ламп.

---

[37] Сноски: 37
Боро - разговорное название лондонского района Саутуорк.

Бакстер-Брауну нечего было на это сказать, и с тех пор при каждом визите бывшего педеля лампа Кантерпрука радовала его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом.

Как-то ночью Бакстер-Брауна разбудили некие таинственные волны, предупреждающие нас об опасности.

Уже много лет он не решался спать в полной темноте и оставлял гореть у изголовья маленький ночник с поплавком; его невзрачный желтый огонек тщетно сражался с безмолвными полчищами теней.

Этот крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстер-Брауна чью-то фигуру, угрожающе притаившуюся в темноте и готовую напасть; в его лучах бледно сверкнуло длинное лезвие ножа.

Бакстер-Браун увидел, как поднялся зловеще озаренный нож и из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой.

Он почувствовал, что погиб, но тут случилось нечто непонятное.

Нож выпал и, трепеща, вонзился в деревянный пол; из-под маски раздался короткий хрип, а

вслед за ним — икающий стон боли и отчаяния, и грозная фигура осела на пол.

Одним прыжком лекарь подскочил к ночному налетчику, сорвал с него черную маску, и вдруг раздался жалобный голос умирающего:

— Простите меня… Я хотел взять Кантерпрука…

Грабитель, умерший сразу вслед за своим жалким признанием, был не кто иной, как злополучный мистер Сламбер.

Лекарь уже стал было гадать, каким чудом приключился этот сердечный приступ, сваливший замертво его бывшего приятеля и спасший жизнь ему самому, как вдруг он увидел Полли.

Она висела в воздухе в футе над ночником, испуская вровень со своей головкой, помеченной тремя крестиками, дымные колечки. Колечки были красивые, толстые и пухленькие, словно сами довольные своей безупречно округлой формой.

Бакстер-Браун сдавленно крикнул и протянул руку к трубке; движение оказалось неловким, он загасил слабый огонек в ночной лампе. Когда он вновь ее зажег, трубки больше не было, зато вся комната пропахла скверным табачным зельем.

Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера: спрятав его маску и нож, он

оттащил труп за сто шагов от своего дома, на скамейку в сквере.

* * *

Эдди Бронкс была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы базедова болезнь не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение.

Бакстер-Браун познакомился с нею у корнхиллского аптекаря Литлвуда, которому обещал передать свою лабораторию и рецепты мазей.

Эдди любила поболтать с ними обоими, будучи сама, как она говорила не без гордости, «профессионалом».

Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице «Нью-чарити».

Бакстер-Браун никогда не обращал особого внимания на женщин, но образ Эдди Бронкс вскоре начал его неотвязно преследовать.

«При следующей встрече попрошу ее стать моей женой», — не раз говорил он себе.

Следующая встреча, а за ней и многие другие, проходила, а предложение все никак не могло сорваться с уст доктора, и вся беседа сводилась к обсуждению пилюль Литлвуда, способов лечения базедовой болезни и необычных случаев

заболеваний, которые встречались доктору в его практике.

Однажды осенним вечером Бакстер-Браун застал Литлвуда бессильно опершимся на прилавок; губа у него дрожала, руки были ледяные.

— Вы знаете, — простонал он, — здесь только что была бедняжка Бронкс в ужасном состоянии. Ее уволили из больницы после ссоры с начальницей. Говорит, что хочет наложить на себя руки… Нет-нет, Браун, я разбираюсь в таких вещах… Не забывайте, что ее болезнь предрасполагает к неврастении. Она направилась в сторону водозабора.

Литлвуд сильно хромал на одну ногу и не мог пуститься вслед за отчаявшейся девушкой.

Бакстер-Браун как сумасшедший помчался по длинной темной улице; задыхаясь, с неистово колотящимся сердцем, он остановился лишь тогда, когда перед ним заблестела под луной широкая гладь водопроводных резервуаров.

— Эдди! Эдди! — отчаянно кричал он.

Он увидел, как она перегнулась через хлипкое ограждение, клоня голову к притягательно темной воде.

— Дорогая моя… я как раз хотел…

Так в столь необычном месте и в еще более

необычных обстоятельствах он признался в своей любви и сделал предложение руки и сердца.

Эдди Бронкс побрела за ним, вся обессиленная и в слезах.

Он развел гудящий огонь в камине своей гостиной, зажег все лампы, даже лунообразную лампу Кантерпрука, и дрожащими руками приготовил две порции грога.

— Завтра же, дорогая, я займусь разрешением на брак.

Она не слушала, запрокинув лицо к потолку, и баседова болезнь внезапно подчеркнула выражение острой тоски в ее глазах.

— Что у вас здесь такое, доктор Браун? — спросила она, вздыхая.

— У меня? А что…

Она упала в одно из глубоких кресел, стоявших по бокам камина.

— Простите… голова кружится… тошнит… О, пожалуйста, доктор, не надо курить!

Бакстер-Браун уронил на пол только что приготовленный стакан грога.

— Но я же и не курю, дорогая!

Эдди Бронкс вскочила на ноги.

— Там, в углу… там человек в шлеме… он прячется… я вижу под столом его ноги… о, они словно

змеи.

Вдруг она завопила:

— Он идет сюда… зажигает трубку от лампы! Господи Иисусе!

Она так и рванулась к двери; Бакстер-Браун хотел ее удержать, но она оттолкнула его со страшной силой.

Он пошатнулся, потерял равновесие и врезался головой в то самое кресло, где она только что сидела.

Поднявшись, он услышал, как хлопнула входная дверь, и успел только метнуться к окну.

В ясном лунном свете он увидел, как девушка бежит по безлюдной улице; он было высунулся, стал окликать ее, умолять вернуться, как вдруг различил чью-то зловещую, устрашающе грозную тень, которая беззвучно двигалась за ней следом по блестящему под луной тротуару.

На следующий день труп Эдди Бронкс извлекли из резервуара № 2 Камдентаунского водозабора.

* * *

На следующий год после этой трагической кончины Бакстер-Браун умер.

Он уже некоторое время страдал астмой и как следует не лечился.

Литлвуд часто навещал его; ему мы и обязаны рассказом о последних минутах доктора.

«Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило, — поведал аптекарь. — Его коллега доктор Рессендил предписал ему домашний и даже постельный режим, а ему вздумалось куда-то пойти.

Дождь лил как из ведра, и вернулся он домой промокшим до костей.

Я сурово отчитал его и заставил немедленно лечь в постель.

— Что за безумие ходить сейчас по улицам! — ругал я его. — Не пойму, зачем вы в такую погоду решились выйти из дому.

— Я избавился от очень тяжкого груза, — ответил он.

Я измерил ему температуру: чуть ли не сорок градусов, — и понял, что он бредит.

Он начал говорить что-то невразумительное, в частности, о каком-то зеркале.

— Мне следовало это понять за столько лет… В нем таилась Она… Она…

Он все громче выкрикивал это слово Она, и мне пришлось несколько раз повторить, чтобы он замолчал и лежал спокойно.

К утру он немного притих, и я решил, что он за-

сыпает, тем более что и температура снизилась.

Сочтя, что тоже могу передохнуть, я устроился в кресле и вскоре задремал.

Внезапно меня разбудили его крики.

Сидя на кровати, он тяжело дышал, грудь вздымалась, как кузнечный мех, и — вот что странно — никогда я не замечал, чтобы он употреблял табак, а тут он весь был окутан плотным облаком трубочного дыма.

— А! так вот оно что… вот оно что… теперь я знаю… и я знаю, какая она… Ах, тварь, она украла у меня трубку!

Он рухнул и остался лежать неподвижно; его больше не было в живых.

Но, падая, он сделал странное движение рукой, словно ловил что-то в воздухе. А когда рука вновь опустилась, он держал в ней толстую вересковую трубку с тремя крестиками на головке.

Трубку так и не сумели вынуть из окоченевшей руки, и его, кажется, прямо с ней и похоронили».

РУКА ГЕЦА ФОН БЕРЛИХИНГЕНА

Перевод с французского А. Григорьева

Мы жили тогда в Генте, на улице Хэм, в старом доме, таком громадном, что я боялся заблудиться во время тайных прогулок по запретным для меня этажам.

Дом этот существует до сих пор, но в нем царят тишина и забвение, ибо больше некому наполнить его жизнью и любовью.

Тут прожило два поколения моряков и путешественников, а так как порт близок, по дому беспрерывно гуляли усиленные гулким эхом подвалов призывы пароходных сирен и глухие шумы безрадостной улицы Хэм.

Наша старая служанка Элоди, которая составила свой собственный календарь святых дел семейных торжеств и обедов, буквально канонизировала некоторых наших друзей и посетителей, и среди них самым почитаемым был, конечно, мой дорогой дядюшка Франс Петер Квансюис.

Этот знаменитый остроумный человек не был моим настоящим дядюшкой, он был дальним

родственником моей матери; однако, когда мы звали его дядюшкой, часть его славы как бы падала и на нас.

В те дни, когда Элоди насаживала на вертел нежного гуся или поджаривала на слабом огне хлебцы с патокой, он с охотой принимал участие в наших пиршествах, ибо любил вкусно поесть, а также с толком порассуждать о всяческих кушаньях, соусах и приправах.

Франс Петер Квансюис прожил двенадцать лет в Германии, женился и после десяти лет счастливой супружеской жизни там же похоронил жену, и свое счастье.

Кроме ревниво хранимых нежных воспоминаний, он вывез из Германии любовь к наукам и книгам; трактат о Гете; прекрасный перевод героико-комической поэмы Захарии, вполне достойной принадлежать по своему юмору и остроумию перу Гольберга; несколько страниц удивительного плутовского романа Христиана Рейтера «Приключения Шельмуффского»; отрывок из трактата Курта Ауэрбаха об алхимии и несколько скучнейших подражаний Taqebuch eipes Beobachters seines selbst Лаватера.

Сейчас вся эта запыленная литература стала моей, ибо дядюшка Квансюис завещал ее мне

в надежде, что когда-нибудь она мне окажется полезной.

Увы! Я не оправдал его предсмертных надежд — в моей памяти только и осталось, что восклицание: «Писание — это трудолюбивая праздность…» — отчаянный крик души Геца фон Берлихингена, этого удивительного героя-мученика, которого мой дорогой дядюшка особо отметил в своем трактате о Гёте.

Дядюшка подчеркнул эту фразу пять раз разными цветными карандашами.

Трудно нарушить обет молчания и приподнять покрывало забвения! И если я делаю это, то только потому, что мне было знамение из неизъяснимой тьмы.

Дядюшка Квансюис проживал в соседнем доме, на той же длинной, угрюмой и вечно сумрачной улице Хэм.

Дом был поменьше нашего, совсем черный, но эхо гуляло там еще сильнее в дни бурь и порывистых резких ветров.

Однако одну комнату там все же уберегли от мрачного холода подвальных кладовок и тьмы коридоров. Это была высокая светлая комната, обитая желтой тканью; ее обогревала чудесная марльбаховская печь, а из центральной лепной

розетки потолка на трех позолоченных цепочках свешивалась лампа с двумя фитилями.

Днем массивный овальный стол кряхтел под тяжестью книг и коробок со старинными миниатюрами; но вечером, в час обеда, на нем расстилали коричневую, расшитую голубым и оранжевым скатерть, а затем расставляли красивые тарелки из дорникского фаянса и богемский хрусталь.

В этих тарелках подавались изумительные кушанья, а из высоких бокалов пили бордосские и рейнские вина.

За этим столом дядюшка Квансюис принимал своих друзей, которых любил за их внимание к своим речам и за немой восторг перед его ученостью. Я словно сейчас вижу, как они поедают баранью ногу с чесноком, запеченную курицу, тушеного ската или гусиный паштет и с явным удовольствием внимают мудрым рассуждениям хозяина.

Их было четверо — господин Ван Пиперцеле, доктор каких-то, но отнюдь не медицинских наук; тихий и славный Финхаер; толстый и безмятежный Бинус Комперноле и капитан Коппеянс.

Коппеянс был таким же капитаном, как и Франс Квансюис моим дядюшкой; когда-то он плавал, а

теперь стал владельцем нескольких каботажных судов. Элоди считала его хорошим советчиком и человеком большой житейской мудрости, во что я продолжаю верить, хотя у меня и нет на то никаких доказательств.

И вот однажды вечером, когда господин Ван Пиперцеле делил на части миндальный торт, а капитан Коппеянс разливал по бокалам ром, кюммель и зеленоватый шартрез, дядюшка вернулся к своему трактату о Гете, к тому месту, на котором он остановился накануне, в день, когда они лакомились телячьей головой под черепаховым соусом.

— Я возвращаюсь к шедевру Гете, к его превосходной драме «Гец фон Берлихинген». «В одном из сражений против бамбергского епископа, нюрнбергских купцов или кельнских горожан благородный Гец потерял правую руку.

Искусный ремесленник, железных дел мастер, сработал ему руку с пятью пальцами на пружинах, и он смог владеть мечом с тем же искусством, что и прежде».

Тут в разговор вмешался тихий господин Финхаер:

— Можно сказать, чудо механики!

— Я припоминаю, — вступил в разговор капи-

тан Коппеянс, — что случилось с моим рулевым Петрусом Д'Хондтом, — ему буквально отрезало руку, когда кисть его попала между шкивом и стальным тросом. С тех пор у него вместо руки медный крючок, а это значит, что в наши времена уже никто не может сделать руку, подобную руке Геца.

Дядюшка Квансюис снисходительно кивнул головой, соглашаясь с этими пустыми речами.

— Друзья мои, вспомните, — сказал он, — достойные вечности слова, которыми кончается драма Гете: «Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отвергнувшему тебя!»

Тут мой дядюшка снял очки и подмигнул. Как всегда, услужливый доктор Ван Пиперцеле подмигнул ему в ответ, словно он знал тайну дядюшки.

— Но этот прекрасный конец, увы, не соответствует истине, и я сожалею об этом, — продолжал свою речь оратор. — Гец фон Берлихинген был как повстанец заключен на два года в аугсбургскую тюрьму. Затем император разрешил ему вернуться в свои владения и жить в родовом замке Ягтсгаузен, взяв с него слово рыцаря, что он никогда более не покинет границ своих земель и не будет сражаться ни на чьей стороне.

Пятнадцать лет спустя Карл V освободил его от этой клятвы, и счастливый Гец последовал за императором во Францию, Испанию и Фландрию. После отречения императора от престола в Юсте Гец вернулся в Германию и семь лет спустя умер. Однако…»

Он снова подмигнул и снова ему в ответ мигнул Ван Пиперцеле.

— После пребывания во Фландрии Гец уже никогда не пристегивал свою железную руку!

— Она находится, — заговорил Финхаер, — в музее…

Но дядюшка Квансюис прервал его:

— Нюрнберга, Вены или Константинополя… Не все ли равно? Ибо это всего лишь неподвижная железная перчатка, помещенная под стекло. А настоящая рука, та, которая позволяла Гецу держать меч и даже гусиное перо, была потеряна или похищена в…

Он поднял руку, его глаза горели.

— В Генте, славном городе Карла V, в котором Гец фон Берлихинген был вместе с императором. И рука его до сих пор находится тут, тут я ее и найду!

Хотя Франс Петер Квансюис не был истинным эрудитом, ему нельзя было отказать в том

упорстве, с которым он вел свои кропотливые изыскания. Документы, которые я пересмотрел после его смерти, убеждают меня в этом. Но его поиски кажутся мне бесполезными и бесцельными, а библиотечные находки — случайными.

Он переписал часть текста из трех томов крайне странного фламандского писателя Деграва, который со всей серьезностью пытался доказать, что и Гомер и Гесиод были выходцами из Фландрии. Этот человек перевел с латинского подлинника и диссертацию фламандского доктора Пашасиуса Юстуса «Об азартных играх или болезни играть на деньги».

— Пашасиус... Пашасиус, — частенько бормотал дядюшка, — сколько прекрасных писаний оставил бы нам сей любознательный ученый XVI века, не преследуй его днем и ночью страх перед костром. Он себя так называл в честь Пашаса Радбера, настоятеля корбийского монастыря в IX веке и автора прекрасных теологических сочинений: «Ах! Мой милый Пашасиус... На помощь!.. На помощь! О мой старый друг, явись ко мне из глубины веков!

Я не могу сказать, каким образом тень этого ученого доктора помогла дядюшке в его роковых поисках железной руки, но она, безусловно, сыг-

рала свою роль.

За ту неделю, что прошла с памятного вечера, дядюшка Квансюис переоборудовал часть подвальной кухни в лабораторию. Туда допускался только господин Финхаер да я, но моего присутствия в этом таинственном месте они скорее всего просто не замечали.

Но правде сказать, я старался быть полезным и с усердием раздувал с помощью маленького кузнечного меха голубое пламя в печи.

В этом приюте тайных наук было холодно, а из толстых стеклянных колб поднимались отвратительные запахи; но лицо моего дядюшки все время оставалось серьезным, а толстые щеки господина Финхаера, несмотря на низкую температуру, блестели от пота. Однажды, когда уже пробило четыре часа, а вонь, исходившая из одной колбы, стала особенно отвратительной, дядюшка поднял голову, освещенную странным зеленым светом, и взглянул на потолок.

Господин Финхаер испуганно закричал:

— Смотрите!.. Ох! Смотрите же!

Мне было плохо видно, ибо я сидел против света, рядом с мехом, но мне показалось, что зеленый туман стал обретать какую-то явственную форму.

— Паук… Да нет же, краб бежит по потолку; — с ужасом закричал я.

— Замолчи, негодник! — рявкнул дядюшка Квансюис.

Существо быстро потеряло свои очертания, только и осталось, что струйка дыма под потолком, но я видел, как по лицам дядюшки и господина Финхаера струились крупные капли пота.

— Я же вам говорил, Финхаер… тексты древних мудрецов никогда не лгут!

— Она исчезла, — пробормотал Финхаер.

— Это была только ее тень, но теперь-то я знаю…

Он не сказал, что именно он знает, а господин Финхаер не задал ни единого вопроса.

На следующий день лаборатория была замкнута на ключ, а я получил в подарок мех. Этот дар большого удовольствия мне не доставил, и я тут же продал его за восемь су лудильщику.

Дядюшка Квансюис очень любил меня; он ценил и даже, наверное, переоценивал значение тех мелких услуг, которые я ему оказывал.

Ему было трудно ходить — у него болела левая нога, и много позже я узнал, что он страдал плоскостопием, — потому мне приходилось

сопровождать его во время редких и коротких прогулок. Он всей своей тяжестью опирался на мое плечо, а переходя улицы и площади, не отрывал взгляда от земли, словно слепой, бредущий за поводырем. Во время прогулок он рассуждал на разные ученые и полезные темы, но я, к сожалению, забыл, о чем он говорил.

Некоторое время спустя после закрытия лаборатории и продажи меха он попросил меня пойти с ним в город. Я согласился с удовольствием, ибо эта прогулка освобождала меня от школы на целых полдня: к тому же просьба дядюшки Квансюиса была приказам для моих родителей, которые только и жили надеждой на будущее наследство.

В тот день наш древний и суровый город закутался в туман; моросил мелкий дождь, и капли его, словно мышиные коготки, стучали по зеленому полотнищу громадного зонта, который я держал над нашими головами.

Мы шли по мрачным улицам вдоль прачечных, перешагивая через ручьи, вздувшиеся от мыльной мутной воды.

— Подумать только, — шептал мой дядюшка, — ведь эти мостовые, от которых у нас болят ноги, звенели под копытами лошадей Карла V и

его верного Геца фон Берлихингена! Башни уже давно обратились в прах и пепел, а плиты мостовых остались. Запомни этот урок, мой мальчик, и знай; все, что близко к земле, живет долго, а то, что устремляется в небеса, обречено на гибель и забвение.

Недалеко от Граувпорте он остановился, чтобы передохнуть, и принялся внимательно рассматривать облезлые фасады домов.

— А где дом сестер Шутс? — спросил он у разносчика хлеба.

Тот перестал насвитывать веселую джигу — единственное утешение в его скучной работе.

— Вон тот дом с тремя гнусными мордами над дверью. Но те, что живут в доме, еще гнусней.

После нашего звонка дверь приоткрылась, и в щель высунулся красный нос.

— Я желаю поговорить с сестрами Шутс, — произнес мой дядюшка, вежливо приподняв шляпу.

— Со всеми тремя? — полюбопытствовал красный нос.

— Конечно.

Нас впустили в широкую, как улица, и темную, словно кузница, прихожую, в которой тотчас возникли три мрачные тени.

— Если вы продаете что-нибудь… — прогнуса-

вили хором три голоса.

— Напротив, я хочу купить кое-что принадлежавшее славному, но, увы, давно почившему конюшему Шутсу, — добродушно сказал мой дядюшка.

Три грязных совиных головы вынырнули из мрака.

— Ну что ж, можно поторговать, — вновь заговорили, они хором, — хотя мы и не расположены продавать что бы там ни было.

Я стоял у двери, борясь с тошнотой, ибо весь коридор провонял прогорклым салом и луком, и не расслышал слов, которые дядюшка произнес тихо и скороговоркой.

— Входите, — произнесли сестры хором, — а молодой человек пускай подождет в гостиной.

Я провел долгий час в крохотной комнатушке с высоченным сводчатым окном, стекла которого представляли собой какой-то варварский почерневший витраж. В комнате стояли тростниковое кресло, прялка из темного дерева да красная от ржавчины печка.

За это время я раздавил семь тараканов, цепочкой шествовавших по голубым плиткам пола, но так и не смог достать тех, что ползали вокруг треснувшего зеркала, которое поблескивало в

полумраке, словно гнилая болотная вода.

Когда дядюшка Квансюис вернулся, его лицо было красным, будто он долго просидел около раскаленной кухонной печи; три черных тени с совиными головами шли следом и визгливо благодарили его.

Очутившись на улице, дядюшка обернулся к фасаду с тремя масками, и его лицо стало злым и презрительным.

— Ведьмы!.. Дьявольские отродья, — проворчал он.

Он протянул мне пакет, завернутый в жесткую серую бумагу.

— Неси с осторожностью, малыш, это довольно тяжелая вещь.

Пакет и вправду был очень тяжел, и бечевка всю дорогу резала мне пальцы.

Мой дядюшка проводил меня до дому, ибо, как уверяла Элоди, то был день святого праздника, когда мы обычно ели вафли с маслом и пили шоколад из голубых и розовых кружек.

Против обычая, дядюшка Квансюис был молчалив, он ел неохотно, но в его глазах плясал радостный огонек.

Элоди мазала маслом дымящиеся вафли и поливала их кремом, который застывал, образуя

квадратики; вдруг она яростно вскинула голову.

— В доме опять завелись крысы, — проворчала она, — вы слышите, как возятся эти проклятущие обжоры!

Я в ужасе оттолкнул тарелку, услышав вдруг шорох рвущейся бумаги.

— Никак не могу понять, откуда доносится их противная возня, — сказала она, бросая взгляды в сторону кухни.

Шорох доносился с десертного столика, на который обычно складывали ненужные предметы. Но сегодня столик был пуст, на нем не было ничего, кроме пакета из серой бумаги.

Я хотел было заговорить, но заметил, что глаза дядюшки в упор смотрели на меня, — они были красноречивы, и в них можно было прочесть настойчивую мольбу о молчании.

Я промолчал, и Элоди больше ничего не сказала.

Но я знал, что шорох доносился из пакета, и даже видел…

Что-то живое находилось в бумаге, обвязанной бечевкой, и это что-то пыталось освободиться с помощью когтей и зубов.

Начиная с того дня дядюшка и его друзья собирались каждый вечер, меня же стали пускать в

свое общество редко. Они часами вели серьезные беседы, словно забыв о радостях жизни.

Но вот настал день святых Элуа и Филарета.

— Филарет получил от бога и природы все, что делает жизнь приятной и нежной, — провозгласил мой дядюшка, — а святого Элуа следует любить за те радости, которые подарил нам славный король Дагобер! И будет несправедливо, если мы не отпразднуем, как положено, это двойное торжество.

Пятеро друзей ели анчоусный паштет, нашпигованных салом фазанов, индейку с трюфелями, майенский окорок в желе и пили вино из многочисленных бутылок, запечатанных воском разных цветов.

Во время десерта, когда были поданы кремы, варенья, марципаны и миндальные пирожные, капитан Коппеянс потребовал пунша.

Дымящийся пунш был разлит в стеклянные кружки, и вскоре все захмелели. Бинус Комперноле соскользнул со стула и был отведен на диван, где тотчас заснул. Господин Финхаер решил спеть старинную оперную арию.

— Я хочу вернуть жизни «Весталку» Спонтини, — произнес он, — пора покончить с несправедливостью!

Но арию он не запел, а вскочил на ноги и закричал:

— Я хочу ее видеть, вы слышите, Квансюис! Я хочу ее видеть, я имею на это право, ведь я помог вам ее отыскать!

— Замолчите, Финхаер, — гневно вскричал дядюшка, — вы пьяны!

Но господин Финхаер, не слушая его, уже выбежал из комнаты.

— Остановите его, он наделает глупостей! — завопил дядюшка.

— Да, да! Остановите его, он наделает глупостей, — поддакнул доктор Ван Пиперцеле, еле шевеля языком и глядя мутными глазами на дверь.

Мы услышали шаги Финхаера, взбегающего на верхний этаж. Дядюшка бросился вслед за ним, волоча за собой обычно услужливого, но сейчас упирающегося Ван Пиперцеле.

Капитан Коппеянс пожал плечами, выпил свой пунш, наполнил кружку снова и набил свою трубку.

— Глупости, — пробормотал он.

И в это время раздался крик ужаса и боли, и а потом послышались восклицания и что-то упало.

Я слышал, как Финхаер кричал:

— Она ущипнула меня… Она откусила мне палец!..

Дядюшка стонал:

— Она удрала… О боже! Как мне теперь ее отыскать?

Коппеянс выбил из трубки пепел, встал, вышел из столовой и начал с трудом взбираться по спиральной лестнице, ведущей на бельэтаж. Я последовал за ним, сгорая от страха и любопытства, и проник в комнату, в которой до этого никогда не бывал.

В ней почти не было мебели, и я сразу увидел дядюшку, доктора Ван Пиперцеле и господина Финхаера, стоявших вокруг громадного центрального стола.

Финхаер был бледен, как полотно, его рот кривился от боли.

Его залитая кровью правая рука висела как плеть.

— Вы открыли ее, — повторял мой дядюшка, и в его голосе звучал ужас.

— Мне хотелось рассмотреть ее поближе, — хныкал Финхаер. — О! Моя рука… Как она болит!

И тут я увидел на столе маленькую железную клетку, с виду очень тяжелую и прочную. Дверца была открыта, а клетка пуста.

В день святого Амбруаз а мне нездоровилось, впрочем, как и любому лакомке, ибо накануне, в день святого Николая, я объелся сладостями, пирожными и леденцами.

Ночью мне пришлось подняться — во рту было противно, а в животе я ощущал тяжесть и колики. Когда мне полегчало, я выглянул на улицу. Было темно и ветрено, по стеклам стучал мелкий град.

Дом дядюшки Квансюиса стоял почти напротив нашего, и я удивился, что в столь поздний час сквозь шторы его спальни сочился желтый свет.

— Он тоже болен, — усмехнулся я со злорадством, вспомнив, что накануне дядюшка взял себе из моих подарков пряничного человечка.

И вдруг я откинулся назад, еле сдержав крик ужаса.

По шторе носилась тень — тень отвратительного гигантского паука.

Существо бегало вверх и вниз, бешено крутилось на одном месте и вдруг пропало из моих глаз.

И тут же с противоположной стороны улицы донеслись душераздирающие призывы о помощи, пробудившие улицу Хэм от глубокого сна. Во всех домах распахнулись окна и двери.

Этой ночью мой дядюшка Франс Петер Квансю-

ис был найден в своей постели с перерезанным горлом.

Позже мне рассказали, что горло у него было разорвано, а на лице не осталось живого места.

Я стал наследником дядюшки Квансюиса, но я был слишком молод, чтобы вступить во владение его довольно значительным имуществом.

Однако я все же был будущим владельцем, и мне разрешили бродить по всему дому в тот день, когда судебные исполнители составляли опись имущества.

Я забрел в холодную, черную, уже запыленную лабораторию и подумал, что придет время, когда я с удовольствием вернусь в таинственный мир старого алхимика с его колбами и печами.

И вдруг у меня перехватило дыхание — мой взгляд остановился на предмете, притаившемся в углу между двумя стеклянными пластинами.

Это была громадная перчатка из черного железа, покрытая, как мне казалось, не то клеем, не то маслом.

И тут, сквозь мешанину слепых воспоминаний пробилась ясная мысль, возникшая в голове сам не знаю откуда, — железная рука Геца фон Берлихингена!

На столе лежали большие деревянные щипцы,

с помощью которых с огня снимались горячие колбы.

Я вооружился ими и схватил перчатку. Она была так тяжела, что моя рука опустилась почти к самому полу.

Окно погреба, расположенное на уровне мостовой, выходило прямо на маленький глубокий канал, впадавший затем в Прачечный канал.

Туда-то я и понес свою зловещую находку, отставив ее как можно дальше от себя. Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать от невыразимого ужаса. Железная рука извивалась, как фурия, откусывая от щипцов щепки и пытаясь ухватить меня за пальцы. А как она угрожала мне, пока я держал ее над водой!

Она упала в воду с громким всплеском, и долго еще громадные пузыри кипели на поверхности тихих вод, словно какое-то чудовище захлебывалось на дне в муках и отчаянии.

Мало что осталось добавить к странной и ужасной истории моего дорогого дядюшки Квансюиса, которого я до сих пор оплакиваю от всей души.

Я больше никогда не видел капитана Коппеянса, ушедшего в море и пропавшего в бурю вместе со своим лихтером где-то у Фрисландских островов.

Рана господина Финхаера воспалилась. Ему сначала отняли кисть, а потом и всю руку, но это не помогло, и он вскоре умер в ужасных мучениях.

Бинус Комперноле захворал и уединился в своем доме в Мюиде, где он никого не принимал, ибо дом был печален и грязен. А доктор Ван Пиперцеле, которого я изредка встречал, делал вид, что не знает меня.

Десятью годами позже маленький Прачечный канал был засыпан. И во время работ там по неизвестной причине погибли двое рабочих.

Примерно в то же время на улице Тер-Неф, что расположена недалеко от улицы Хэм, было совершено три кровавых убийства, так и оставшихся безнаказанными. Там был возведен красивый новый дом, в который сразу после ухода строителей вселились три сестры. Они были найдены удушенными в собственных постелях.

То были старые сестры Шутс, с которыми я познакомился в прежние времена.

Я покинул дом на улице Хэм, в котором поселилась смерть и откуда ушла радость. Там я оставил все, что осталось от наследства дядюшки, — большой гипсовый бюст римского воина в пластинчатой кольчуге. Но я взял с собой дя-

дюшкины записки, которые перелистываю до сих, пор, словно в поисках какой-то неведомой мне тайны.

ПИТЕР С. БИГЛ

МИЛОСТИ ПРОСИМ, ЛЕДИ СМЕРТЬ!

Перевод с английского Н. Евдокимовой

Это случилось в Англии давным-давно, еще при том самом короле Георге, который говорил по-английски с ужасающим немецким акцентом и ненавидел собственных сыновей. В те времена жила в Лондоне некая знатная дама; она только тем и занималась, что задавала балы. Эта вдова преклонных лет (звали ее леди Флора Невилл) проживала в роскошном особняке неподалеку от Букингемского дворца, и было у нее столько слуг, что она никак не могла упомнить их по именам, а многих ни разу в глаза не видывала. Яств у нее было куда больше, чем она могла съесть, нарядов куда больше, чем она могла надеть. В подвалах ее дома скопилось столько вин, что бесчисленным гостям за целый век не прикончить, а чердаки были забиты творениями великих художников и скульпторов, о чем она и не подозревала. Последние годы жизни леди Невилл устраивала званые вечера да балы, которые посещали знатнейшие пэры Англии, а порою там появлялся даже сам

король, и прослыла она самой умной и остроумной женщиной Лондона.

Но постепенно леди Невилл приелись празднества. Она по-прежнему собирала у себя в доме самых прославленных людей страны и, чтобы развлечь их, приглашала искуснейших жонглеров, акробатов, танцовщиц и факиров, но самой ей на этих приемах становилось все скучнее и скучнее… Прежде ее занимали придворные сплетни, теперь же они стали вызывать у нее зевоту. Самая упоительная музыка, самые невообразимые чудеса магии вгоняли ее в тоску. Когда же леди Невилл видела, как танцуют красивые и влюбленные пары, ей становилось грустно, а грусти она не выносила.

И вот однажды летом созвала она близких друзей и молвила:

— С каждым днем я все больше убеждаюсь, что на моих вечерах веселятся все, кроме меня самой. Секрет моего долголетия прост: я никогда не испытывала скуки. Всю жизнь меня интересовало то, что я вижу вокруг, и мне хотелось увидеть еще больше. Но скуки я не терплю и не намерена зевать на заведомо скучных приемах, особенно если сама их устраиваю. Поэтому на очередной свой бал я приглашу гостя, которого никто из вас

при всем желании не сочтет скучным. Друзья мои, на ближайшем балу почетным гостем будет не кто иной, как Смерть!

Молодой поэт горячо одобрил эту мысль, но остальные отшатнулись от хозяйки в ужасе. «Как не хочется умирать!» — твердили они. В свое время Смерть неминуемо придет за каждым из них; зачем же играть со Смертью, не дожидаясь назначенного часа, который и так пробьет слишком рано? Однако леди Невилл сказала:

— Вот именно! Если Смерть собирается унести кого-нибудь из нас в вечер бала, то все равно явится, зови не зови. Но если в тот вечер никому из нас не суждено будет умереть, то, мне кажется, очень мило принять в своем кругу такого гостя. Может быть, Смерть порадует нас чем-нибудь неожиданным… если, конечно, будет в ударе. Подумать только, после этого нам представится случай рассказывать, как мы веселились на балу со Смертью! Да нам позавидует весь Лондон, вся Англия!

Такая мысль пришлась по вкусу друзьям леди Невилл, но некий юный лорд, еще не пообтесавшийся в Лондоне, робко возразил:

— У Смерти и без нас дел по горло! Чего доброго, отклонит приглашение…

— Пока еще никто и никогда не отклонял моего приглашения, — отчеканила леди Невилл.

И юный лорд не был зван на бал.

Не мешкая, леди Невилл уселась писать текст приглашения. Немало поспорили о том, как надлежит обращаться к Смерти[38]. «Ваше лордство»? Но это ставило бы Смерть на одну доску с любым захудалым виконтом или бароном… Более приемлемым показался было герцогский титул — «ваша милость Смерть», но леди Невилл нашла, что это отдает лицемерием. А обратиться к Смерти со словами «ваше величество», то есть приравнять Смерть к королю Англии, не дерзнула даже леди Невилл. Наконец согласились на том, чтобы титуловать Смерть «ваше преосвященство», как кардинала.

Капитан Компсон, известный всей Англии как самый лихой рубака-наездник и самый элегантный повеса, заметил:

— Все это очень мило, но как попадет к Смерти наше приглашение? Кому известен адрес?

— Смерть, как вся мало-мальски приличная публика, без сомнения, живет в Лондоне; разве что в крайнем случае на лето выезжает в До-

---

[38] Сноски: 38

В английском языке слово «смерть» мужского рода.

вилль, — заявила леди Невилл. — Скорее всего Смерть живет где-то по соседству: это самая фешенебельная часть города, и едва ли особа, занимающая такое положение в обществе, как Смерть, поселилась бы в другом квартале. Если поразмыслить, то, право же, странно, как это мы до сих пор не раскланиваемся на улице.

Почти все друзья выразили согласие с хозяйкой дома, один лишь поэт, которого звали Дэвид Лоримонд, воскликнул:

— О нет, миледи, вы заблуждаетесь! Смерть живет среди бедняков. Смерть живет в самом узком и грязном переулке города, в мерзкой, кишащей крысами лачуге, где пахнет… пахнет…

Тут он осекся отчасти потому, что уловил неудовольствие леди Невилл, отчасти же потому, что никогда не бывал в подобной лачуге и не представлял себе, чем же там пахнет.

— Смерть живет среди бедняков, — закончил он, — и навещает их изо дня в день, ибо Смерть для них — единственный друг.

Леди Невилл отвечала поэту столь же холодно, как и юному лорду:

— Смерть волей-неволей имеет дело с бедняками, Дэвид, но едва ли нарочно ищет их общества. Наверняка Смерти, так же как и мне, трудно пове-

рить, что бедняки — тоже люди. В конце концов ведь Смерть принадлежит к аристократии.

Лорды и леди не оспаривали того, что адрес Смерти по меньшей мере не уступает их собственному в смысле аристократичности, но никто не знал, как называется та улица, и никто никогда не видел того дома.

— Вот если бы шла война, — сказал капитан Компсон, — Смерть было бы совсем нетрудно разыскать. Я сам, знаете ли, не раз смотрел Смерти в лицо, даже пытался вызвать на разговор, но так и не добился ответа.

— Вполне естественно, — обронила леди Невилл. — Вам следовало дождаться, пока Смерть заговорит с вами. Вы не слишком-то блюдете этикет, капитан.

Тем не менее она улыбнулась ему, как улыбались капитану все женщины.

Вдруг ее озарило:

— Если не ошибаюсь, у моего куафера болен ребенок, — сообщила она. — Вчера он, помнится, что-то такое говорил. Похоже, он потерял всякую надежду. Пошлю-ка я за ним и передам ему приглашение, а он, в свою очередь, вручит его Смерти, когда наш адресат явится за его отпрыском. Надо признаться, так не принято, но иного

выхода я не вижу.

— А если куафер не согласится? — спросил лорд, который всего несколько дней назад женился.

— С чего бы это? — ответила леди Невилл.

Общего одобрения не разделял только поэт — он воскликнул, что затея жестока и безнравственна. Но и он умолк, когда леди Невилл простодушно спросила:

— А почему, Дэвид?

Итак, послали за куафером, и, когда он предстал перед собравшимися — с нервной улыбкой, сцепив пальцы, смущенный присутствием стольких знатных особ, — леди Невилл втолковала ему, что от него требуется. И, как всегда, оказалась права, ибо он и не подумал отказываться, а взял визитную карточку с текстом приглашения и испросил позволения удалиться.

В течение двух дней о нем не было ни слуху ни духу, а на третий он без зова явился к леди Невилл и подал ей маленький белый конверт. Проронив: «Как любезно с вашей стороны, очень вам признательна», она вскрыла конверт и извлекла оттуда скромную визитную карточку с надписью: «Смерть с благодарностью принимает приглашение на бал к леди Невилл».

— Ты получил это от Смерти? — нетерпеливо

допытывалась леди Невилл. — Как же выглядит Смерть?

Но куафер глядел мимо нее и молчал, и тогда она, не дожидаясь ответа, вызвала слуг и наказала собрать своих друзей. А потом, в нетерпении расхаживая по комнате, снова спросила:

— Так как же выглядит Смерть?

Куафер ничего не ответил.

Собравшиеся друзья возбужденно передавали карточку из рук в руки, пока совершенно ее не захватали. Впрочем, всем было ясно: кроме самого текста, в послании нет ничего необычного. На ощупь визитная карточка ни горяча, ни холодна, а исходящий от нее слабый запах скорее даже приятен. Все утверждали, что аромат очень знакомый, но никто не мог его определить. Поэт усмотрел в нем сходство с благоуханием сирени, но уловил и некоторое отличие. Капитан же Компсон указал на одну особенность — никто, кроме него, этого не заметил:

— Взгляните-ка на надпись, — сказал он. — Видел ли кто-нибудь почерк более изящный? Буквы легкие, словно пташки. По-моему, величая Смерть «его лордство» или «его преосвященство», мы лишь теряли время попусту. Это женская рука.

Все зашумели, заговорили разом, и карточка опять пошла по кругу, чтобы каждый мог с полным правом воскликнуть:

— Ей-богу, верно!

Среди всеобщего гула выделялся голос поэта:

— Если вдуматься, то этого следовало ожидать. Лично я предпочитаю Смерть в образе женщины.

— Смерть скачет на исполинском черном коне, — твердо заявил капитан Компсон, — и носит доспехи такого же цвета. Смерть очень высокого роста, выше любого из смертных. Тот, кого я видел на поле боя, тот, кто разил направо и налево как солдат, не был женщиной. Скорее всего эти строки писал сам куафер или же его жена.

Но хотя все столпились вокруг куафера и умоляли поведать, от кого же он получил записку, тот упорно молчал. Сперва его улещивали всевозможными посулами, потом грозили ужасной карой. Со всех сторон на него сыпались вопросы:

— Это ты сделал надпись на карточке?

— Если не ты, то кто же?

— Это была живая женщина?

— А она действительно Смерть?

— Смерть тебе что-нибудь говорила?

— Как ты догадался, что это и есть Смерть?

— Кто же все-таки Смерть — мужчина или женщина?

— Ты что, вздумал над нами потешаться?

Ни слова не произнес куафер, ни единого словечка. В конце концов леди Невилл велела слугам избить его и вытолкать взашей. Но и когда его уводили, куафер не взглянул на знатную клиентку и не проронил ни звука.

Взмахом руки водворив среди друзей молчание, леди Невилл сказал:

— Бал состоится ровно через две недели. Пусть Смерть приходит как угодно — в мужском ли обличье, в женском ли, хоть в обличье бесполого существа. — Тут она безмятежно улыбнулась. — Нечего удивляться, если Смерть окажется женщиной. Теперь я хуже представляю себе Смерть, но зато и меньше боюсь ее. В мои годы не опасаются того, кто пишет обыкновенным гусиным пером. Ступайте по домам и, готовясь к балу, не забудьте сообщить о нем слугам, чтобы те разнесли весть по всему Лондону. Пусть все знают, что через две недели наступит вечер, когда на всей земле не умрет ни один человек, ибо Смерть будет веселиться на балу у леди Невилл.

Ровно две недели вместительный особняк леди Невилл дрожал, стонал и ходил ходуном, точно

старое дерево в грозу: это слуги гремели молотками и орудовали щетками, наводили в доме глянец и заново окрашивали стены. Леди Невилл усердно готовилась к балу. Всю жизнь она немало гордилась своим особняком, но когда до бала остались считанные дни, вдруг испугалась, что жилище окажется недостаточно пышным для Смерти, которой, несомненно, не в диковинку гостить у сильных мира сего. Из страха навлечь на себя презрение Смерти, леди Невилл круглые сутки самолично наблюдала за работой слуг. Надо было выбить ковры и занавеси, начистить золотую и серебряную посуду так, чтоб сверкала в темноте. Парадную лестницу, спускавшуюся в зал наподобие водопада, мыли и скребли до того часто, что нельзя было пройти по ней, не поскользнувшись. Что же касается бального зала, то, чтобы убрать его подобающим образом, одновременно трудились тридцать два слуги, не считая тех, кто драил хрустальную люстру высотой в человеческий рост и четырнадцать светильников поменьше. А когда все было готово, леди Невилл заставила слуг переделывать работу с самого начала. Не потому, что заметила где-то соринку или пылинку, нет; просто леди Невилл была уверена, что Смерть-то обязательно

заметит.

Для себя леди Невилл выбрала самое нарядное платье и лично проследила за тем, как его стирали и гладили. Она вызвала другого куафера и причесалась по старинной моде, желая доказать Смерти, что возраста своего не скрывает и по-обезьяньи копировать юных прелестниц не намерена.

Весь день перед балом леди Невилл провела у зеркала. Косметикой она не злоупотребляла — лишь тронула губы помадой, наложила тени под глазами да припудрилась мельчайшей рисовой пудрой. Однако леди Невилл пристально рассматривала исхудалое, старое лицо, глядевшее на нее из зеркала, и думала о том, какое впечатление произведет оно на Смерть. Дворецкий осведомился, хорошо ли, на ее вкус, подобраны вина, но она отослала его прочь и оставалась у зеркала, пока не настало время одеваться и встречать гостей.

Гости начали съезжаться рано. Выглянув в окно, леди Невилл обнаружила, что мостовая перед домом запружена каретами и породистыми лошадьми. «Все это напоминает многолюдную похоронную процессию», — подумала она.

Дворецкий выкрикивал имена гостей, и в гулком бальном зале ему вторило эхо.

— Капитан королевской гвардии Генри Компсон! Мистер Дэвид Лоримонд! Лорд и леди Торренс! (То была самая юная чета супругов, женатых всего каких-то три месяца.) Сэр Роджер Гаррисон! Графиня делла Кандини!

Всем прибывшим хозяйка протягивала руку для поцелуя, и для каждого у нее находились любезные слова приветствия.

Леди Невилл позаботилась о том, чтобы на балу играли лучшие музыканты, но хотя по ее сигналу началась музыка, ни одна пара не вышла на паркет, ни один молодой лорд не обратился к хозяйке с просьбой оказать ему честь и подарить первый танец, как того требовали приличия. Гости кучками слонялись по залу, перешептывались и не отрывали глаз от дверей. Заслышав стук колес подъезжающей кареты, они неизменно вздрагивали и жались друг к другу; всякий раз как дворецкий возвещал о прибытии очередного гостя, они тихонько вздыхали с облегчением.

— Чего ради явились они ко мне на бал, если им так страшно? — презрительно пробормотала леди Невилл. — Я вот не боюсь свести знакомство со Смертью. Мне только очень хотелось бы надеяться, что Смерть оценит великолепие моего дома и букет моих вин. Я умру раньше любого из

них, но мне ничуть не страшно.

Уверенная, что Смерть не появится раньше полуночи, хозяйка поочередно подходила к одному гостю за другим, пытаясь успокоить их — не словами, которых, как она отлично понимала, все равно никто не разберет, а тоном своим, будто перед нею были испуганные лошади, но мало-помалу нервозность гостей передалась и ей: она садилась и тут же вставала с места, пригубила не менее десятка бокалов и не допила ни одного… и все поглядывала на часики, усыпанные драгоценными камнями. Сперва ее подмывало ускорить бег времени и покончить с ожиданием, а потом она то и дело проводила пальцем по циферблату, словно желая рассеять тьму и насильно передвинуть стрелку на час рассвета. Когда настала полночь, леди Невилл, как и все остальные, тяжело дышала, ни минуты не оставалась на месте и прислушивалась к шороху колес по гравию.

У всех, включая леди Невилл и капитана Компсона, бой часов исторг сдавленный вскрик испуга, но все тотчас же умолкли и стали отсчитывать удары. Сверху донесся перезвон других часов, поменьше. Виски леди Невилл клещами сжала боль. Случайно она увидела свое отражение в огромном зеркале бального зала — серое лицо за-

прокинуто, как в приступе удушья, — и подумала: «Смерть — это женщина, страшная, омерзительная старая карга, по-мужски высокая и сильная. И вот что самое ужасное: лицо у нее точь-в-точь как у меня». Но вот бой часов прекратился, и леди Невилл закрыла глаза.

Открыла она их, когда услышала, что шепот вокруг нее изменил интонацию: теперь к страху примешивались облегчение и досада. Ведь к дому уже не подъезжали кареты. Смерть не явилась.

Шум постепенно нарастал, кое-где раздавались смешки. Неподалеку от леди Невилл молодой лорд Торренс сказал жене:

— Вот видишь, голубка, я же говорил, нечего бояться. Все это только шутка.

«Я погибла! — подумала леди Невилл. А смех все ширился и боем часов отдавался у нее в ушах. — Мне хотелось задать грандиозный бал, чтобы тем, кого не позвали, стало стыдно перед всей столицей, и вот воздаяние. Я погибла, и поделом мне».

Обернувшись к поэту Лоримонду, она предложила:

— Потанцуй со мной, Дэвид.

Она подала знак музыкантам, и те мгновенно заиграли. Лоримонд колебался, и она прибавила:

— Потанцуем. Другого случая у тебя не будет: больше я не устраиваю балов.

Лоримонд поклонился и вывел ее на середину зала. Гости расступились перед ними, смех на время затих, но леди Невилл понимала, что он вот-вот возобновится.

«Ну что ж, пускай смеются, — подумала леди Невилл. — Я не боялась Смерти, пока все они тряслись как осиновый лист. С какой же стати мне бояться их смеха?»

Но веки терзала острая боль, и, танцуя с Дэвидом, леди Невилл снова сомкнула глаза.

Но тут вдруг коротко ржанули все лошади перед домом — точно так же, как в полночь разом вскрикнули все гости. Лошадей было великое множество, и их единодушное ржание утихомирило гостей. К дверям приближались тяжелые шаги дворецкого, и все вздрогнули, будто в дом ворвался холодный ветер.

Вслед за тем послышался приятный голосок:

— Я опоздала? Ах, извините! Все из-за коней…

И прежде чем дворецкий успел доложить, на порог грациозно порхнула прелестная юная девушка в белом и с улыбкой остановилась в дверях.

Она была не старше девятнадцати лет. Длин-

ные золотистые волосы густыми локонами ниспадали на плечи, тепло мерцающие, как два беломраморных острова средь зеленого моря. Широкие скулы и лоб, узкий подбородок и до того чистая кожа, что многие дамы, в том числе и леди Невилл, невольно коснулись своих лиц пальцами и тут же отдернули ладони, словно устыдились шероховатости щек. Губы гостьи были бледно-розовые, а ведь остальные дамы намазались красной, оранжевой и даже малиновой помадой. На юном лице над темными, спокойными, глубоко посаженными глазами взлетали сросшиеся брови, несколько гуще и прямее, чем требовала мода, и до того черные, до того жгуче-черные, что леди средних лет — супруга лорда средних лет — буркнула:

— Мне кажется, в ней есть примесь цыганской крови.

— Если не чего-нибудь похуже, — подхватила любовница ее мужа.

— Замолчите! — сказала леди Невилл громче, чем хотела, и девушка обернулась на звук ее голоса. Она улыбнулась, леди Невилл попыталась ответить улыбкой, но губы ей не повиновались.

— Милости просим, — проговорила леди Невилл. — Милости просим, леди Смерть.

Среди лордов и леди прошуршал легкий вздох, когда девушка пожала старухе руку и склонилась перед нею движением изысканным и легким, подобным схлынувшей волне.

— Леди Невилл, — сказала она, — как я благодарна вам за то, что вы меня пригласили!

Акцент в ее словах был так же неуловим и так же знаком, как запах ее духов.

— Пожалуйста, простите мне мое опоздание, — серьезно прибавила она. — Я ехала издалека, и мои кони очень устали.

— Если угодно, конюх почистит их и задаст корм, — предложила леди Невилл.

— Ах нет! — поспешно ответила девушка. — Прошу вас, запретите ему подходить к ним. Это не простые кони, к тому же они очень злы.

Смерть приняла от слуги бокал вина, медленно, по глоточку, выпила и тихо, удовлетворенно вздохнула.

— Какое отменное вино, — сказала она, — и какой же у вас прекрасный дом!

— Благодарю вас, — отозвалась леди Невилл.

Не поворачиваясь к остальным гостям, она ощущала их взгляды у себя на спине, понимала, что ей бешено завидуют все женщины в зале, чувствовала эту зависть каждой клеточкой тела,

как предчувствовала обычно дождь.

— Мне бы хотелось здесь пожить, — продолжала Смерть мелодичным голоском. — Когда-нибудь так оно и случится.

Увидев, что леди Невилл оцепенела словно замороженная, Смерть положила ручку на локоть старухи:

— Ох, что это я? Простите. Я очень жестока, хотя никогда не хочу быть жестокой. Прошу вас, извините меня, леди Невилл. Ведь я не привыкла бывать в обществе и потому болтаю всякие глупости. Умоляю вас о прощении.

Рука ее была легка и тепла, как у всех молоденьких девушек, а глаза смотрели так жалобно, что леди Невилл ответила:

— В ваших словах нет ничего обидного. Пока вы у меня в гостях, мой дом принадлежит вам.

— Спасибо, — поблагодарила Смерть и улыбнулась такой лучезарной улыбкой, что музыканты заиграли сами по себе, не дожидаясь сигнала леди Невилл. Та хотела было их остановить, но Смерть вмешалась:

— Ах, какая восхитительная музыка! Пожалуйста, пусть играют!

Музыканты продолжали исполнять гавот, а Смерть, нисколько не смутись под пристальны-

ми взглядами, исполненными жадного ужаса, тихонько замурлыкала мелодию без слов, обеими руками чуть приподняла подол платья и нерешительно притопнула маленькой ножкой.

— Давно я не танцевала, — грустно заметила она. — Наверное, совсем разучилась.

Она была застенчива, она не поднимала глаз, чтобы не смущать молодых лордов, ни один из которых не решался пригласить ее на танец. Леди Невилл испытывала прилив стыда и жалости — чувств, которые, как она полагала, увяли в ее душе много лет назад.

«Неужели ее так унизят на моем балу? — разгневанно думала старуха. — И только из-за того, что она Смерть? Будь она самой скверной и уродливой каргой в мире, все оспаривали бы друг у друга право танцевать с нею; ведь они джентльмены и знают, что от них ожидается. Однако ни один джентльмен не станет танцевать со Смертью, будь она какой угодно раскрасавицей».

Украдкой леди Невилл покосилась на Дэвида Лоримонда. Лицо его разрумянилось, руки были стиснуты так крепко, что пальцы побелели, он не отводил взгляда от Смерти. Однако он не повернул головы когда леди Невилл коснулась его плеча, и притворился, будто не слышит ее

шипящего окрика: «Дэвид!»

Тогда выступил вперед капитан Компсон, седой и красивый, в военной форме, и изящно поклонился Смерти.

— Капитан Компсон! — воскликнула Смерть, улыбаясь, и вложила ручку в предложенную им руку. — Я все время мечтала о том, чтобы вы пригласили меня на танец!

Услышав это, дамы постарше нахмурились — они считали непристойным говорить мужчине такие любезности, но Смерти это было в высшей степени безразлично. Капитан Компсон вывел ее на середину зала, и они стали танцевать. Поначалу Смерть проявляла странную неуклюжесть: она слишком уж старалась попасть в такт партнеру и, казалось, совершенно лишена была чувства ритма. В движениях капитана сквозили достоинство и в то же время юмор. Леди Невилл даже не подозревала, что танец может выражать столько противоречивых чувств. Но когда капитан взглянул на нее через плечо Смерти, леди Невилл заметила то, чего никто не заметил: лицо и глаза вояки были парализованы ужасом, и, хотя он подавал Смерти руку с непринужденной галантностью, вздрагивал от прикосновения своей партнерши. Однако танцевал он с обычным

блеском.

«Вот что значит поддерживать свой престиж, — подумала леди Невилл. — Капитан Компсон должен делать то, чего от него ждут. Надеюсь, скоро его сменит кто-нибудь другой».

Но никто не спешил сменить капитана. Мало-помалу пары одна за другой преодолевали страх и поспешно выскальзывали на паркет, пока Смерть смотрела в другую сторону, но никто не стремился избавить капитана Компсона от прекрасной партнерши. Они танцевали друг с другом все танцы. Спустя некоторое время кое-кто из мужчин уже окидывал гостью не затравленным, а оценивающим взглядом, но, едва встретясь с нею глазами, в ответ на ее улыбку лишь крепче прижимал к себе свою даму, словно боялся, как бы ту не унес холодный ветер.

Одним из немногих, кто разглядывал Смерть не таясь и с удовольствием, был лорд Торренс, но танцевал он только со своей женой. Другим был поэт Лоримонд. Танцуя с леди Невилл, он заметил:

— Если она Смерть, то кто же это перепуганное дурачье? Если она уродлива, то каковы же они? Мне противен их страх. Они ведут себя неприлично.

В эту минуту мимо проплыла в танце Смерть с капитаном, и до них донеслись его слова:

— Но если в бою я действительно видел именно вас, то как могли вы столь неузнаваемо измениться? Как стали такой прелестью?

Смерть рассмеялась тихо и весело.

— Я подумала, что среди красивых людей лучше быть красивой. Побоялась всех напугать и испортить бал.

— Все представляли ее уродиной. — сказал Лоримонд леди Невилл. — А я знал, что она окажется прекрасной.

— Почему же ты с нею не танцуешь? — спросила леди Невилл. — Тоже боишься?

Нет, нет, — быстро и с горячностью возразил поэт. — Очень скоро я приглашу ее на танец. Только еще чуть-чуть полюбуюсь ею издали.

А музыканты все играли да играли. Танцы уносили за собой ночь медленно, как капли воды подтачивают скалу. Леди Невилл казалось, что никогда еще не было такой длинной ночи, но она не чувствовала ни усталости, ни скуки. Она танцевала поочередно с каждым из своих гостей, кроме лорда Торренса, который не отходил от жены, словно лишь в этот вечер познакомился с нею, и, разумеется, кроме капитана Компсона.

Один раз капитан поднял руку и мимолетно коснулся золотистых волос Смерти.

Он все еще был неотразимым кавалером и достойным партнером для такой красивой девушки, но каждый раз, когда эта пара проносилась мимо нее, леди Невилл внимательно разглядывала лицо капитана и понимала, что он гораздо старше, чем все полагают.

Сама же Смерь казалась моложе самых юных дебютанток. Теперь она танцевала лучше всех, хоть леди Невилл и не могла припомнить, в какую минуту неуклюжесть сменилась милой плавностью движений. Смерть улыбалась, окликала каждого, кто попадался ей на глаза, — и всех она знала по имени; она непрерывно напевала, выдумывала слова на мелодию танцев — бессмысленные слова, ничего не значащие звуки, и все же каждый старался уловить ее мягкий голос, сам не зная отчего. А когда, танцуя вальс, она перекинула волочащийся шлейф через руку, чтобы двигаться свободнее, то леди Невилл вообразила ее парусной лодочкой, плывущей по безмятежному вечернему морю.

Леди Невилл поймала обрывок сварливого спора между леди Торренс и графиней делла Кандини:

— Неважно, Смерть это или нет, но она никак не старше меня!

— Чепуха! — отрезала графиня, которая не разрешала себе проявлять снисходительность к другим женщинам. — Ей все двадцать восемь лет, а то и тридцать. А чего стоит ее платье, прямо-таки подвенечный наряд, ну и ну!

— Гадость, — вторила женщина, которую пригласили на бал как признанную любовницу капитана Компсона. — Безвкусица. Но никто и не ожидал от Смерти хорошего вкуса.

Казалось, леди Торренс вот-вот расплачется.

«Завидуют Смерти, — сказала себе леди Невилл. — Как странно, а я вот нисколько ей не завидую, ну ни капельки. И вовсе ее не боюсь».

Она немало гордилась собой.

И вдруг музыканты кончили играть столь же неожиданно, как начали, и отложили инструменты в сторонку. Во внезапной пронзительной тишине Смерть покинула капитана Компсона, подбежала к одному из высоких окон и обеими руками раздвинула занавеси.

— Глядите-ка! — воскликнула она, стоя спиной к остальным. — Ночь уже на исходе.

Летнее небо было еще черным, горизонт на востоке лишь чуть светлел, но звезды в небе ис-

чезли, и постепенно стали четко вырисовываться во тьме деревья вокруг дома.

Смерть прижалась лицом к стеклу и произнесла так тихо, что ее едва расслышали:

— А теперь мне пора.

— Нет! — вырвалось у леди Невилл, которая не сразу поняла, что заговорила именно она. — Вы должны еще побыть с нами. Бал дан в вашу честь; пожалуйста, останьтесь.

Смерть протянула ей обе руки, и леди Невилл сжала их своими.

— Я чудесно провела время, — сказала Смерть ласково. — Вы себе не представляете, как приятно, когда тебя по-настоящему зовут на бал: ведь вы всю жизнь выезжаете на них и сами их даете. Для вас все балы одинаковы, а у меня этот — единственный. Вы меня понимаете?

Леди Невилл молча кивнула.

— Эту ночь я запомню навсегда, — докончила Смерть.

— Останьтесь, — попросил капитан Компсон. — Побудьте еще немножко.

Он положил ладонь на плечо Смерти, и та, улыбаясь, прижалась к ней щекой.

— Милый капитан Компсон, — сказала она, — мой первый настоящий кавалер. Разве вы еще

не устали от меня?

— И никогда не устану, — ответил он. — Прошу вас, останьтесь.

— Как много у меня поклонников, — изумилась Смерть. Она протянула руку Лоримонду, но тот отпрянул, хоть тотчас же вспыхнул от стыда. — Воин и поэт. Как славно быть женщиной! Но почему же вы оба не заговорили со мной раньше? А теперь слишком поздно. Мне пора.

— Пожалуйста, останьтесь, — прошептала леди Торренс. Для пущей храбрости она не выпускала руки мужа. — Мы оба находим вас ослепительно красивой.

— Добрая леди Торренс, — растроганно сказала де» пушка Смерть.

Отвернувшись, она слегка дотронулась до окна, и окно распахнулась. В зал ворвался предрассветный воздух, освеженный дождем, но уже попахивающий лондонскими улицами. Гости услышали пение птиц и необычное, каркающее ржание коней Смерти.

— Хотите, я останусь с вами? — спросила она.

Вопрос был задан не леди Невилл, не капитану Компсону, не тем, кто восхищался Смертью, а графине делла Кандини, которая стояла поодаль, прижав к груди букет и раздраженно мурлыча

песенку. Графиня нисколько не хотела, чтобы Смерть оставалась, но побаивалась, как бы другие дамы не заподозрили, что она завидует красоте Смерти, и потому ответила:

— Да, конечно, хочу.

— Вот как, — проговорила Смерть. Она перешла на шепот.

— А вы, — обратилась она к другой даме, — хотите ли вы, чтоб я осталась? Хотите ли сделать меня своей подругой?

— Хочу, — ответила дама, — потому что вы красивы и у вас манеры настоящей леди.

— А вы, — спросила Смерть какого-то мужчину, — и вы, — спросила она женщину, — и вы, — спросила она другого мужчину, — хотите ли, чтобы я осталась?

И все ответили:

— Да, леди Смерть, хотим.

— Значит, хотите? — обратилась она наконец ко всем сразу. — Хотите, чтобы я жила среди вас, ничем не выделяясь, перестала быть Смертью? Хотите, чтобы я приходила к вам в гости и посещала все балы? Хотите, чтобы я разъезжала в карете, запряженной такими же конями, как ваши? Хотите, чтобы я одевалась подобно вам и говорила то же самое, что говорите обычно

вы? Чтобы кто-нибудь из вас женился на мне, а остальные плясали у меня на свадьбе и приносили подарки моим детям? Хотите ли вы этого?

— Да, — сказала леди Невилл. — Останьтесь же, останьтесь со мной, со всеми нами.

Голос Смерти был по-прежнему тих, но стал отчетливее и старше — слишком дряхлый голос (мелькнуло в голове у леди Невилл) для такой юной девушки.

— Подумайте хорошенько, — увещевала Смерть. — Поймите, чего вам хочется, и будьте в этом вполне уверены. Всем ли угодно, чтобы я осталась? Если хоть один человек скажет: «Нет, уходи», я мгновенно уйду и никогда не вернусь. Подумайте. Всем ли я нужна?

— Да! Да, вы непременно должны остаться. Вы так прекрасны, мы не можем вас отпустить! — вскричали все в один голос.

— Мы устали, — сказал капитан Компсон.

— Мы слепы и глухи, — сказал Лоримонд. — Особенно к стихам.

— Мы боимся, — глухо сказал лорд Торренс, а жена взяла его под руку и прибавила: — Мы оба.

— Мы глупы и скучны, — сказала леди Невилл, — и старимся без толку. Оставайтесь с нами, леди Смерть.

Тогда Смерть улыбнулась, ласково и лучезарно, и шагнула навстречу людям, но всем показалось, будто она спустилась к ним с недосягаемой высоты.

— Отлично, — сказала она. — Остаюсь с вами. Отныне я не Смерть, а просто женщина.

Никто не разомкнул губ, но по залу пронесся глубокий вздох. Люди не смели шевельнуться, ибо золотоволосая девушка все же была Смертью, и за окном все еще хрипло ржали ее зловещие кони. Никто не мог долго смотреть на нее, хотя перед ними была самая прекрасная девушка на свете.

— Но за это вам предстоит расплата, — сказала она. — В жизни за все приходится платить. Один из вас должен стать Смертью вместо меня — ведь мир не может существовать без Смерти. Нет ли желающих стать Смертью по доброй воле? Только при таком условии моту я превратиться в простую девушку.

Никто не ответил, но все медленно попятились от нее, как откатываются от берега волны, если пытаешься их поймать. Графиня делла Кандини с приятельницами хотели тихонько улизнуть из зала, но Смерть улыбнулась им, и они застыли у дверей. Капитан Компсон шевельнул губами,

словно желая предложить свои услуги, но так ничего и не вымолвил. Леди Невилл застыла на месте.

— Нет желающих, — подытожила Смерть.

Она прикоснулась пальцем к цветку, и тот, казалось, изогнулся от наслаждения, как кошачья спинка.

— Нет желающих. Тогда я сама выберу себе замену, и это будет справедливо, поскольку точно так же и я когда-то стала Смертью. Но я не хотела ею быть, и меня очень радует, что вы зовете меня к себе. Давно уже я ищу людей, которым была бы нужна. Теперь осталось только выбрать кого-то на мое место, и все кончено. Я буду выбирать крайне тщательно.

«Ах, до чего же мы были глупы!» — подумала леди Невилл, но вслух ничего не сказала. Только стиснула руки и, глядя на Смерть, смутно ощутила, что, будь у нее дочь, ей бы хотелось, чтобы эта дочь походила на леди Смерть.

— Графиня делла Кандини, — раздумчиво произнесла Смерть и женщина в ужасе пискнула — на крик у нее не хватило дыхания. Но Смерть со смехом продолжила: — Нет, это было бы нелепо.

Больше она ничего не добавила, но после этого щеки графини долго еще пылали от унижения,

оттого что ее не избрали Смертью.

— Капитан Компсон не годится, — проворковала Смерть. — Он чересчур добр, это было бы жестоко по отношению к нему. Ведь он рвется умереть.

Выражение лица у капитана не изменилось, но руки его задрожали.

— Лоримонд тоже, — продолжала девушка, — он слишком мало знает жизнь, и потом он мне нравится.

Поэт вспыхнул, побледнел, опять покраснел. Он неловко попытался было преклонить перед нею колени, но вместо этого выпрямился во весь рост и постарался принять осанку капитана Компсона.

— И не Торренсы, — заявила Смерть, — никоим образом не лорд и леди Торренс, — они слишком любят друг друга, чтобы гордиться ремеслом Смерти.

Однако она не сразу отошла от леди Торренс, а еще некоторое время не спускала с нее темных любопытных глаз.

— Я стала Смертью в вашем возрасте, — сказала она наконец. — Интересно, каково это — снова очутиться в таком возрасте? Чересчур долго была я Смертью.

Леди Торренс содрогнулась и ничего не ответила.

Наконец Смерть спокойно проговорила:

— Леди Невилл.

— Здесь, — откликнулась та.

— По-моему, вы — единственная, — сказала Смерть. — Я выбираю вас, леди Невилл.

И снова до леди Невилл донесся единодушный тихий вздох. Она стояла спиной к гостям, но прекрасно знала, что все вздохнули с облегчением, оттого что выбор не пал на них или на кого-либо из близких. Леди Торренс в негодовании вскрикнула, но леди Невилл прекрасно понимала, что молодая женщина точно так же ужаснулась бы любому выбору Смерти. Старуха услышала собственный спокойный голос:

— Польщена, но неужто не нашлось более достойного?

— Нет, — сказала Смерть. — Никто так не устал от человечности, никто лучше вас не знает, до чего бессмысленно жить на свете. И никто не в силах относиться к чужой жизни, — тут она улыбнулась милой и жестокой улыбкой, — например, к жизни ребенка, как к пустой безделице. У Смерти тоже есть сердце, но это — навеки опустошенное сердце, сердце же леди Невилл, мне

думается, подобно иссохшему руслу реки, подобно пустой раковине. Вы гораздо больше меня будете довольны ролью Смерти — ведь я стала Смертью в слишком юные годы.

Легкой, чуть покачивающейся походкой приблизилась она к леди Невилл; в ее глубоко посаженных, широко раскрытых глазах отражался свет уже взошедшего багряного утреннего солнца. Гости шарахнулись от нее, хотя она на них не глядела, а леди Невилл, заломив руки, неотрывно следила, как Смерть подходит к ней танцующими шажками.

— Мы должны поцеловаться, — сказала Смерть. — Так когда-то и я стала Смертью.

Она восторженно тряхнула головой, и мягкие золотистые волосы всколыхнулись на ее плечах.

— Скорее, скорее! — торопила она. — Я не дождусь, когда же вновь стану человеком.

— Вам это может не понравиться, — предостерегла ее леди Невилл. Теперь ее охватило чувство покоя, хоть она и слышала биение собственного сердца, ощущала это биение в кончиках пальцев. — Пройдет какое-то время, и вам это разонравится.

— Возможно. — Теперь улыбка Смерти была совсем близко. — Я буду не такой красивой, как

сейчас, и люди перестанут любить меня так сильно. Но какое-то время я буду человеком, а потом умру. Свою вину я искупила.

— Какую вину? — спросила старуха прекрасную девушку. — В чем вы провинились? Из-за чего стали Смертью?

— Не помню, — ответила Смерть. — Со временем вы тоже забудете.

Она была меньше ростом, чем леди Невилл, и неизмеримо моложе. Она годилась ей в дочери (у леди Невилл никогда не было детей), могла бы жить с нею, безотлучно находиться при старухе и нежно обнимать ее в минуты тоски. Смерть привстала на цыпочки, чтобы поцеловать леди Невилл, и, целуя, шепнула ей на ухо:

— Когда я состарюсь и подурнею, вы будете свежи и прекрасны. Будьте же тогда милостивы ко мне.

За спиной у леди Невилл элегантные джентльмены и красивые дамы зашептались, завздыхали и судорожно задвигались, подобные марионеткам, разодетым во фраки и роскошные платья.

— Обещаю, — сказала хозяйка дома и сухими губами прижалась к мягкой душистой щечке юной леди Смерть.

РОБЕРТ ГРЕЙВС

КРИК

Перевод с английского Т. Оверской

Когда мы с нашими сумками прибыли на крикетное поле психиатрической лечебницы, главный врач — мы познакомились с ним в доме моих друзей, у которых я гостил, — подошел к нам поздороваться. Я сказал ему, что буду только вести счет за лэмптоновскую команду — неделю назад я сломал себе палец, защищая ворота на кочковатом поле.

— Ну, в таком случае, — сказал он, — вы попадете в интересную компанию.

— Вы имеете в виду второго судью? — спросил я.

— Кроссли самый интеллигентный из всех наших больных, — ответил врач. — Весьма начитан, первоклассный шахматист и всякое такое прочее. Похоже, он исколесил весь мир. К нам его прислали потому, что он страдает различными навязчивыми идеями. Основная навязчивая идея его заключается в том, что он считает себя убийцей. Рассказывает целую историю, как

он в Австралии, в Сиднее, убил двоих мужчин и одну женщину. Другая его навязчивая идея более безобидного характера: он, видите ли, считает — понимайте это как знаете, — что душа его расщеплена на части. Он редактирует наш ежемесячный журнал, руководит маленькими рождественскими спектаклями и на днях выступил перед нами как иллюзионист — показывал очень оригинальные фокусы. Он вам понравится.

Доктор представил нас друг другу. Кроссли оказался довольно крупным мужчиной с несколько странным, но не сказать чтобы неприятным лицом: с виду ему было лет сорок-пятьдесят. Все же мне стало как-то не по себе, когда я очутился рядом с ним в судейской кабине, в непосредственной близости от его больших рук с черными кустиками волос на пальцах. Не то чтобы я боялся каких-либо агрессивных действий с его стороны — просто меня не покидало ощущение, что я соприкасаюсь с человеком недюжинной силы и даже — как почудилось мне вдруг — владеющим какими-то оккультными тайнами.

В судейской кабине было жарко, несмотря на большое, широко распахнутое окно.

— Надвигается гроза, — сказал Кроссли. Он го-

ворил, если пользоваться сельским выражением, «по-городскому», однако я не взялся бы определить по его выговору, какой колледж он окончил.
— В такую предгрозовую погоду все мы, больные, начинаем вести себя более возбужденно, чем обычно.

Я спросил его, принимает ли участие в игре кто-либо из больных.

— Двое, оба в одной команде — в той, что сейчас обороняет ворота. Один из них, Браун, вон тот, высокий, играл три года назад в хентской команде, да и другой совсем неплохо управляется с битой. Пэт Слингсби частенько тоже играет за нас — вы, верно, про него слышали, он австралиец и славится своей подачей, — но сегодня мы его не включили в команду: в такую погоду он, чего доброго, может подать отбивающему по голове. Он не то чтобы совсем умалишенный — у него просто неподражаемая вспыльчивость. Врачи ничего не могут с ним поделать. По-настоящему его следовало бы пристрелить. — Тут Кроссли начал рассказывать о своем враче.

— Славный, добросердечный, в сущности, человек и для психиатрической лечебницы довольно неплохо образован — по своей, конечно, специальности. Особенно интересуется различными

фобиями и порядком начитан в этой области — если иметь в виду позавчерашнюю литературу. Он очень забавляет меня порой. Он не знает ни французского, ни немецкого языка, так что я всегда шага на два-три обгоняю его, когда что-нибудь новенькое входит у нас в моду в психиатрии; ему ведь приходится ждать, пока это переведут на английский язык. Я придумываю для него всевозможные сны с глубоким подтекстом, которые он пытается анализировать. Я заметил, что ему нравится, когда в моих снах принимают участие змеи и яблочные пироги, так что я обычно пихаю их всюду, куда можно. Он убежден, что мое душевное расстройство проистекает от доброго старого эдипова комплекса; мне бы очень хотелось, чтобы все было так просто, как ему кажется.

Затем Кроссли спросил меня, смогу ли я следить за игрой, вести счет и одновременно слушать, что он будет рассказывать. Я сказал, что, наверное, смогу. Игра шла довольно вяло.

— То, что я расскажу о себе, истинная правда, — сказал Кроссли. — Все правда, от слова до слова. Или, скажем, так: когда я говорю «это подлинная история», значит, я собираюсь рассказать ее по-новому. В сущности, это всегда одна и та же история, но я время от времени

несколько меняю кульминацию и даже немного переиначиваю характеры действующих лиц. Эти изменения придают моей истории свежесть, а следовательно, и подлинность. Если бы я всегда придерживался одной и той же схемы, она бы очень скоро омертвела и стала нежизненной, фальшивой. А я хочу, чтобы моя история продолжала жить, потому что это подлинная история, и все в ней истинно от слова до слова. Я сам лично знаю людей, с которыми все это произошло. Все они живут здесь, в Лэмптоне.

Мы договорились, что я буду следить за перебежками и подсчитывать очки, а он возьмет на себя нападающих; при падении же ворот мы будем обмениваться друг с другом данными. Это давало ему возможность рассказывать, а мне — слушать.

* * *

Как-то утром Ричард, проснувшись, сказал Рэчел:

— Какой странный я видел сон.

— Скорее, дорогой, расскажи мне, потому что я тоже хочу рассказать тебе свой сон.

— Я беседовал, — сказал Ричард, — с каким-то человеком (может быть, даже это был не один

человек, потому что его внешность все время менялась), с каким-то очень умным, образованным человеком и совершенно отчетливо запомнил наш разговор. Впервые в жизни я помню все мысли и доводы, которые приходили мне на ум во сне. Обычно мои сны так далеки от всякой действительности, что, если бы я вздумал их описывать, мне пришлось бы сказать, к примеру, что-нибудь вроде: «Мне снилось, что я превратился в дерево, или в колокольчик, или в букву «ц», или в пятифунтовую бумажку и соответственно с этим мыслю и действую так, словно никогда и не был человеком». И мое существование в этом обличье иной раз бывало очень интересным и многообразным, а иной раз очень жалким, но, повторяю, оно всегда было настолько не похоже на явь, что если бы я сказал: «я беседовал», или «я был влюблен», или «я слушал музыку», или «я рассердился», — это было бы так не похоже на то, что мы обычно под этим подразумеваем, как если бы я попытался объяснить какую-нибудь философскую проблему, просто проделывая различные гримасы, тараща глаза и шевеля губами, как Панург у Рабле.

— Совершенно так же бывает и со мной, — сказала Рэчел. — Заснув, я превращаюсь во что-то

иное — иногда в камень, со всеми желаниями и побуждениями, присущими камню. Говорят «бесчувственный, как камень», но, может быть, на самом деле камень более восприимчив, более чувствителен, более отзывчив и рассудителен, чем многие мужчины и женщины. И не менее сексуален, — добавила она задумчиво.

Было воскресное утро, и ничто не мешало им беззаботно лежать, обнявшись, в постели, не поглядывая на часы: бездетной чете с завтраком можно не спешить. И Ричард принялся рассказывать Рэчел, как он во сне гулял по дюнам с каким-то человеком, а может, это был и не один человек, и тот сказал ему: «Эти дюны существуют сами по себе. Они не принадлежат ни этому морю, что там, впереди, ни травянистой полоске земли, что позади, ни горам, что еще дальше позади, и человек, гуляя по дюнам, вскоре начинает понимать это по тому особому звону, который разлит здесь в воздухе; если он воздержится от еды, от питья и от сна, если он не будет ни говорить, ни думать, ни желать, он может целую вечность бродить по этим дюнам, и никаких перемен с ним не произойдет. Здесь, среди этих песчаных холмов, не существует ни жизни, ни смерти. Все, что угодно, может случиться среди этих песча-

ных холмов».

Рэчел сказала, что все это вздор, и спросила:

— Но о чем еще ты с ним беседовал? Расскажи скорей!

Ричард сказал: они рассуждали о том, что есть вместилище души, но теперь, когда она его поторопила, все как-то вдруг выветрилось у него из головы. Он помнит только, что этот человек был сначала японцем, затем итальянцем, а под конец превратился в кенгуру.

Тогда Рэчел торопливо, сбивчиво принялась рассказывать ему свой сон:

— Я тоже прогуливалась по дюнам, и там было очень много кроликов. Ведь это как-то не вяжется с тем, что он говорил относительно жизни и смерти, верно? Я увидела того человека и тебя: вы шли, взявшись за руки, навстречу мне; я стала убегать от вас обоих и тут заметила, что этот человек держит в руке черный шелковый носовой платок. Он погнался за мной, а у меня отлетела от туфли пряжка, но я не могла остановиться, чтобы подобрать ее. Она осталась валяться на песке, и он поднял ее и сунул к себе в карман.

— Почему ты думаешь, что это был тот же самый человек? — спросил Ричард.

— Потому, — сказала она, смеясь, — что у него

было черное лицо и одет он был в синий мундир, совсем как на портрете капитана Кука. Ну и потому, что все это происходило в дюнах.

Он сказал, целуя ее в шею:

— Мы не только живем вместе, и спим, и болтаем, но, похоже, мы даже сны видим вместе.

И они оба рассмеялись.

А потом Ричард встал и подал ей завтрак в постель.

Примерно в половине одиннадцатого Рэчел сказала:

— А теперь ступай прогуляйся, дружок, и принеси мне что-нибудь на память. Возвращайся домой к часу, будем обедать.

Майское утро выдалось жаркое, и Ричард пошел лесом и вышел на приморскую дорогу в полумиле от Лэмптона.

(— Вы хорошо знаете Лэмптон? — спросил меня Кроссли.

— Нет, — сказал я. — Просто приехал сюда на каникулы и остановился погостить у друзей.)

Ричард прошел ярдов сто по дороге, затем повернул и направился к дюнам; он думал о Рэчел, и наблюдал за полетом голубых мотыльков, и смотрел на цветущий вереск и чебрец, и снова возвращался мыслями к Рэчел и думал о том, как

это удивительно, что они так необыкновенно близки друг другу. Он сорвал цветок, поднес его к губам и, вдыхая его аромат, думал: «Что станется со мной, если она умрет?» Он отломил кусок сланца от невысокой каменной ограды и запустил его прыгать по поверхности пруда, думая при этом: «Ах, я слишком неотесанный парень; как это случилось, что она стала моей женой?» И он продолжал идти к дюнам, но потом снова свернул в сторону — быть может, отчасти из страха повстречаться с этим человеком, которого они оба видели во сне, — и в конце концов кружным путем приблизился к старой церкви на окраине Лэмптона у самого подножия горы.

Утренняя служба уже окончилась, и, как повелось, все прогуливались парами и небольшими группами по газону за церковью возле кромлехов. Эсквайр громко разглагольствовал о короле Карле Мученике.

— Великий был человек, великий человек, но его предали те, кого он любил.

Доктор спорил с ректором об органной музыке. Детишки играли в мяч.

— Бросай его сюда, Элси. Нет, мне, Элси! Элси, Элси!

Ректор приблизился и отобрал у них мяч, за-

явив, что сегодня воскресенье и им следовало бы об этом помнить. Когда ректор отошел, дети состроили гримасы ему вслед.

Тут к Ричарду подошел какой-то незнакомый человек и попросил разрешения присесть рядом; они разговорились. Незнакомец был у обедни, и ему хотелось поговорить о прочитанной пастором проповеди на тему о бессмертии души. Это была последняя, заключительная из пасхальных проповедей. Незнакомец сказал, что он не может согласиться с основной предпосылкой проповедника о том, что тело человека — постоянное обиталище его души. Из чего это следует? Какое дело душе до повседневных, обыденных действий тела? Ведь душа — это не мозг, не легкие, не желудок, не сердце, не разум, не воображение. Так разве не ясно, что это нечто такое, что существует само по себе? В самом деле, не проще ли предположить, что обиталище души где-то вне тела, а не в нем самом? У нас нет достаточных оснований утверждать ни то, ни другое, но ему хотелось бы сказать так: рождение и смерть — столь загадочные таинства, что сущность жизненного процесса, вероятно, не может быть ограничена рамками тела, которое является лишь видимым проявлением жизни.

— Мы не можем, — сказал он, — с точностью установить ни момент рождения, ни момент смерти. Я бывал в Японии, и там, например, возраст человека исчисляется за год до его рождения, а в последнее время в Италии умерший… Но давайте прогуляемся по дюнам, и я изложу вам, к какому заключению это меня привело. Мне как-то легче говорить, прогуливаясь.

При этих словах Ричарда охватил страх, особенно когда он увидел, что незнакомец отирает лоб черным шелковым платком. Ричард пробормотал что-то невнятное, но в эту минуту ребятишки, которые подкрались к ним, прячась за кромлехом, внезапно дружно, как по сигналу, заорали у них над ухом и принялись хохотать. Незнакомец от неожиданности рассвирепел: казалось, он сейчас разразится проклятиями, его рот широко раскрылся, обнажив не только зубы, но даже десны. Трое ребятишек с визгом бросились прочь. Но одна девчушка, которую они называли Элси, с перепугу упала и расплакалась. Находившийся поблизости доктор поспешил к ней, чтобы ее утешить. И тут все услышали, как девочка сказала:

— У него лицо, как у дьявола.

Незнакомец добродушно улыбнулся.

— А я и был дьяволом еще не так давно — в

Северной Австралии, где я прожил среди туземцев двадцать лет. Пожалуй, «дьявол» — наиболее подходящее английское слово для определения того поста, который они отвели мне в своем племени; при этом они еще наградили меня формой английского морского офицера восемнадцатого столетия, которую я должен был надевать в торжественных случаях. Пойдемте, прогуляемся по дюнам, и я расскажу вам всю эту историю. Я обожаю гулять по дюнам, поэтому я и приехал в этот город… Меня зовут Чарльз.

Ричард сказал:

— Благодарю вас, но мне уже пора домой, обедать.

— Чепуха, — сказал Чарльз, — обед подождет. Или, если хотите, я могу пойти пообедать с вами. Кстати, я с пятницы еще ничего не ел. У меня совсем нет денег.

Ричарду стало не по себе. Ему очень не хотелось приводить Чарльза домой к обеду. Чарльз нагонял на него страх из-за того, что привиделось ему во сне, и из-за этих прогулок по дюнам и черного носового платка. Но вместе с тем незнакомец производил приятное впечатление интеллигентного человека, был вполне пристойно одет и ничего не ел с пятницы. Если Рэчел узнает, что

он отказался накормить голодного, она снова начнет издеваться над ним. Когда Рэчел бывала не в духе, она неизменно принималась жаловаться на то, что Ричард чересчур прижимист, хотя в другое время, когда у них все было ладно, признавалась, что он самый щедрый человек на свете и она совсем не думает того, что говорила. Однако стоило ей рассердиться на него, и снова сыпались упреки в скаредности:

— Десять пенсов, — говорила она, — десять пенсов, плюс полпенса, плюс на три пенса марок. — И тогда у него начинали гореть уши, и ему хотелось ее ударить.

Поэтому Ричард сказал:

— Ну разумеется, идемте, пообедаем у нас. Но эта маленькая девочка все еще плачет, так вы ее напугали. Вам бы следовало успокоить ее.

Чарльз поманил девочку к себе и очень тихо произнес одно-единственное слово. Позже он объяснил Ричарду, что это было австралийское заклинание и означало оно просто «молоко», но Элси мгновенно утихла, подошла, взобралась к Чарльзу на колени и принялась пересчитывать пуговицы на его жилете, после чего он отослал ее прочь.

— Вы обладаете очень странным воздействием

на людей, мистер Чарльз, — сказал Ричард.

— Я люблю детей, — сказал Чарльз, — но их крик испугал меня. Я очень рад, что не сделал того, что мне захотелось сделать в первую секунду.

— А что вы могли сделать? — спросил Ричард.

— Я тоже мог закричать, — сказал Чарльз.

— Ну, — сказал Ричард, — это им больше бы пришлось по вкусу и, верно, здорово бы их позабавило. Возможно, они именно этого и добивались.

— Если бы я закричал, — сказал Чарльз, — мой крик либо умертвил бы их на месте, либо они все посходили бы с ума. Вероятнее всего, он бы их убил — они стояли слишком близко.

Ричард сделал довольно беспомощную попытку улыбнуться. Он не понимал, как отнестись к этим словам, — Чарльз говорил так серьезно, так веско, словно он и не думал шутить. В конце концов Ричард сказал:

— В самом деле, интересно, что же это за крик такой? Крикните что-нибудь, я хочу послушать.

— От моего крика погибают не только дети, — сказал Чарльз. — Мужчины могут обезуметь, и даже самых сильных он валит с ног. Это колдовской крик, меня обучил ему Главный Дьявол Северной территории, и я восемнадцать лет доводил его до совершенства, а использовал все-

го-навсего пять раз.

Все перемешалось у Ричарда в голове: и его сон, и черный носовой платок, и магическое слово, которому повиновалась Элси; он просто не знал, что сказать, и наконец пробормотал:

— Я дам вам пятьдесят фунтов, если вы своим криком снесете кромлехи.

— Я вижу, вы мне не верите, — сказал Чарльз. — Быть может, вы никогда прежде не слышали о том, что криком можно наводить ужас?

Ричард подумал и сказал:

— Ну, я читал, к примеру, о героическом крике, которым древние ирландские воины нагоняли такой страх на вражеские полчища, что заставляли их отступить. И этот троянец, Гектор, его крик тоже, кажется, был ужасен? В Греции в лесах тоже внезапно раздавались порой какие-то странные крики. Они так пугали людей, что те сходили с ума от страха; эти крики приписывали богу Пану, и, по-видимому, из этой легенды и родилось слово «панический». Затем я вспоминаю еще один крик, описанный в «Мабиногионе», в истории о Ллудле и Ллевелис. Этот крик раздавался раз в году в канун Майского дня; он проникал людям в самое сердце и наводил на них такой ужас, что мужчины бледнели и теряли силу, женщины бро-

сали своих детей, юноши и девушки лишались чувств и даже животные и деревья погибали, а земли и воды становились мертвы и бесплодны. Но этот крик не человека, а дракона.

— Должно быть, это был какой-нибудь английский колдун из клана Драконов, — сказал Чарльз. — Я принадлежу к клану Кенгуру. Да, похоже на то. Описание не очень точно, но в общих чертах совпадает.

Они добрались до дому в час дня, и Рэчел их встретила на пороге — обед был уже готов.

— Рэчел, — сказал Ричард, — познакомься, это мистер Чарльз, я пригласил его отобедать с нами. Мистер Чарльз — великий путешественник.

Рэчел прикрыла рукой глаза, словно заслоняясь от какого-то видения, но, может, просто луч солнца внезапно ударил ей в лицо. Чарльз взял ее руку и поцеловал, что очень ее удивило. Рэчел была хрупкая, грациозная; необычайно синие глаза, темные волосы, все движения исполнены изящества. Она обладала очень острым и несколько причудливым чувством юмора.

(— Вам бы понравилась Рэчел, — сказал Кроссли, — она навещает меня здесь порой.)

О Чарльзе трудно было сказать что-нибудь определенное; он был среднего возраста, до-

вольно высок, волосы с проседью; лицо его ни секунды не оставалось неподвижным; большие блестящие глаза казались то карими, то почти желтыми, то серыми; голос его и выговор резко менялись в зависимости от того, о чем он говорил; у него были коричневые от загара волосатые руки с хорошо ухоженными ногтями. О Ричарде можно сказать только, что он был музыкант. Сильной натурой его не назовешь, но ему сопутствовала удача. В удачливости была его сила.

После обеда Чарльз и Ричард перемыли вдвоем посуду, и Ричард внезапно спросил Чарльза, нельзя ли ему услышать его крик. Ричарду вдруг стало казаться, что он теперь никогда не найдет себе покоя, если его не услышит. Дело в том, что он теперь уже поверил в этот крик, а такую ужасную вещь лучше услышать однажды, чем вечно о ней думать…

Чарльз замер со щеткой для мытья в руке.

— Как вам будет угодно, — сказал он, — но я предупредил вас о том, что это за крик. И для этого нужно найти какое-нибудь безлюдное место, где бы никто другой не мог меня услышать, хотя я не буду кричать в полную силу, что убивает наверняка, а лишь в полсилы, что только наводит ужас, а вы, как только захотите, чтобы я перестал

кричать, заткнете уши.

— Идет, — сказал Ричард.

— Я еще никогда в жизни не кричал, чтобы удовлетворить чье-то праздное любопытство, — сказал Чарльз. — Я кричал лишь в тех случаях, когда моей жизни угрожала опасность от врагов, от белых или от туземцев, и еще как-то раз я кричал, когда остался совсем один в пустыне без пищи и без воды. Тогда я вынужден был кричать, чтобы добыть себе пропитание.

Ричард подумал: «Ну, я-то везучий; надеюсь, кривая вывезет меня и на этот раз».

— Я не боюсь, — сказал он Чарльзу.

— Мы отправимся на дюны завтра поутру, — сказал Чарльз. — Пораньше, пока все еще будут спать, и я крикну. Раз вы говорите, что не боитесь.

Но Ричард на самом-то деле очень боялся, и его страх еще усиливался оттого, что он не мог ничего рассказать Рэчел; он знал: стоит Рэчел узнать о его затее, она либо запретит ему идти, либо сама увяжется за ним. Если она не пустит его, страх перед этим криком и сознание собственной трусости будут терзать его до конца дней, если же она пойдет с ним, а этот крик окажется вздором, это даст ей новую возможность поднимать его на

смех, издеваясь над его доверчивостью, и Чарльз, разумеется, будет потешаться вместе с ней; а если этот крик и в самом деле что-то ужасное, она еще, чего доброго, может свихнуться. Словом, Ричард ничего ей не сказал.

Они предложили Чарльзу переночевать у них, и все трое засиделись допоздна, болтая.

Когда Рэчел и Ричард уже лежали в постели, Рэчел сказала мужу, что ей понравился Чарльз. Сразу видно, это человек бывалый, многое повидал на своем веку, но вместе с тем совсем дурачок, большой ребенок. Потом Рэчел долго еще несла всякую чепуху, потому что выпила два стакана вина, а это случалось с ней не часто, и наконец сказала:

— Ах да, любимый мой, я же совсем забыла рассказать тебе. Сегодня утром, когда тебя не было, я стала надевать свои туфли с пряжками и увидела, что на одной туфле пряжки нет. Должно быть, я еще вчера, ложась спать, заметила, что потеряла ее, но это как-то не дошло у меня до сознания, а потому и приснилось потом, словно я только тогда, во сне, впервые обнаружила эту потерю. Но у меня такое ощущение, вернее, я совершенно убеждена, что эта пряжка лежит у мистера Чарльза в кармане, и я знаю, что он

и есть тот самый человек, которого мы видели в наших снах. Но я не придаю этому никакого значения, ни малейшего!

А Ричарда от этих слов мороз по коже продрал, и у него не хватило духу рассказать Рэчел о черном шелковом платке и о том, что Чарльз звал его прогуляться по дюнам. И хуже всего было то, что у них в доме Чарльз все время доставал из кармана только белый платок, так что Ричард и сам был теперь не уверен, действительно ли он видел черный или ему это померещилось. Отвернувшись от Рэчел, он неуверенно произнес:

— Да, конечно, Чарльз знает много интересных вещей. Я собираюсь завтра с утра пойти с ним прогуляться, если ты ничего не имеешь против; ранняя прогулка — это то, чего мне не хватает.

— О, и я пойду с вами, — сказала Рэчел.

Ричард не мог придумать никакого предлога, чтобы отговорить ее. Он понимал, что допустил ошибку, упомянув о прогулке, и сказал только:

— Чарльз будет очень рад. В шесть часов, значит.

В шесть часов он поднялся, но Рэчел после выпитого вина так разоспалась, что ей не захотелось идти с ним. Она поцеловала Ричарда, и он ушел вдвоем с Чарльзом.

Ричард плохо спал эту ночь. Ему снилось что-то запутанное и страшное, не поддающееся определению на человеческом языке, и впервые за всю их супружескую жизнь он утратил чувство близости к Рэчел, к тому же страх перед криком терзал его. Он был голоден и продрог. С гор на море дул крепкий ветер, порой принимался накрапывать дождь. Чарльз почти всю дорогу молчал и шагал очень быстро, покусывая какую-то травинку.

Ричард вдруг почувствовал дурноту и сказал Чарльзу.

— Обождите минутку, у меня что-то закололо в боку. — Они остановились, и Ричард спросил, с трудом переводя дыхание: — На что похож этот ваш крик? Он что, очень громкий или очень пронзительный? В чем его особенность? Почему он сводит людей с ума?

Чарльз ничего не ответил, и Ричард, смущенно улыбнувшись, продолжал:

— Вообще-то говоря, звук — это странная вещь, Я помню, как однажды, когда я был еще в Кембридже, один из преподавателей Королевского колледжа должен был проводить у нас вечернее занятие. Но не успел он произнести и десяти слов, как раздался грохот, треск, вопли и с потолка посыпалась штукатурка и куски дерева; оказалось,

что голос этого человека и архитектоника здания находились в таком соответствии, что он вынужден был замолчать, иначе крыша обрушилась бы на наши головы. Так же вот можно разбить хрустальный бокал, взяв его ноту на скрипке.

На этот раз Чарльз снизошел до ответа:

— Воздействие моего крика не зависит ни от его тона, ни от вибрации голоса — это нечто такое, что объяснить невозможно. Этот крик — просто зло, зло в чистом виде, и вы не найдете ему места ни в одной из гамм. В нем может прозвучать любая нота. Это просто ужас, овеществленный в звуке, и я не стал бы кричать по вашей просьбе, если бы у меня не было на этот счет своих соображений, которыми я не обязан делиться с вами.

Напугать Ричарда было не так уж трудно, а эти новые рассуждения по поводу крика нагнали на него еще большую тревогу. Теперь ему хотелось одного: чтобы Чарльз очутился где-нибудь на другом континенте, а он — дома, в своей постели. И все же он как зачарованный следовал за Чарльзом. Они уже пересекли узкую травянистую полосу; прибитая дождем, спутанная трава колола Ричарду щиколотки, и он чувствовал, как у него промокают носки.

Наконец они поднялись на пустынные дюны.

Остановившись на вершине самого высокого песчаного холма, Чарльз огляделся вокруг. Отсюда пляж виден был на две мили, а то и больше. Он был совершенно безлюден. И тут Ричард заметил, что Чарльз вынул что-то из кармана и принялся небрежно играть этим предметом, то перекидывая его с пальца на палец, то крутя между большим пальцем и указательным, то подбрасывая и ловя на тыльную сторону руки. Он забавлялся пряжкой туфли Рэчел.

Ричард почувствовал, что задыхается, сердце у него бешено заколотилось, тошнота подступила к горлу. Он дрожал от холода и в то же время был весь в поту. Пройдя еще немного, они вышли на открытое место между дюнами почти у самого моря. Берег здесь поднимался довольно высоко над водой, и на нем рос морской падуб и кустики жухлой травы; вокруг валялось много камней, занесенных сюда, как видно, когда-то давно морским прибоем, впереди, подобно крепостному валу, лежала еще одна, первая, гряда дюн, а между ними виднелась ложбина, быть может, пробитая высокой волной, и ветер, вечно задувающий в эту ложбину, очистил ее от песка. Ричард глубоко засунул руки в карманы, чтобы согреться и нервно крутил в пальцах правой руки кусочек

воска — огарок свечи, оставшийся в кармане со вчерашнего вечера, когда он спускался вниз, чтобы запереть входную дверь.

— Вы готовы? — спросил Чарльз.

Ричард кивнул.

На вершину одной из дюн спустилась чайка и, увидев людей, с криком взмыла вверх.

— Вы станьте возле падуба, — сказал Ричард, с трудом ворочая пересохшим языком, — а я останусь здесь, между этих камней. Когда я подниму руку, начинайте кричать, а как только я заткну пальцами уши, тотчас замолчите.

Чарльз отошел шагов на двадцать по направлению к падубу. Ричард видел его широкую спину и край черного шелкового платка, высовывавшийся из кармана. Он снова вспомнил свой сон, и пряжку от туфли, и как перепугалась девочка Элси. Решимость покинула его, он поспешно разломил кусок воска надвое и заткнул себе уши. Чарльз этого не заметил.

Тут Чарльз обернулся, и Ричард дал ему знак, подняв руку.

Чарльз как-то странно изогнулся, наклонясь вперед, выставив подбородок, зубы его обнажились, и Ричард еще никогда не видел, чтобы на лице человека был написан такой испуг.

Это поразило его своей неожиданностью. Лицо Чарльза, обычно такое мягкое и подвижное, неуловимо изменчивое, словно облако, внезапно затвердело, превратившись в каменную маску; мертвенно-бледное сначала, оно постепенно начало наливаться краской, начиная со скул, пока не стало пунцовым почти до черноты, казалось, он вот-вот задохнется. Рот его открывался все шире и шире, и, когда совсем разинул его словно пасть, Ричард без чувств повалился ничком, зажав руками уши.

Очнувшись, он увидел, что лежит один среди камней, и сел, тупо стараясь сообразить, долго ли он здесь пролежал. Он чувствовал страшную слабость и тошноту и такой леденящий холод в сердце, что почти не замечал, как сильно продрог. Он никак не мог собраться с мыслями. Стараясь приподняться, он уперся рукой об один из камней, который был побольше остальных. Подняв этот камень, он машинально ощупал его пальцами. Мысли его разбегались. Он стал думать о том, как шьются башмаки, и, хотя ничего не мыслил в этом ремесле, ему вдруг показалось, что он постиг его до самых мелочей.

— Должно быть, я сапожник, — произнес он вслух. Но тут же поправил себя: — Нет, я музы-

кант. Или я уже схожу с ума?

Он отшвырнул камень прочь; камень стукнулся о другой камень и, подпрыгнув, отлетел в сторону.

Ричард спросил себя: «Почему мне это вдруг взбрело на ум, что я сапожник? Ведь, похоже, минуту назад я действительно знал все, что полагается знать заправскому сапожнику, а сейчас уже абсолютно ничего не помню. Нужно вернуться домой к Рэчел. И зачем я сюда пришел?».

Но тут он увидел Чарльза. Тот стоял на дюне шагах в ста от него и смотрел на море. Ричард вспомнил весь пережитый им страх и проверил, держится ли воск в ушах, затем с трудом поднялся на ноги. Он заметил, что на песке что-то трепыхается, и увидел кролика, который, лежа на боку, корчился в конвульсиях. Ричард шагнул к нему, и кролик затих: он был мертв. Ричард обогнул дюну, стараясь не попасться Чарльзу на глаза, и бегом припустился домой, с трудом вытаскивая ноги, глубоко увязавшие в сыпучем песке. Он пробежал не больше двадцати шагов, как увидел чайку. Она как-то нелепо торчала на дюне и не вспорхнула при его приближении, а повалилась мертвая набок.

Ричард сам не знал, как добрался до дому. Но

вот наконец он вошел в дом с черного хода и начал ползком, на четвереньках взбираться по лестнице. Он вытащил воск из ушей.

Рэчел, бледная, дрожащая, сидела на постели.

— Слава тебе господи, наконец-то ты вернулся, — сказала она. — Мне снился какой-то невообразимый кошмар. Это было так страшно, просто чудовищно. Я спала, как убитая, таким непробудным сном, как в тот раз. И я была камнем и чувствовала, что ты где-то рядом; а ты был просто ты, такой же, как всегда, хотя я была камнем, и ты был страшно чем-то напуган, что я не могла тебе помочь, и ты все время ждал, что случится что-то ужасное, но это ужасное случилось не с тобой, а со мной. Я не могу объяснить, что это было, казалось, каждый нерв в моем теле внезапно мучительно заныл, словно меня со страшной силой пронизывал насквозь какой-то невыносимо жгучий, злой луч света, и от этого меня выворачивало всю наизнанку. Я проснулась; сердце у меня так колотилось, я думала, что задохнусь. Может быть, у меня был сердечный приступ и перебои в сердце? Говорят, при этом чувствуют нечто подобное. А где ты был, любимый? И где мистер Чарльз ?

Ричард опустился на постель и взял Рэчел за

руку.

— Со мной тоже было плохо, — сказал он. — Мы с Чарльзом дошли до моря, и, когда он ушел от меня вперед и стал взбираться на самую высокую дюну, я почувствовал дурноту и упал на груду камней, а когда пришел в себя, то был весь в поту от страха и скорее поспешил домой. Прибежал домой бегом, один. Все это произошло примерно полчаса назад, — добавил он.

Больше он ничего не сказал Рэчел. Только спросил, нельзя ли ему лечь в постель и не приготовит ли она ему завтрак. А такого еще не случалось никогда за все время их брака.

— Я не менее больна, чем ты, — сказала Рэчел. Между ними существовало молчаливое соглашение, что Ричард должен быть здоров, если Рэчел больна.

— Нет, ты не больна, — сказал он и снова потерял сознание.

Она, хотя и не слишком заботливо, все же уложила его в постель, оделась и не спеша спустилась с лестницы. В ноздри ей ударил запах кофе и жареной ветчины, и она увидела Чарльза, который уже разжег огонь и поставил два готовых завтрака на поднос. Рэчел почувствовала такое облегчение, оттого, что ей не нужно готовить

завтрак, и так растерялась, что горячо поблагодарила Чарльза и назвала его «мой дорогой», а Чарльз торжественно поцеловал ей руку и пожал ее. Завтрак он приготовил в точности по ее вкусу: очень крепкий кофе и яичница, поджаренная с обеих сторон.

Рэчел влюбилась в Чарльза. Она часто и до замужества и уже во время брака влюблялась в мужчин, но, когда это случалось, обычно рассказывала об этом Ричарду, а он в ответ обещал рассказать ей, если нечто подобное случится и с ним; это давало выход ее страсти и вместе с тем спасало их от ревности, так как она обычно говорила (а ему было дано право, если потребуется, сказать то же самое):

— Да, я влюблена в имярек, но люблю я только тебя.

И дальше этого она никогда не заходила. Но на сей раз было по-другому. На сей раз Рэчел, сама не зная почему, не могла признаться, что влюблена в Чарльза, а дело было в том, что она больше не любила Ричарда. Его болезнь раздражала ее, она называла его лентяем и притворщиком. Около полудня он встал, но так стонал, бродя по спальне из угла в угол, что Рэчел в конце концов приказала ему снова лечь в постель и стонать там.

Чарльз помогал ей по дому и сам стряпал обед, но не поднимался наверх, чтобы проведать Ричарда, так как его туда не приглашали. Рэчел было очень неловко, что Ричард так грубо обошелся с Чарльзом, убежав и оставив его одного, и она просила за мужа прощения, но Чарльз кротко ответил, что он ничуть не обижен; он тоже чувствовал себя как-то странно в то утро, когда они пришли на дюны, казалось, что-то тяжелое было разлито в воздухе. Рэчел сказала, что такое же жуткое ощущение было и у нее.

Потом она узнала, что весь Лэмптон толковал о том же. Доктор утверждал, что это было землетрясение, но все местные жители сходились на том, что мимо их поселка пролетел дьявол. А прилетал он, чтобы унести душу Соломона Джонса, лесничего, которого в то утро нашли мертвым в его домике возле дюн.

Настал день, когда Ричард, собравшись с силами, спустился вниз и уже мог двигаться по дому без стонов и охов, и тогда Рэчел послала его к сапожнику, чтобы тот сделал новую пряжку для ее туфли. Она вышла проводить Ричарда до садовой калитки. Дорожка вилась по краю крутого обрыва. Ричард казался совсем больным и тихонько стонал, шагая по тропинке, и Рэчел то ли со зло-

сти, то ли шутя столкнула его вниз с обрыва, и он упал в заросли крапивы, куда сваливали старый железный лом. А Рэчел, громко смеясь, побежала обратно к дому.

Ричард вздохнул и хотел, обратив все в шутку, посмеяться над собой вместе с Рэчел, но она уже исчезла, и он выбрался из крапивы, поднял туфли и потихоньку начал взбираться на откос, потом вышел за калитку и побрел по дороге под необычно палящим солнцем.

Добравшись до сапожника, Ричард тяжело опустился на стул. Сапожник был рад возможности поболтать с ним.

— Вы что-то неважно выглядите, — сказал сапожник.

— Да, — сказал Ричард, — в пятницу утром со мной случился какой-то нервный припадок. До сих пор все никак не приду в себя.

— Подумать только! — воскликнул сапожник. — Так с вами случился припадок? А что, вы думаете, случилось со мной? Мне было так худо, словно с меня живьем содрали кожу. Словно кто-то вынул из меня душу и принялся вертеть ее и подбрасывать, будто камушек какой, а потом как швырнет наземь! Я этого утра, умирать буду, не забуду.

Странная мысль мелькнула тут у Ричарда в голове, а что, если там, на берегу, он держал не камень, а душу сапожника? «Быть может, — подумалось ему у душа каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка, живущего в Лэмптоне, лежит там». Но он ничего не сказал об этом сапожнику, попросил у него пряжку и пошел домой.

У Рэчел уже были наготове и шутка и поцелуй. Ричард мог бы ответствовать на это хмурым молчанием, ибо, если он молчал, Рэчел всегда становилось немножко не по себе. «Но, — подумал Ричард, — к чему мне это? Сначала ей становится совестно, а потом, чтобы чувствовать себя правой, она затевает ссору из-за чего-нибудь другого, и получается еще в десять раз хуже. Надо обратить все в шутку и держаться весело, как ни в чем не бывало!»

Но он чувствовал себя несчастным. А Чарльз водворился и доме, деятельный, обходительный и неизменно принимающий сторону Ричарда всякий раз, как Рэчел принималась за свои издевки, что безумно уязвляло Ричарда именно потому, что Рэчел эта защита не возмущала.

(— Дальше, — сказал Кроссли, — там происходят неожиданные и забавные вещи, отчего

напряжение несколько ослабевает. Дело в том, что Ричард отправляется снова на дюны к той самой груде камней, и ему удается распознать среди них души доктора и ректора, потому что душа доктора — это камень в форме бутылки из-под виски, а душа ректора — камень, черный как первородный грех, и тут Ричард убеждается в том, что все его домыслы имеют под собой почву. Но я не стану это подробно описывать и сразу перейду к тому моменту, когда Рэчел два дня спустя внезапно снова стала заботлива и нежна к Ричарду и заявила, что любит его еще сильнее, чем прежде.)

А причина крылась в том, что Чарльз исчез: никто не знал, куда он подевался, но магическая сила пряжки на время ослабела. Чарльз допустил это, зная, что по возвращении он сможет вернуть все обратно. Словом, через несколько дней Ричард совсем оправился и у них все пошло по-старому и было так до тех пор, пока как-то под вечер не отворилась дверь и на пороге не появился Чарльз.

Он вошел и, ни с кем не здороваясь, повесил свою шляпу на крючок. Затем сел у камина и спросил:

— Когда будет готов ужин?

Ричард удивленно поднял брови и вопросительно поглядел на Рэчел, но та как зачарованная смотрела на Чарльза.

— В восемь часов, — прозвучал в ответ ее грудной, глуховатый голос, и, наклонившись к ногам Чарльза, она сняла его перепачканные глиной башмаки и подала ему домашние туфли Ричарда.

Чарльз сказал:

— Прекрасно. Сейчас семь часов. Через час — ужин. В девять часов мальчишка принесет вечернюю газету. В десять часов мы с тобой, Рэчел, ляжем в постель.

Ричард подумал было, что Чарльз рехнулся.

Но Рэчел ответила покорно:

— Ну, конечно, мой дорогой. — И, вся ощетинившись, повернулась к Ричарду. — А ты убирайся отсюда, козявка! — крикнула она и что было мочи закатила ему пощечину.

Ричард стоял как громом пораженный, потирая щеку. Невозможно было вообразить, чтобы и Рэчел и Чарльз оба вдруг одновременно сошли с ума. Значит, по видимому, сошел с ума он сам. Но так или иначе, Рэчел была исполнена решимости, а между ними существовал тайный уговор, что в случае, если кто-нибудь из них захочет рас-

торгнуть брак, другой должен убраться с его пути. Они уговорились об этом, чтобы чувствовать, что их связывает только любовь, а не брачные узы. Поэтому Ричард ответил спокойно, как мог:

— Ну что ж, Рэчел. Я оставлю вас вдвоем.

Чарльз запустил в него башмаком и крикнул:

— Если ты сунешь нос в дверь, прежде чем мы утром сядем завтракать, я крикну так, что у тебя отлетят уши!

На этот раз Ричард покинул дом не угнетенный страхом, а в холодном бешенстве, но вполне владея собой и своими мыслями. Он вышел за калитку и зашагал по дороге, направляясь к травянистой полоске земли между дюнами. До захода солнца оставалось еще часа три. Он пошутил с ребятишками, игравшими в крикет на школьном поле. Пошвырялся немножко камнями. Потом вспомнил о Рэчел, и слезы прихлынули у него к глазам. Тогда, чтобы слегка подбодриться, он принялся петь.

«Нет, я положительно схожу с ума, — сказал он себе. — И куда, черт побери, девалась моя удача?»

Наконец он добрался до груды камней.

«Вот что, — подумал он. — Я разыщу свою душу в этой груде и разнесу ее вдребезги молотком».

А он, уходя из дому, прихватил с собой молоток, лежавший под навесом для угля.

После этого он принялся отыскивать свою душу. Однако человек может распознать душу другого мужчины или женщины, но только не свою собственную. И Ричард не мог разыскать своей. Но по случайности он наткнулся на душу Рэчел и узнал ее — это был гладкий зеленый камушек с вкраплениями кварца, — узнал ее потому, что в эту минуту он был сильно отчужден от нее. Рядом лежал другой камень — безобразный, бесформенный пятнисто-коричневый кусок кремня. Увидав его, Ричард воскликнул в исступлении:

— Я уничтожу его. Это, несомненно, душа Чарльза!

Он поцеловал душу Рэчел, и ему показалось, что он прикоснулся к ее губам. Затем он нацелился молотком на душу Чарльза:

— Я разобью тебя на сто кусков!

Его рука застыла в воздухе. Ричард был человек совестливый. Узнав, что Рэчел любит Чарльза сильнее, чем его, он обязан был действовать согласно их уговору. Третий камень (конечно, это была уже его собственная душа) лежал по другую сторону души Чарльза; это был гладкий серый гранит величиной примерно с крикетный мяч.

Ричард подумал: «Я разнесу свою душу на куски и этим положу конец всем своим мучениям». В глазах у него зарябило и потемнело, и он едва не лишился чувств. Но он справился со своим волнением и с отчаянным криком обрушил молоток раз, другой и третий на серый камень.

Камень распался на четыре куска, в воздухе слегка запахло порохом, и, когда Ричард обнаружил, что он по-прежнему жив и невредим, он расхохотался и долго не мог успокоиться. «Да я же спятил, просто спятил!» Он отшвырнул молоток, в изнеможении повалился на камни и уснул.

Он пробудился, когда уже садилось солнце, и в полном смятении направился домой, думая: «Все это какой-то ужасный сон, но Рэчел поможет мне освободиться от этого наваждения».

На окраине города кучка людей оживленно беседовала возле фонарного столба. Один из них сказал:

— Примерно часов в восемь это произошло, верно?

И другой ответил:

— Да-да.

А третий сказал:

— И представьте, он был как есть полоумный. «Только троньте меня, — говорит, — и я закричу.

Я закричу так, что вам не поздоровится! И вам и всей вашей полицейской своре. Стоит мне закричать, и все вы сойдете с ума». А инспектор говорит: «Брось, Кроссли! Руки вверх! Кончай валять дурака! Теперь тебе от нас не уйти». А тот говорит: «Предупреждаю в последний раз, убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое, не то я так крикну, что все вы упадете замертво».

Ричард остановился и стал прислушиваться.

— И что же потом случилось с Кроссли? — спросил он. — А женщина что сказала?

— «Бога ради! — сказала она инспектору. — Уходите или он убьет вас».

— Ну а тот закричал?

— Нет, он не закричал. Он перекосил всю рожу и вобрал в себя побольше воздуху. Богом клянусь, сколько ни живу на свете, а такой страшной рожи еще не видывал. Я потом, пока не пропустил три-четыре стаканчика, все никак не мог прийти в себя. А инспектор выронил револьвер, и он выстрелил, но ни в кого не угодил. И тут вдруг с этим самым Кроссли что-то случилось, его как подменили. Он схватился руками за сердце и за бок, и лицо у него снова стало спокойным и словно мертвым. А потом он принялся смеяться, пританцовывать и дурачиться по-всякому. А жен-

щина уставилась на него, словно глазам своим не верила, и тогда полиция его увела. Если поначалу он был буйный сумасшедший, то тут вдруг стал совсем безобидный дурачок, и они забрали его как миленького. И в санитарном автомобиле отправили прямо в Королевскую психиатрическую лечебницу Западного графства.

И тогда Ричард пошел домой к Рэчел и рассказал ей все, и она тоже рассказала ему все, хотя рассказывать было, в общем-то, нечего. Она никогда не была влюблена в Чарльза, сказала Рэчел, просто дразнила Ричарда, и никогда не говорила Чарльзу ничего такого, и он тоже никогда не говорил ей ничего хоть сколько-нибудь похожего на то, что якобы сказал в тот вечер, о котором рассказывает Ричард. Все это, верно, привиделось Ричарду во сне. Она любит его и всегда любила только одного его, невзирая на все его недостатки, которые она тут же и перечислила: скупость, болтливость, неряшливость. Они с Чарльзом тогда спокойно поужинали, но она при этом, конечно, думала, что Ричард поступил очень скверно, когда вдруг ни с того, ни с сего, ни слова не говоря, убежал из дому и пропадал неизвестно где целых три часа. А ведь Чарльз мог ее убить. Он и в самом деле принялся вдруг немного ее тормошить — ну,

конечно, просто в шутку — и хотел, чтобы она потанцевала с ним, но в эту минуту раздался стук в дверь, и они услышали голос инспектора: «Уолтер Чарльз Кроссли, именем короля я арестую вас за убийство Джорджа Гранта, Гарри Гранта и Ады Колман, проживавших в Сиднее, в Австралии». И вот тут Чарльз совсем свихнулся. Он вытащил из кармана пряжку от туфли и приказал ей: «Постереги ее для меня». А потом заявил полицейским, чтобы они убирались подобру-поздорову, иначе он их всех умертвит криком. Он сделал ужасное лицо и вдруг весь распался точно на куски, будто его что пришибло.

— Он славный человек, — сказала Рэчел, — и лицо у него такое симпатичное, мне очень жаль его.

* * *

— Ну как, понравилась вам эта история? — спросил Кроссли.

— Да, понравилась, — сказал я, торопливо подсчитывая очки. — История что надо, в духе лучших ирландских саг. Примите мои поздравления, Луций Апулей!

Кроссли обратил ко мне встревоженное лицо и крепко стиснул задрожавшие от волнения руки.

— Это все правда, от слова до слова. Душа Кроссли была разбита на четыре куска, и я попал в сумасшедший дом. О, я не жалуюсь на Ричарда и Рэчел. Это двое милых, симпатичных дурачков, любящая супружеская пара, и я никогда не желал им зла. Они частенько навещают меня здесь. Так или иначе, теперь, когда моя душа валяется разбитая на куски, я потерял свое могущество. Только одно и осталось у меня, — добавил он. — мой крик.

Я был так углублен в подсчет очков — да еще в это время приходилось слушать его россказни, — что даже не заметил надвигавшейся на нас огромной черной тучи, пока она не заволокла все небо и не закрыла солнце. Упали теплые капли дождя, сверкнула молния, ослепив нас, и тут же раздался оглушительный удар грома.

В мгновение ока все смешалось. Хлынул грозовой ливень, игроки разбежались и попрятались кто куда, а больные принялись неистово визжать, вопить и подняли драку. Высокий молодой человек, тот самый Браун, который играл когда-то в хентской команде, мгновенно разоблачился и стал бегать нагишом. А какой-то бородатый старик отчаянно взывал к грому, стоя возле нашей будки:

— Ну давай, давай, давай!

Кроссли горделиво прищурился.

— Да, — сказал он, указывая на небо, — вот он каков, этот крик, вот какое действие он производит, но мой крик еще страшней. — Затем его лицо внезапно сделалось встревоженным и жалким, и он заскулил жалобно, как ребенок: — О господи, он снова будет на меня кричать, этот Кроссли. От его крика кровь стынет у меня в жилах.

Капли дождя так барабанили по оцинкованной крыше, что я едва расслышал его слова. Снова сверкнула молния, снова раскатился гром, еще более оглушительный, чем прежде.

— Но это лишь в полсилы, — прокричал Кроссли мне в ухо. — А только в полную силу он убивает. — А, — сказал он снова. — Я вижу, вы не понимаете. — Он глуповато улыбнулся. — Я ведь теперь Ричард, и Кроссли должен меня убить.

Тот, нагишом, все еще продолжал бегать, размахивая спицей от крикетных ворот и что-то визжа, — зрелище было довольно отталкивающее.

— Давай! Давай! Давай! — взывал старик; струи дождя стекали со сдвинутой на затылок шляпы прямо ему на спину.

— Вздор, — сказал я. — Будьте мужчиной, вспомните, что вы — Кроссли. Вы стоите дюжины

таких, как Ричард. Вы проиграли на этот раз, потому что Ричарду просто повезло. Но у вас же по-прежнему остался ваш крик.

Я и сам уже чувствовал себя не вполне нормальным. И тут в судейскую кабину ворвался врач: его фланелевый костюм промок до нитки, на нем все еще были перчатки для крикета и защитные подушки, а очки куда-то исчезли; он услышал наши возбужденные голоса и отпихнул от меня Кроссли, который уже успел вцепиться мне в плечо.

— Живо! Марш к себе в спальню, Кроссли! — приказал он.

— А я не пойду, — сказал Кроссли, снова становясь горделивым. — Слышите, вы! Вы, ничтожество… змеи и яблочные пироги!

Доктор схватил его за шиворот и попытался вытолкнуть из кабины.

Кроссли вырвался, в глазах его сверкнуло безумие.

— Пошел вон, — сказал он, — оставь меня в покое, или я закричу. Слышишь? Я закричу. И убью всю вашу проклятую свору. Я снесу с лица земли вашу лечебницу. Даже трава пожухнет на ваших лужайках. Сейчас я закричу. — Ужас исказил его лицо. На скулах выступили два красных пятна и

начали расползаться по всему лицу.

Я заткнул уши пальцами и выскочил из судейской кабины. Вероятно, я отбежал уже шагов на двадцать, когда неописуемой силы ожог заставил меня закрутиться на месте, лишив на миг зрения и языка. Однако каким-то чудом я избежал смерти. Быть может, я тоже везучий, как этот Ричард. Молния, ударив в будку, уложила доктора и Кроссли на месте.

Труп Кроссли нашли застывшим и прямым, как палка, а доктор лежал в углу скорчившись, зажав руками уши. Никто не понимал, как это могло произойти, ибо смерть наступила мгновенно, а доктор был не такой человек, чтобы затыкать уши перед ударом грома.

Пожалуй, будет недостаточно эффектно закончить мой рассказ сообщением о том, что Рэчел и Ричард были те самые мои друзья, у которых я гостил (Кроссли обрисовал их характеры весьма точно), но могу прибавить еще, что, когда они услышали от меня, как некий человек по имени Чарльз Кроссли был убит молнией вместе с их приятелем-доктором, смерть Кроссли сравнительно мало взволновала их, о докторе они сокрушались куда больше. У Ричарда вообще ничего не отразилось на лице, а Рэчел сказала:

— Кроссли? Это, должно быть, тот человек, который называл себя Австралийским Иллюзионистом и как-то на днях показывал изумительные фокусы. У него, в сущности, не было даже никаких атрибутов, кроме черного шелкового носового платка. Мне очень понравилось его лицо. О да, а Ричарду оно вовсе не понравилось.

— Нет, мне просто не понравилось то, как он все время пялил на тебя глаза, — сказал Ричард.

ДЖЕЙМС ГАНН

ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ

Перевод с английского Ю. Эстрина

Мэт не верил своим глазам. Несколько секунд он стоял как вкопанный, глядя вслед подпрыгивающему на ходу колесу. Затем, опомнившись, помчался вслед.

— Стой, — орал он, — стой, черт тебя подери!

Словно забавляясь, колесо высоко подпрыгнуло и, опустившись на землю, покатилось еще быстрее, чем прежде. Мэт пробежал по пыльной, нагретой солнцем дороге почти сто ярдов, прежде чем ему удалось поравняться с колесом и толкнуть его ногой в бок. Вращаясь, оно упало на дорогу и замерло, словно опрокинутая на спину черепаха.

Тихо зазвенели маленькие серебряные колокольчики. Смех? Мэт быстро и зло огляделся. Единственным живым существом поблизости была девчонка, которая брела по дороге в нескольких сотнях ярдов от его осевшего набок автомобиля.

Мэт пожал плечами и вытер пот со лба рукавом

рубашки. Поздний июньский полдень в южном Миссури был слишком жарким для физических упражнений.

Он поднял колесо и покатил его сквозь волны горячего зноя и медленно оседавшееe облако красной пыли назад, к зеленому «форду». Мэт мог бы поклясться, что остановился для смены колеса на редком среди этих холмов ровном участке. Но тем не менее колесо, как только он отвинтил гайки, пустилось вниз, словно машина стояла на крутом склоне горы.

Как будто несчастье с колесом не могло произойти десятью милями раньше, на автостраде, где к его услугам были многочисленные станции обслуживания! Впрочем, выходка колеса была лишь последней в длинном ряду неудач и неприятностей, печальными свидетельствами которых остались многочисленные ссадины и царапины. Мэт вздохнул. В конце концов он хотел одиночества. Предложение Гэя закончить диссертацию в его охотничьей хижине показалось Мэту в свое время божьим даром, но сейчас он уже не был в этом уверен. Судя по недавнему происшествию, большая часть его времени будет посвящена борьбе за существование.

Мэт подкатил колесо к машине, осторожно

положил его набок и вытащил из багажника запасное. Не спуская глаз с колеса, Мэт подтянул его к левой задней оси, стал на колени, поднял колесо, приладил, наживил гайки, сделал шаг назад и вздохнул с облегчением… Тихо звякнул металл.

Мэт торопливо посмотрел вниз и успел заметить, как последняя гайка закатилась под машину.

В вещах и машинах есть нечто делающее их принципиально чуждыми человеческой натуре. На время они могут маскироваться под верных слуг человека, но в конце концов неизбежно обращаются против своих хозяев. В подходящий психологический момент вещи восстают.

А может быть, секрет заключается в разнице между людьми. Есть люди, у которых все получается не так: их бутерброды падают намазанной стороной вниз; доска, в которую забивают гвоздь, расщепляется; мячи для гольфа попадают в лужу. Другие же пользуются какой-то необъяснимой симпатией со стороны вещей.

Удача? Умение? Координация движений? Опыт? Мэт вспомнил свою чуть не кончившуюся трагически попытку изучить химию; он едва одолел качественный анализ. Потом ему вспом-

нилась злополучная, стоившая совершенно невероятного труда шестеренка, и рейсфедер, который никак не хотел проводить тонкую линию, сколько ни зачищай его конец…

Все это убедило Мэта, что его руки слишком неуклюжи для инженера. Он перенес свои устремления в область, где орудия труда были более податливы. Когда-нибудь он напишет об этом неплохую статью для журнала…

Смех… На этот раз сомнений быть не могло. Смех звучал прямо за спиной. Мэт круто обернулся. Перед ним стояла все та же девчонка. Чуть выше пяти футов, в выцветшем бесформенном платье. С маленькими, босыми и грязными ногами. Волосы, заплетенные в длинные косички, были мышиного цвета. Только большие голубые глаза чуть оживляли ее бледное личико.

— Почему бы вам не впрячь лошадь? — спросила она, хихикая.

— Давно ли в ваши края завезли эту остроту? — Мэт подавил раздражение, повернулся и стал на четвереньки, чтобы заглянуть под машину.

Одну за другой он подобрал гайки, но последняя, разумеется, находилась вне пределов досягаемости. Обливаясь потом, он пополз за ней под «форд». Когда он вылез, девушка все еще

была здесь.

— Чего это ты дожидаешься? — с горечью спросил он.

— Ничего, — спокойно ответила она.

— Почему же ты не идешь домой? — поинтересовался Мэт раздраженно.

— Не могу.

Мэт обошел машину и высвободил домкрат.

— Почему бы это?

— Я убежала, — ее голос был трагически спокоен.

Мэт повернулся, чтобы посмотреть на девушку. Одинокая слеза скатилась у нее по щеке, оставляя за собой грязную дорожку. Мэт ожесточил свое сердце. Солнце уже склонилось довольно низко, и для того чтобы проехать по этой всеми забытой дороге оставшиеся двадцать пять миль, ему понадобится добрый час.

Мэт сел в машину и включил зажигание. Кинув последний взгляд на патетическую маленькую фигурку на дороге, он яростно покачал головой и дал газ.

— Мистер! Эй, мистер!

Мэт нажал на тормоз и высунул голову из окна машины.

— Чего тебе еще надо?

— Мне? Ничего, — мрачно ответила она, — но вы забыли свой домкрат.

Мэт рывком включил задний ход и вернулся на прежнее место. Молча он вылез из машины, подобрал домкрат, открыл багажник, швырнул в него домкрат и захлопнул крышку. Но, проходя мимо девушки, он заколебался.

— Куда это ты направляешься?

— Никуда.

— Что значит «никуда»? Разве у тебя нет родных?

Она отрицательно покачала головой.

— Друзей? — с надеждой в голосе спросил Мэт.

Она снова покачала головой.

— Ладно, тогда отправляйся домой. — Он сел в машину и захлопнул дверцу. В конце концов это не его забота.

Машина тронулась. Можно не сомневаться, что девчонка вернется домой, как только достаточно проголодается. Мэт со скрежетом включил вторую скорость. Даже если она и не вернется, кто-нибудь позаботится о ней. В конце концов он не благотворительное общество.

Мэт недовольно затормозил и, дав задний ход, вернулся к тому месту, где стояла девчонка.

— Залезай, — сказал он.

Ехать по ухабистой дороге было мало приятно, но девчонка подпрыгивала рядом с ним на сиденье, радостно повизгивая.

— Осторожней с моими заметками, — сказал он ей, указывая на пухлые палки, лежавшие между ними, — в них больше года работы.

— Год работы? — удивленно отозвалась она.

— Здесь заметки для диссертации, которую я пишу.

— Вы сочиняете рассказы?

— Исследовательская работа, которую я должен написать, чтобы получить ученую степень. — Он быстро взглянул на нее и снова перевел глаза на дорогу. — Она называется: «Психодинамика колдовства по материалам процессов салемских ведьм в 1692 году».

— А, ведьмы, — произнесла она таким тоном, словно ей все было известно о ведьмах.

Мэт почувствовал беспричинное раздражение.

— Ладно, где ты живешь?

Она перестала подпрыгивать на сиденье и притихла.

— Па снова будет бить меня. Он чуть не спустил с меня шкуру.

— Ты хочешь сказать, что он стукнул тебя?

— Нет, он не пускает в ход руки. Обычно он бьет

меня ремнем. Смотрите.

Она задрала подол платья. То, что она носила под платьем, имело такой вид, словно было сшито из старого мешка. Мэт взглянул и быстро отвел глаза. Вдоль бедра тянулась темная полоса. А нога была слишком округлой для такой девчушки. Мэт прочистил горло.

— Почему он это сделал?

— Он просто грубый.

— Ну, должна же быть хоть какая-то причина!

— Понимаете, — сказала она задумчиво, — когда напивается, он бьет меня, потому что пьян, а когда трезвый, то бьет меня, потому что не смог выпить. Обычно он не ищет других причин.

— Но что он при этом говорит?

Она застенчиво посмотрела на него.

— О, этого я не могу повторить!

— Я хочу сказать, чем он недоволен?

— Ах, это… — Она задувалась. — Он считает, что я должна выйти замуж. Он хочет, чтобы я подцепила какого-нибудь здорового молодого парня, который бы переехал к нам и делал бы всю работу. Девчонки не приносят в дом денег, — говорит он, — во всяком случае, порядочные. Они только едят и просят тряпки.

— Выйти замуж, — сказал Мэт, — но, по-моему,

ты слишком молода для этого.

Она взглянула на него уголком глаза.

— Мне шестнадцать, у нас такие девушки по нескольку поклонников имеют. Одного-то уж во всяком случае.

Мэт внимательно посмотрел на нее. Шестнадцать лет? Это казалось невероятным. Правда, ее платье было достаточно бесформенным, чтобы скрыть все что угодно.

— Выйти замуж, выйти замуж… Вы думаете, я не хочу выйти замуж? Разве я виновата, что никто из парней меня не хочет.

— Этого я не могу понять, — саркастически сказал Мэт.

Она улыбнулась ему:

— Какой вы милый!

Когда она улыбалась, она выглядела почти хорошенькой. Во всяком случае, для деревенской девчонки.

— Но почему? — спросил Мэт.

— Может, из-за па, — ответила она, — никто не хочет жить вместе с ним. Но, главное, по-моему, просто не везет. — Она вздохнула. — С одним парнем я встречалась почти год. Он сломал ногу. Другой упал в озеро и чуть не утонул. Разве хорошо было с их стороны сваливать вину на меня,

даже если мы и поссорились перед этим?

— Сваливать вину на тебя?

Она энергично закивала головой.

— Те, кто не очень ненавидит меня, говорят, что я не девушка, а ходячее стихийное бедствие. Другие выражаются еще хуже. Парни перестали ухаживать за мной. Один даже сказал, что он скорее женится на гремучей змее. А вы женаты, мистер… мистер?..

— Мэтью Райт. Нет, я не женат.

Она задумчиво кивнула головой.

— Райт. Эбигайль Райт. Как хорошо звучит!

— Эбигайль Райт?

— Разве я это сказала? Ну, не смешно ли? Моя фамилия Дженкинс.

Мэт проглотил слюну.

— Ты пойдешь домой, — сказал он с непоколебимым убеждением. — Или ты мне скажешь, как проехать туда, или можешь вылезать из машины.

— Но на…

— Как, по-твоему, куда я тебя везу?

— Туда, куда вы едете, — сказала она, широко раскрыв глаза.

— Послушай, ради бога, ты не можешь ехать туда со мной. Это неприлично.

— Почему? — наивно спросила она.

Мэт молча начал тормозить.

— Ладно, — вздохнула девушка. — Поверните направо на следующем перекрестке.

Зеленый «форд» остановился перед двухкомнатным бунгало. Если его стены и покосившееся крыльцо и были когда-либо знакомы с краской, то знакомство было чисто шапочным, да и то давним.

Большой загорелый человек с длинной черной бородой и высокой шапкой волос задумчиво раскачивался на крыльце в шатком кресле.

— Это па, — испуганно шепнула Эбигайль.

Мэт подождал в неловком молчании, но ее отец продолжал невозмутимо раскачиваться в кресле, как будто незнакомцы каждый день привозили домой его дочь. Может быть, так оно и есть, с раздражением подумал Мэт.

— Ну, вот, — сказал он, — ты и приехала.

— Я не могу вылезти, пока не узнаю, собирается ли он меня выдрать, — ответила Эбигайль, — поговорите с ним. Узнайте, сердится ли он.

— Нет уж, с меня хватит, — убежденно заявил Мэт, снова взглянув на большую черную фигуру, продолжавшую молча раскачиваться на крыльце, — я выполнил свой долг, доставив тебя домой.

Прощай. Не могу сказать, чтобы наше знакомство доставило мне большое удовольствие.

— О, вы такой милый и очень симпатичный! Мне бы не хотелось рассказать па, как вы воспользовались тем, что я была совсем одна…

В ужасе Мэт поглядел на Эбигайль, затем вылез из машины. Медленно подошел он к крыльцу и поставил одну ногу на покосившуюся ступеньку.

— Хм, — сказал он, — я встретил вашу дочь на дороге.

Дженкинс раскачивался.

— Она убежала, — продолжал Мэт. — Я привез ее обратно, — закончил он в полном отчаянии.

Дженкинс продолжал раскачиваться и молчать. Мэт вернулся к машине и вытащил из отделения для перчаток пинту виски. Затем вернулся к крыльцу.

— Не хотите ли немного выпить?

Большая рука протянулась вперед и заграбастала бутылку. Другая рука свернула пробку. Как только горлышко бутылки исчезло в спутанной бороде, ее дно немедленно задралось к небу. Бутылка забулькала. Когда она опустилась, в ней оставалось меньше половины.

— Слабовато, — произнесла борода.

— Я привез вашу дочь обратно, — сказал Мэт,

начиная с самого начала.

— Зачем?

— Ей некуда было идти. Я думаю… в конце концов это ее дом.

— Она убежала, — сказала борода.

— Послушайте, мистер Дженкинс, я понимаю, дочери-подростки могут доставить кучу неприятностей… но в конце концов она ваша дочь.

— Не уверен.

Мэт сглотнул слюну и попробовал еще раз.

— Счастливая семейная жизнь должна быть основана на разумных компромиссах с обеих сторон. Бить ребенка не значит воспитывать его. И если вы…

— Бить ее?

Дженкинс медленно поднялся с кресла. Это было внушительное зрелище, словно сам Нептун вставал из моря во всем своем величии, гигантский, бородатый и могучий. Даже если отбросить высоту крыльца, Дженкинс возвышался несколькими дюймами над почти шестью футами Мэта.

— Да я пальцем ее ни разу не тронул!

— О боже, — подумал Мэт, — его трясет со страху.

— Зайдите, — сказал Дженкинс, махнув бутылкой по направлению к двери. В комнате царил

хаос. Пол был усеян осколками битой посуды. В центре комнаты лежал перевернутый стол, словно размахивая в воздухе тремя нестругаными ножками; четвертая, вывернутая из гнезда, сиротливо торчала в сторону. А рядом валялись разбитые в щепу стулья.

— Это она наделала? — слабым голосом спросил Мэт.

— Это еще ничего, — жалобный голос Дженкинса никак не вязался с его массивной фигурой. — Вы бы видели другую комнату!

— Но каким образом?

— Я не говорю, что Эб сделала это, — сказал Дженкинс, качая головой. Его борода тряслась у самого носа Мэта. — Но когда она чувствует себя несчастной, случается всякое. А она была здорово несчастна, когда Дункан сказал ей, что больше не придет. Стулья подпрыгивали и падали на пол. Стол танцевал по всей комнате, пока не разлетелся на куски. Тарелки летали по воздуху. Смотрите! — Он нагнул голову и развел руками волосы. На затылке виднелась огромная шишка. — Мне даже не хочется думать, что случилось с Дунканом. — Он печально покачал головой. — Так вот, мистер, мне кажется, у меня есть все основания наказать девчонку. Не так ли? — спро-

сил он. — Но чтобы я ее ударил? Да я скорее суну руку в змеиное гнездо.

— Вы хотите сказать, что эти вещи случаются сами собой ?

— Именно. Я думаю, что у вас в мозгах все запуталось. Никогда не поверил бы во все это, если бы сам не видел и не чувствовал, — тут он потер шишку на затылке, — и если бы этого не случалось раньше. Странные вещи начали твориться вокруг Эб с тех пор, как она стала входить в возраст, лет пять-шесть тому назад.

— Но ведь ей только шестнадцать лет!

— Шестнадцать? — Дженкинс осторожно глянул через открытую дверь в сторону машины Мэта и понизил голос до шепота. — Не выдавайте меня, но Эб всегда любила приврать. Девчонке больше восемнадцати.

Единственная целая тарелка упала с полки и разбилась у ног Дженкинса. Он подпрыгнул и задрожал всем телом.

— Видели ? — жалостливо прошептал он.

— Упала тарелка, — сказал Мэт.

— Она ведьма, — Дженкинс лихорадочно отхлебнул из бутылки, — может быть, я не был ей хорошим отцом. С тех пор как умерла ма, она стала совсем дикой и с ней начали твориться

странные вещи. Не только плохие. Мне, например, много лет не приходилось ходить за водой. Бочка возле крыльца всегда была полной. Но с тех пор как она выросла и у нее появились всякие сердечные разочарования, жить с ней стало чертовски трудно. Никто сюда и близко не подходит. И все вещи вокруг прыгают и двигаются, пока, наконец, собственному стулу не перестанешь доверять. Нервы не выдерживают, сынок. Человек не в состоянии этого вынести!

К смущению Мэта, глаза Дженкинса стали наполняться крупными слезами.

— У меня больше нет друзей, чтобы предложить мне выпить или, скажем, помочь по хозяйству, когда у меня ломит поясницу. Я больной человек, сынок. Послушай, сынок, ты городской человек. Выглядишь красиво, и манеры, и всякое там образование. Я так полагаю, что Эб ты нравишься. Почему бы тебе не взять ее с собой?

Мэт начал пятиться по направлению к двери.

— Она девчонка что надо, как приведет себя в порядок, а готовит она просто здорово. Можно подумать, что поварешка приросла у нее к руке, так ловко она с ней обращается, и тебе вовсе не надо будет жениться на ней.

Мэт побледнел.

— Вы с ума сошли!

Он повернулся, чтобы сделать рывок к двери. Тяжелая рука упала ему на плечо.

— Сынок, — сказал Дженкинс голосом, в котором звучала угроза, — если девчонка пробыла с мужчиной наедине больше двадцати минут, считается, что они должны пожениться как можно скорее. Поскольку ты чужой в наших краях, я не хочу тебя принуждать. Но с той минуты, как Эб ушла из этого дома, она перестала быть моей дочерью. Никто не просил тебя привозить ее обратно. Эта девчонка, — добавил он удрученно, — съедает больше меня.

Мэт полез в карман брюк. Он вытащил бумажник и извлек из него пятидолларовую ассигнацию.

— Может быть, это немного скрасит вашу жизнь.

Дженкинс тоскливо посмотрел на деньги, протянул было руку, но быстро ее отдернул.

— Не могу, — простонал он, — не стоят того эти деньги. Вы привезли ее, вы ее и увозите.

Мэт глянул сквозь открытую дверь на машину, содрогнулся и прибавил вторую пятерку. Дженкинс покрылся потом. Он с отчаянием смял бумажки в своей широкой ладони.

— Ладно, — сказал он хриплым голосом, — это десять чертовски убедительных доводов.

Мэт бросился к машине и сел за руль.

— Вылезай, — сказал он резко, — ты дома.

— Но па…

— Отныне он будет тебе любящим отцом. Прощай!

Волоча ноги и сутулясь, девушка обошла машину.

Но, подойдя к крыльцу, она выпрямилась. Дженкинс, стоявший в дверях, отпрянул назад перед своей низкорослой дочкой.

— Скверный, грязный старикашка, — прошипела Эбигайль.

Дженкинс торопливо поднял бутылку к бороде. Тут она, должно быть, выскользнула у него из рук. Но, вместо того чтобы упасть, осталась висеть в воздухе горлышком вниз. Виски полилось Дженкинсу на голову. Дженкинс, который теперь стал еще более похож на Нептуна, повернулся к машине и печально покачал головой.

Мэт лихорадочно развернул машину и стремительно вылетел со двора. Несомненно, это был обман зрения. Бутылки виски не висят в воздухе без поддержки.

Найти хижину Гэя оказалось нелегко. Мэт два с

лишним часа кружил по грязным дорогам.

Он решил задержаться, когда в четвертый раз проезжал мимо хижины, которая во всем отвечала описанию Гэя, кроме того что была обитаемой. Свет из окон потоками лился в темноту. По крайней мере он сможет расспросить о дороге. Запах жареной ветчины, доносившийся из дому, довел его до исступления. Мэт постучал в дверь. Может быть, его даже пригласят к ужину!

Дверь отворилась.

— Входите. Что вас держит?

Мэт замигал.

— Нет, нет! — вскричал он. На мгновение он почувствовал себя героем старого анекдота о пьяном в гостинице, который, шатаясь, вновь и вновь возвращается все к той же двери. Каждый раз его выставляют с возрастающим возмущением, пока он, наконец, не произносит жалобным тоном: «О боже, неужели вы один живете во всех комнатах сразу?»

— Что ты здесь делаешь? — спросил Мэт слабым голосом. — Как ты… каким образом ты сюда попала?

Эбигайль втянула его в хижину. Внутри было чисто, светло и уютно. Пол подметен, две нижние откидные койки на противоположных стенах ак-

куратно застелены. На столе стояли два прибора. В плите горел огонь и готовился ужин.

— Па передумал, — сказала она.

— Но он не мог. Я ему дал…

— Ах, это, — она полезла в карман платья. — Вот! — она протянула ему две смятые пятидолларовые бумажки и пригоршню серебряных и медных монет.

Мэт машинально пересчитал мелочь. Ее набралось на доллар тридцать семь центов.

— Па сказал, что послал бы вам больше, но это все, что он смог наскрести.

Мэт тяжело опустился на стул.

— Но каким образом ты… я ведь сам точно не знал, где находится это место. Я ж тебе не сказал, куда я еду.

— О, я всегда хорошо умела находить дорогу и потерянные вещи. Как кошка.

— Но… но… — запинаясь, заговорил Мэт, — но как ты сюда попала?

— Приехала, — ответила она.

Невольно Мэт посмотрел на стоявшую в углу метлу.

— Па одолжил мне мула. Я уже отпустила его. Он сам найдет дорогу домой.

— Но ты не можешь оставаться здесь. Это невоз-

можно!

— Ну, пожалуйста, мистер Райт, — в голосе Эбигайль появились успокаивающие нотки, — моя мама всегда говорила, что мужчина не должен принимать решений на пустой желудок. Посидите и отдохните. Ужин готов. Вы, наверное, умираете с голоду?

— Нечего здесь решать… — начал было Мэт, но замолчал, глядя, как она ставит на стол ужин — толстые ломти жареной ветчины с густой подливкой, маисовые лепешки, воздушные бисквиты, масло, домашнее варенье, крепкий черный кофе, дымящийся и ароматный. Щеки Эбигайль раскраснелись у плиты, она выглядела почти хорошенькой.

— Я не в состоянии есть, — сказал Мэт.

— Чепуха, — ответила Эбигайль, наполняя его тарелку.

Мрачно Мэт отрезал ломоть ветчины и положил его в рот. Мясо было таким нежным, что почти таяло во рту. Чуть спустя Мэт уже поглощал пищу с той скоростью, с какой успевал подносить ее ко рту. Все было приготовлено так, как ему всегда нравилось. Никогда он не мог никому объяснить, до какой степени надо поджаривать ветчину. Но эта была приготовлена как раз по

его вкусу.

Мэт откинулся от стола, зажег сигарету и стал наблюдать, как Эбигайль наливает ему третью чашку кофе. Он почувствовал, что жизнь прекрасна.

— Если бы у меня было время, я бы испекла пирог с персиками, — говорила Эбигайль, — я умею готовить очень вкусный пирог с персиками.

Мэт лениво кивнул головой. Конечно, было бы совсем неплохо иметь кого-нибудь рядом, чтобы…

— Нет, — произнес он вдруг — ничего не выйдет. Ты не можешь здесь оставаться. Что скажут люди?

— Но кому какое дело? А потом, я всегда могу сказать, что мы женаты.

— Нет, — хрипло сказал Мэт, — пожалуйста, не говори этого!

— Мистер Райт, — умоляюще проговорила Эбигайль, — пожалуйста, разрешите мне остаться. Я буду вам готовить и убирать хижину. Я вам совсем не буду мешать, честное-пречестное слово, не буду.

— Послушай, Эби, — Мэт взял ее за руку. Эбигайль стояла рядом с ним, покорно опустив глаза. — Ты очень милая девочка, и ты мне нравишься.

Ты готовишь лучше, чем все, кого я знал, и в один прекрасный день ты составишь счастье какого-нибудь мужчины, став его женой. Но я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы позволить тебе погубить свое доброе имя. Ты должна вернуться домой к отцу.

— Ладно, — произнесла Эбигайль так тихо, что ее едва было слышно.

Обескураженный неожиданным успехом, Мэт встал и пошел к двери. Эбигайль покорно последовала за ним. Мэт открыл дверцу машины и помог девушке сесть, затем, обойдя машину, сел сам на место водителя. Эбигайль сидела маленькая и тихая, прижавшись к дверце. Внезапно Мэту стало жалко ее и стыдно, словно он ударил ребенка. Но он взял себя в руки и включил зажигание. Мотор зафыркал, но машина стояла неподвижно. Мэт сбросил газ и снова нажал на стартер. Мотор пыхтел, тщетно пытаясь сдвинуть машину с места. Мэт проверил зажигание. Все было в порядке. Снова и снова нажимал он на газ, но машина стояла как вкопанная.

Мэт подозрительно посмотрел на Эбигайль.

— Но это же абсурд! — подумал он. С тех пор как он встретил эту девчонку, ему стала мерещиться всякая чертовщина. Однако машина не двигалась

с места. В конце концов Мэт сдался.

— Ладно, — вздохнул он, — не могу же я тебя выставить за дверь на таком расстоянии от твоего дома. Можешь переночевать сегодня здесь.

Молча она последовала за ним в хижину. Она помогла ему устроить из одеял импровизированные ширмы, прикрепив их к верхним койкам на двух противоположных стенах хижины.

Когда Мэт открыл глаза, сквозь одеяло просвечивали рассеянные лучи солнца. Комната была наполнена запахом жареной ветчины и кипящего кофе. Мэт жадно принюхался и, отодвинув одеяло, выглянул наружу. Все его припасы были выгружены из машины и аккуратно сложены в углу. На маленьком столике около окна стояла пишущая машинка, рядом с ней лежали драгоценные папки и стопка чистой бумаги.

Эби, весело напевая, ставила на стол завтрак. Вместо вчерашнего ужасного платья на ней было надето новое — коричневое, — которое совершенно не шло ей, зато не так скрывало вполне правильную, хотя и хрупкую фигуру. Мэт мельком подумал о том, как бы она выглядела, если бы ее как следует причесать и одеть в порядочное платье. Но эта мысль быстро отступила под новым натиском на его чувства — он ведь уже

сел за стол. Яйца были приготовлены как раз так, как надо, — белок плотный, но не твердый. Было странно, как Эби смогла угадать все его вкусы. Сначала он было подумал, что переоценил свой аппетит, но довольно быстро уплел три яйца. Со вздохом Мэт отодвинул от себя тарелку.

— Ну что ж, — начал он.

Эби сидела очень тихая и смотрела в пол. Сердце Мэта дрогнуло. В конце концов несколько часов не составят никакой разницы.

— Ну что ж, — повторил он, — пора приниматься за работу.

Эби вскочила и начала убирать со стола. Мэт подошел к столику, на котором его ждала пишущая машинка. Он сел в кресло и вложил в машинку чистый лист бумаги. Стол был очень удобно расположен по отношению к свету, высота его как раз соответствовала росту Мэта. Идеальные условия для работы.

Все было в полном порядке, кроме одного — ему совершенно не хотелось работать. В конце концов он напечатал в центре листа:

ПСИХОДИНАМИКА КОЛДОВСТВА

По материалам процессов салемских ведьм 1692 года.

Он подчеркнул заголовок и остановился. Не то чтобы Эби была очень шумной; ее почти не было слышно. Мэт одним ухом прислушивался к тому, как она мыла посуду и ставила тарелки на полку. Затем последовало молчание. Мэт терпел сколько было сил и затем обернулся. Эби сидела за столом и зашивала дыру в его старых брюках. Словно почувствовав его взгляд, Эби подняла голову и улыбнулась. Мэт снова, повернулся к пишущей машинке.

«Колдовство, — начал он нерешительно, — это попытка первобытного человека создать порядок из хаоса. Естественно, что вера в сверхъестественное пропадает по мере познания физических законов, управляющих миром».

Мэт повернулся.

— Кто устроил такой кавардак в вашем доме?

— Либби, — ответила она.

— Либби? — удивленно спросил Мэт. — Это еще кто?

— Вторая я, — спокойно ответила Эби. — Обычно я держу ее глубоко внутри, но когда бываю несчастна, то уже не могу с ней справиться. Тогда она вырывается на свободу и делает все, что ей заблагорассудится. Она больше не слушается меня.

— Великий боже, — подумал Мэт, — она сума-

сшедшая. Типичный случай шизофрении…

— Откуда ты все это взяла? — осторожно спросил он.

— Когда я родилась, — ответила Эби, — у меня была сестра-двойняшка, только она очень скоро умерла. Когда я маленькой плохо себя вела, ма качала головой и говорила, что Либби никогда бы этого не сделала. И уж когда я что-нибудь вытворяла, то всегда говорила, что это сделала Либби. От порки не спасало, зато на душе становилось спокойнее. Скоро я сама поверила, что Либби делала все, за что меня наказывали, что Либби — часть меня самой, и я старалась запрятать ее поглубже, чтобы она не выбралась наружу и не впутала меня в какую-нибудь историю. А потом я стала старше, — Эби слегка покраснела, — и стали происходить всякие странные вещи, вот тут-то Либби по-настоящему мне пригодилась.

— Ты ее когда-нибудь видела? — спросил Мэт.

— Конечно, нет, — укоризненно ответила Эби, — ведь на самом-то деле она не существует.

— Не существует?

— Конечно, не существует, — сказала Эби, — все эти вещи происходят, когда я сильно расстроена. Тут уж я ничего не могу поделать. Но ведь надо же все это как-то объяснить… вот я и придумала

Либби.

Мэт вздохнул. Эби не была сумасшедшей или дурочкой.

— Разве ты не можешь делать такие вещи, когда сама хочешь?

— Ну, может быть, самую капельку. Вот когда я разозлилась из-за виски, которое вы дали па, я подумала, что па стоило бы ради разнообразия промочить себя разок снаружи.

— А как насчет колеса и гаек?

Она расхохоталась.

— Ой, вы были такой смешной тогда!

Мэт сначала нахмурился, но потом не удержался и рассмеялся сам, потом снова повернулся к пишущей машинке, и тут ему пришло в голову, что он принимает события последних восемнадцати часов и то объяснение, которое им дает Эби, как нечто физически возможное. Неужели он вправду может поверить, будто Эби способна передвигать предметы — как бы это выразиться? — при помощи какой-то таинственной силы? Совершать все это как бы усилием воли? Конечно же, он в это не верит. Ну, а вдруг?.. Мэт вспомнил бутылку виски, выливающую свое содержимое на голову Дженкинсу. Вспомнил тарелку, упавшую с полки на пол. Вспомнил

гайки, отвинтившиеся сами собой, когда он стоял в двух футах от машины. И колесо, которое вдруг покатилось по совершенно ровной дороге. Но в конце концов должно ведь существовать объяснение странных фактов, даже если они и не укладываются в современные научные представления. Даже Эби понимает необходимость этого. Мэт вспомнил все объяснения, которые дает подобным явлениям современная наука: иллюзия, галлюцинация, гипноз — все что угодно, лишь бы это не требовало коренной перестройки установившейся системы взглядов. Он вспомнил Райна — парапсихолога — который называл это явление каким-то ученым термином. Да, телекинез — перемещение неодушевленных предметов усилием воли. Однако название ровно ничего не объясняло. Затем он подумал об электричестве. Не нужно ничего знать об электричестве, дли того чтобы им пользоваться. Необходимость понять суть события является иногда чисто психологической, а не физической.

Мэт посмотрел на первые строчки своей диссертации. Семнадцатый век. Почему он должен растрачивать свое время на такую чепуху? Здесь у него под рукой было нечто более современное. Случайно он натолкнулся на такую штуку, ко-

торая может перевернуть мир вверх дном или поставить его с головы на ноги.

Мэт снова обернулся. Эби, кончив штопать его брюки, сидела у стола и смотрела прямо перед собой в открытую дверь хижины. Мэт встал и подошел к ней. Она повернула к нему голову и тихо улыбнулась.

— Я вам могу чем-нибудь помочь? — озабоченно спросила она.

Мэт вытащил иглу из мотка штопальных ниток и слегка воткнул ее в неструганую поверхность стола, так что игла стояла вертикально.

— Заставь ее двигаться, — с вызовом произнес Мэт.

Эби уставилась на него.

— Зачем?

— Я хочу посмотреть, как ты это делаешь, — сказал Мэт, — разве этого недостаточно?

— Но я не хочу этого делать, — возразила Эби, — я никогда не хочу делать такие вещи. Они случаются сами собой.

— Попробуй.

— Нет, мистер Райт, — твердо ответила Эби, — мне никогда это не приносило ничего, кроме неприятностей. Это распугало всех моих друзей и всех знакомых па.

— Если ты хочешь остаться здесь, ты будешь делать то, что я тебе велю.

— Ну, пожалуйста, мистер Райт, — умоляющим голосом сказала Эби, — не заставляйте меня. Добром это не кончится.

В ответ Мэт только рявкнул. Эби опустила глаза и прикусила губу. Затем она посмотрела на иглу. На ее гладком лбу появились морщины от напряжения. Ничего не произошло. Игла продолжала стоять. Эби глубоко вздохнула.

— Не могу, мистер Райт, — простонала она, — я просто не могу этого сделать.

— Но почему? — свирепо спросил Мэт.

— Не знаю, — ответила Эби. Машинально она начала разглаживать рукой складки юбки у себя на коленях. — Мне кажется, это потому, что я счастлива.

Мэт потратил целое утро на эксперименты. Он предлагал Эби катушку ниток, авторучку, монетку, листок бумаги, бутылку… последнее показалось самому Мэту гениальной идеей. Но бутылка, как и все прочее, пребывала в полной неподвижности. Он даже вытащил запасное колесо из багажника и прислонил его к машине. Пятнадцать минут спустя колесо было все в том же положении.

Наконец Мэт снял с полки чашку и поставил ее на стол.

— Ты так хорошо умеешь бить посуду, — сказал он, — разбей ее.

Эби безнадежно уставилась на чашку. Лицо ее выглядело старым и осунувшимся. На секунду все ее тело напряглось, затем она бессильно опустилась на стул.

— Не получается, — простонала она, — ни в какую не получается.

— Никак! — заорал на нее Мэт. — Неужели ты такая дура, что даже не умеешь говорить правильно? Нельзя говорить «ни в какую», надо говорить «никак».

С немой мольбой Эби подняла на Мэта свои голубые глаза.

— Никак, — сказала она голосом, в котором слышались рыдания, и опустила голову на руки. Плечи ее стали судорожно вздрагивать.

Мэт в мрачном раздумье уставился на ее спину. Неужели ей и в самом деле нужно быть несчастной, чтобы происходили чудеса? Мэт поджал губы. Если это так, то ей придется плохо.

— Собирай свои вещи, — резко сказал он, — ты поедешь домой к отцу.

Эби сжалась и подняла голову.

— Я не буду ехать, — сказала она.

— «Я не поеду», — резко поправил ее Мэт.

— Не поеду, — свирепо повторила Эби, — не поеду, не поеду.

Внезапно чашка полетела по направлению к голове Мэта. Инстинктивно он выставил вперед руку. Чашка, ударившись в нее, упала на пол. Мэт растерянно посмотрел на осколки, потом на Эби. Ее руки по-прежнему были сложены на коленях.

— Ты сделала это?! — заорал Мэт. — Значит, это все-таки правда.

— Так ехать мне к па?

— Нет, если ты будешь мне помогать.

Эби поджала губы.

— Разве одного раза мало, мистер Райт? Вы же теперь знаете, что я могу это сделать. Увидите, добра не будет… — Она посмотрела на его каменное лицо. — Но я буду делать это, раз вы хотите…

— Это очень важно, — мягко сказал Мэт. — Но послушай, что ты почувствовала перед тем, как чашка полетела в меня?

— Бешенство.

— Нет, меня не интересуют твои эмоции. Что ты ощущала?

Эби нахмурила брови.

— Ей-богу, мистер Райт, я ни в какую… — она

быстро взглянула на него, — я никак не могу подобрать слова. Вроде как если бы я захотела схватить что поближе и швырнуть в вас, а затем получилось, как будто я и швырнула. Вроде как я толкнула чашку всем телом, а не только рукой.

Мэт, задумавшись, снял с полки вторую чашку и поставил ее на стол.

— Попробуй повторить.

Лицо Эбигайль напряглось. Затем она бессильно откинулась на спинку стула.

— Я ни в… я никак не могу. У меня просто нет подходящего настроения.

— Ты едешь домой к отцу — выпалил Мэт.

Чашка шевельнулась.

— Вот, вот, — быстро произнес Мэт, — попробуй еще раз, пока ты не забыла!

Чашка снова покачнулась.

— Еще раз…

Чашка поднялась на дюйм над столом и опустилась. Эби вздохнула.

— Вы ведь так нарочно сказали, мистер Райт. Вы ведь не хотите, чтобы я поехала домой?

— Не хочу. Но, может быть, ты сама захочешь, прежде чем мы кончим опыты. Теперь ты будешь практиковаться, пока не сможешь проделывать это сознательно, что бы это там ни было.

— Ладно, — покорно сказала Эби, — только это ужасть как утомительно, когда нет подходящего настроения.

— «Очень утомительно», — поправил Мэт.

— Очень утомительно, — повторила Эби.

— А теперь, — сказал Мэт, — попробуй еще раз.

Эби практиковалась до полудня. Самое большее, на что она оказалась способна, — поднять чашку на фут от стола, но это она делала к концу очень хорошо.

У Мэта не было никакой возможности определить без точных приборов, как далеко простирались способности Эби. Впрочем, необходимое оборудование можно достать в Спрингфильде. Пока же он выяснил, что феномен Эби достигал наибольшей силы, когда девушка чувствовала себя несчастной. Мэт задумчиво смотрел в окно хижины. Постепенно в его голове сформировался план, как сделать Эби несчастнее, чем она была когда-либо за всю свою короткую жизнь.

Весь день Мэт был очень ласков с Эби. Несмотря на отчаянные протесты, он помог ей вытереть посуду. Он рассказывал ей о своей жизни и учебе в Канзасском университете. Он рассказал ей о своей диссертации по психологии и о том, что будет делать, когда защитит ее.

— Расскажите мне еще о студентках, — вздохнула Эби.

Он начал рассказывать, что надевают студентки, когда они ходят на лекции, и что они надевают, когда идут на свидания или отправляются на танцы. Глаза Эби стали большими и круглыми.

— Наверно, это здорово, — со вздохом сказала Эби. — А зачем они поступают в университет?

— Чтобы выйти замуж, — ответил Мэт, — во всяком случае, большинство из них.

Эби покачала головой.

— Красивые платья. И все такое. Эти девушки, должно быть, ужасть… ужасно нерасторопные, если сразу не выскакивают замуж. А почему они не могут выйти замуж дома?

Мэт задумчиво нахмурился. Эби умела задавать вопросы, касающиеся самой глубины человеческих отношений.

— Мужчины, с которыми они познакомятся в университете, будут зарабатывать им больше денег.

— Ах так! — сказала Эби. — Ну что ж, если это то, чего они хотят, то они должны быть довольны.

Дальше все шло в том же духе. Мэт сказал, что не может понять, почему Эби не осаждают толпы

претендентов на ее руку и почему она давно уже не вышла замуж. За ужином он поглощал ее стряпню в огромных количествах и клялся, что никогда не пробовал лучшей.

Эби не могла быть счастливее. Любая работа кипела в ее руках. Тарелки были вымыты почти в ту же самую минуту, когда она за них принялась.

Мэт вышел на крыльцо и сел на ступеньку. Эби устроилась рядом с ним, положив руки себе на колени.

Хижина стояла на вершине холма. Хотя уже наступила ночь, луна, большая и желтая, освещала лежавшую у их ног долину. Далеко внизу озеро в темно-зеленой оправе из деревьев отсвечивало серебром.

— Здорово красиво, правда? — вздохнула Эби.

— Очень, — рассеянно ответил Мэт.

Они помолчали. Мэт почти физически ощущал ее близость. Несмотря на нелепые платья, простое лицо, босые ноги и отсутствие образования, в Эби было что-то очень женственное и трогательное. Пожалуй, она была женственней, чем те девушки, которых он знал по университету. Эби по крайней мере знала, чего она хотела от жизни. Она будет кому-нибудь очень хорошей женой. Единственная ее цель будет заключаться

в том, чтобы ее муж был счастлив. Она будет ему готовить, и убирать, и рожать ему сильных и здоровых детей, и будет довольна своей судьбой. Она будет молчать, когда он будет молчалив; не будет надоедать, когда он будет работать; будет веселой, когда будет весел он; будет удовлетворять все его желания.

Мэт зажег сигарету, пытаясь согнать это настроение. При свете спички он взглянул на ее лицо.

— Как ухаживают у вас в горах? — спросил он.

— Иногда мы гуляем, — мечтательно ответила Эби, — и вместе смотрим на все, и немножко разговариваем. Иногда в школе устраивают танцы. Если у парня есть лодка, можно поехать кататься по озеру. Иногда бывают вечера в церкви или пикники. Но чаще всего, когда ночь бывает теплой и светит луна, мы сидим на крыльце, взявшись за руки, и делаем то, что девушка согласна позволить.

Мэт взял ее руку в свою. Рука была сухой, прохладной и сильной. Эби повернула голову, пытаясь рассмотреть в темноте его лицо.

— Я вам хоть капельку нравлюсь, мистер Райт? — спросила она. — Не так чтобы жениться на мне, а по-дружески?

— Мне кажется, ты самая женственная из всех

женщин, каких я знал, — ответил он и понял, что это действительно так.

Словно сговорившись, они одновременно прижались друг к другу. Мэт нашел губами ее губы, и они были мягкими, теплыми и страстными. Тяжело дыша, он оттолкнул ее. Эби, слегка повернувшись, прикорнула к его плечу; рука Мэта обнимала ее за талию. Она удовлетворенно вздохнула.

— Мне кажется, что я бы вам все позволила, — сказала она.

— Не понимаю, почему ты давно не вышла замуж? — спросил он.

— Наверное, я виновата, — задумчиво сказала Эби. — Мне не нравился никто из тех, кто за мной ухаживал. Я злилась на них без всякой причины, а потом с ними случалось что-нибудь нехорошее. Может быть, мне хотелось, чтобы они были другими. Думаю, что я не была влюблена ни в одного из них. Во всяком случае, я рада, что не вышла замуж, — она вздохнула.

Мэт почувствовал что-то вроде угрызений совести. — Ну и свинья же ты, Мэттью Райт! — подумал он.

— А что случилось с этими парнями, которые за тобой ухаживали? — спросил он. — Ты была в

этом виновата?

— Люди всякое болтали, — с горечью в голосе ответила Эби, — они говорили, что у меня дурной глаз. Конечно, когда Хэнк как-то опоздал, я сказала ему, что он мог с таким же успехом сломать себе ногу. На следующий день он полез забивать планки на крыше и упал и сломал ногу. Но он всегда был очень неуклюжим. А Джим был таким холодным, и я посоветовала ему прыгнуть в озеро, чтобы согреть свою кровь. Но, по-моему, человек, который только и делает, что удит рыбу, должен часто падать в воду.

— Думаю, что так, — ответил Мэт. Его стала пробирать дрожь.

— Вам холодно, мистер Райт? — спросила с беспокойством Эби. — Позвольте мне принести ваш пиджак.

— Не надо, — ответил Мэт, — все равно уже пора идти спать. Иди ложись. Завтра утром мы поедем в Спрингфильд за покупками.

— Взаправду, мистер Райт? Я никогда не была в Спрингфильде, — недоверчиво сказала Эби. — Честное-пречестное слово, что поедем?

— Честное слово, — ответил Мэт, — иди ложись спать.

Мэт посидел на крыльце еще несколько минут.

Забавные вещи происходили с теми, в ком Эби разочаровывалась. Когда он зажигал сигарету, его руки слегка дрожали. В Эби было скрыто множество различных людей. Мэт знал уже четырех из них: задумчивую маленькую девочку с тоненькими косичками за спиной, бродившую босиком по пыльным дорогам; счастливую домохозяйку; несчастное вместилище непонятных сил; девушку с горячими губами. Кто из них была настоящая Эби?

Наутро Мэт познакомился еще с одной Эби. Ее волосы, заплетенные в косички, были уложены короной вокруг головы. На ней было новое, опять-таки совершенно не шедшее ей платье из блестящей голубой ткани с красной отделкой. На бедре была приколота большая искусственная роза. Голые ноги облегали дешевые черные сандалии.

— Боже, — подумал Мэт, — это ведь ее лучшее воскресное платье. И мне придется появиться с нею в таком виде на улицах Спрингфильда. — Он содрогнулся и подавил желание сорвать эту ужасную розу.

— Ну что ж, — спросил он, — ты готова?

Глаза Эби возбужденно заблестели.

— Значит, мы взаправду едем в Спрингфильд,

мистер Райт?

— Едем, если заведется машина.

— Она заведется, — уверенно сказала Эби.

Мэт искоса поглядел на нее. Над этим тоже следовало поразмыслить.

…Глаза Эби горели. Она смотрела на городские дома так, словно они каким-то чудом возникали из небытия специально для нее. Затем она принялась изучать прохожих. Мэт заметил, что наибольшее внимание она обращала на женщин.

Внезапно Мэт обнаружил, что Эби как-то странно затихла. Он поглядел на нее. Эби сидела, сложив руки на коленях и опустив глаза.

— В чем дело? — спросил Мэт.

— Мне кажется, что я выгляжу очень смешной, — ответила она. Голос ее слегка дрожал. — Мне кажется, вам должно быть стыдно за меня, мистер Райт. Если вы не против, я просто посижу в машине.

— Ерунда, — ответил Мэт, стараясь, чтобы его голос звучал убедительно. — Ты выглядишь чудесно.

— Вот чертенок, — подумал он, — у нее удивительная способность все понимать. Она или необычно тонко чувствует, или…

— Кроме того, — сказал он вслух, — я собираюсь купить тебе новое платье.

— Платье? Вы хотите купить мне новое платье, мистер Райт? — Ей было трудно говорить.

Мэт кивнул. Он остановил машину у самого крупного универмага в Спрингфильде. Обойдя машину, он открыл Эби дверцу и помог ей вылезти. Они вошли в магазин. Эби прижалась к его руке. Мэт чувствовал, как быстро бьется ее сердце.

— Нам на второй этаж, — сказал Мэт.

Эби смотрела широко раскрытыми глазами на длинные ряды платьев.

— Я никогда не думала, — прошептала она, — что на свете так много платьев.

Мэт рассеянно кивнул. Ему нужно было отлучиться, и надолго, чтобы найти лабораторию, где бы он смог взять в аренду измерительную аппаратуру. Он отвел в сторону продавщицу.

— Со мной девушка, — сказал он, — я хочу, чтобы вы отвели ее в салон красоты и поработали над ней. Стрижка, шампунь, укладка волос, брови и все прочее. Затем оденьте ее с головы до ног. Согласны? — Мэт вытащил бумажник и заглянул в него. Медленно он вытащил один аккредитив на сто долларов, затем еще один. У него остава-

лось всего триста долларов, а ему предстояло достать оборудование и жить до конца лета на эти деньги. Мэт вздохнул и подписал аккредитивы. — Постарайтесь, если возможно, держаться в этих пределах.

— Да, сэр, — сказала продавщица и нерешительно улыбнулась. — Это ваша невеста?

— Боже великий, конечно, нет! — вырвалось у Мэта. — То есть я хотел сказать, она моя племянница. Сегодня у нее день рождения.

Тяжело дыша, он подошел к Эби.

— Ты пойдешь с этой женщиной, Эби, и будешь делать все, что она тебе скажет.

— Хорошо, мистер Райт, — ответила Эби как во сне. Она пошла за продавщицей с таким видом, словно вступала в сказочную страну.

Мэт отвернулся, закусив губу. На душе у него скребли кошки.

Сев в машину, он посмотрел на часы. У него в запасе было но меньшей мере два с половиной часа. За это время он сможет найти все необходимое.

Впрочем, ему пришлось но возвращении прождать еще часа два. Затем…

— Мистер Райт! — Голос был грудным и мелодичным.

Мэт поднял глаза и вскочил с кресла. Перед ним стояла блондинка, такая красивая, что у него захватило дыхание. Коротко остриженные волосы, слегка завивающиеся на концах, обрамляли прекрасное лицо. Простое черное платье с низким вырез ом облегало маленькую женственную фигурку. Изящные длинные ноги были обуты в маленькие черные туфельки с высокими каблуками.

— Боже мой, Эби! Что они с тобой сделали?

— Вам не нравится? — спросила Эби с омрачившимся лицом.

— Это восхитительно, — пробормотал Мэт, — но они покрасили твои волосы!

Эби расцвела.

— Женщина, которая это сделала, сказала, что она их вымыла. Она сказала, что это их естественный цвет, но мне придется мыть их каждые несколько дней. И даже не хозяйственным мылом. — Она вздохнула. — Я никогда не знала, сколько девушка должна возиться со своим лицом. Мне придется многому учиться…

Пока Эби счастливо лепетала, Мэт недоверчиво смотрел на нее. Неужели он спал в одной хижине с этой девушкой? Неужели она готовила ему еду и штопала дыры в его карманах? Неужели он

действительно поцеловал ее, и она ему сказала: «Я бы вам все позволила...»? Сможет ли он вести себя с ней, как прежде? Мэт ожидал перемены, но не такой разительной. Эби носила свое новое платье с восхитительной уверенностью. Она шла на высоких каблуках так, словно ходила на них всю свою жизнь. Вещи всегда послушно служили Эби.

— Ты голодна? — спросил Мэт.

— Я бы слопала ежа, — ответила она.

Этот ответ так не вязался с ее внешним обликом, что Мэт разразился хохотом. Эби сделала большие глаза.

— Я что-нибудь сказала не так? — жалобно спросила она.

...Еда в ресторане была превосходна, и Эби ела незнакомые диковинки с таким удивлением, словно все это с минуты на минуту могло исчезнуть столь же таинственно, как и появилось.

— Попробуй сдвинуть чашку, — попросил Мэт, когда они покончили с едой.

Эби с минуту смотрела на чашку.

— Не могу, — тихо сказала она, — я ужасно стараюсь, просто изо всех сил, но я не могу, Я для вас все сделаю, мистер Райт, но этого не могу.

Потом они танцевали.

Во время длинного обратного пути она заговорила только один раз.

— Неужели есть люди, которые все время живут вот так?

— Нет, — ответил Мэт.

Эби кивнула:

— Так оно и должно быть. Такие вещи случаются очень редко.

Когда они вошли в хижину, она обняла Мэта за шею и крепко поцеловала в губы.

— Есть только один способ, которым девушка может отблагодарить мужчину за такой восхитительный день, — прошептала она ему на ухо. — За платья, и поездку, и обед, и танцы. И за то, что вы были таким милым. Я никогда не думала, что со мной может случиться что-нибудь похожее. Мне кажется, если действительно любишь кого-нибудь, то можно все. Я вас ужасно люблю. Я рада, что меня сделали такой хорошенькой. Если я могу сделать вас счастливым — хоть ненадолго…

Чувствуя, как к горлу подступает тошнота, Мэт осторожно снял ее руки со своей шеи.

— Ты не поняла, — холодно произнес он. — Произошла ужасная ошибка. Я не знаю, сможешь ли ты простить меня. Эти платья — для другой девушки, моей невесты. Ты примерно того же

роста, и вот я подумал… даже не знаю, как это получилось, что ты меня так неверно поняла…

Он остановился. Говорить больше было не к чему. Его план удался блестяще. Медленно, по мере того как он говорил, живость покинула Эби, лицо ее погасло, она словно сморщилась и ушла в себя. Она была маленькой девочкой, которую стукнул по лицу в самую счастливую минуту в ее жизни человек, которому она больше всего доверяла.

— Ну что ж, — очень тихо сказала она, — спасибо, что вы позволили мне думать, будто все это для меня, хотя бы и недолго. Я никогда не забуду этот день. — Она повернулась и залезла на койку, опустив за собой одеяло. Ее всхлипывания не дали Мэту уснуть в эту ночь. А может быть, он не мог уснуть оттого, что всхлипывания были очень тихими и ему приходилось напрягать слух…

Завтрак протекал печально. Что-то случилось с едой, хотя Мэт не мог уловить, что именно. Все было приготовлено так же, как всегда, но пища не имела никакого вкуса.

Мэт механически жевал и пытался не смотреть на Эби. Это не представляло труда; Эби казалась очень маленькой и не сводила глаз с пола. На ней снова было нелепое голубое платье. Она смыла с лица краску, и оно стало тусклым и безжиз-

ненным. Даже ее свежевымытые волосы словно потускнели.

Мэт сидел и курил одну сигарету за другой, пока Эби убирала со стола и мыла посуду. Покончив с работой, она повернулась к нему.

— Вы хотите, чтобы я двигала вещи для вас. Сегодня у меня это получится.

— Откуда ты знаешь, чего я хочу?

— Так уж, знаю.

— А ты не возражаешь?

— Нет. Я ни против чего не возражаю.

Она подошла поближе и села на стул.

— Смотрите!

Стол, стоявший между ними, приподнялся, покрутился на одной ножке и упал набок.

— Что ты чувствуешь? — возбужденно спросил Мэт. — Можешь ли ты управлять своей силой? Ты хотела, чтобы он двигался именно так?

— Стол был вроде частью меня самой, как рука. Но я не знала заранее, что он будет делать.

— Подожди минутку, — сказал Мэт, — я кое-что принесу из машины. — И он кинулся за приборами.

Эби безропотно позволила взвесить себя, измерить пульс, температуру и кровяное давление.

— Мне бы еще надо было бы измерить твой

базальный метаболизм, — пробормотал он, — но с этим придется подождать. Ах, если бы в этой лачуге была динамо-машина!

— Я могу сделать для вас электричество, — сказала Эби без всякого интереса.

— Может быть, и можешь, но если ты будешь тратить свою энергию на измерительную аппаратуру, все измерения станут бессмысленными. Теперь, Эби, подними, пожалуйста, этот стул на несколько минут.

Он заставил ее продержать стул в воздухе пять минут и снова проделал все измерения, отмечая изменения в пульсе, давлении крови, частоте дыхания, и затем снова взвесил ее.

— Ладно. Теперь отдохни. Нам придется подождать, пока все вернется в норму, прежде чем мы сможем приступить к новым опытам.

Эби послушно уселась на другой стул и уставилась в пол.

— Эби, ты ведь будешь мне помогать? — спросил Мэт. — Я это делаю и для твоего собственного блага. Если ты сумеешь контролировать свои силы, то, может быть, твои друзья перестанут ломать ноги и падать в воду.

Выражение лица Эби не изменилось.

— Мне все равно, — сказала она.

Мэт вздохнул. На мгновение ему захотелось бросить начатый эксперимент и уйти из ее жизни — упаковать свои заметки и пишущую машинку в автомобиль и вернуться в университет. Но он уже не мог остановиться. Он был слишком близок к решению загадки.

Он снова провел все измерения и увидел, что короткий отдых вернул все данные к норме.

— Попробуем еще раз, — сказал Мэт. — Подними, пожалуйста, этот стул на ту же высоту.

Стул нерешительно подпрыгнул вверх.

— Легче. Еще капельку.

Стул выпрямился и начал двигаться более плавно.

— Теперь подержи его в этом положении.

Стул повис в воздухе без движения. Мэт выждал пять минут.

— Хорошо. Теперь опусти его осторожно на пол.

Стул плавно, словно перышко, опустился на землю.

Снова Мэт проделал все измерения. Ее пульс стал реже, кровяное давление упало, дыхание было редким, грудь едва подымалась при каждом вздохе. Температура тоже упала…

Потом в течение часа они работали со столом.

К концу этого часа Эби могла поднять стол на долю дюйма или устремить его к потолку, где он оставался, пока она но опускала его на землю. Она балансировала им на одной ножке и заставляла его крутиться как волчок. Расстояние не играло никакой роли. Она управляла столом одинаково хорошо с любой точки комнаты, с крыльца или даже пройдя несколько сот ярдов вниз по дороге.

— Откуда ты знаешь, где он находится и что с ним? — задумчиво спросил Мэт.

Эби безразлично пожала плечами.

— Не знаю. Просто чувствую.

— Чем? — допытывался Мэт. — Видишь его, осязаешь, ощущаешь его?

— Все вместе, — отвечала Эби.

Мэт растерянно покачал головой.

— Ты выглядишь утомленной. Тебе лучше прилечь.

Она легла на свою койку, но Мэт знал, что она не спит. Когда она не встала, чтобы приготовить завтрак, Мэт сам открыл консервы и попытался накормить ее.

— Спасибо, мистер Райт, — сказала Эби, — я чегой-то не голодная.

— «Я не голодна», — поправил Мэт, но Эби не реагировала на замечание.

Вечером она слезла с койки, чтобы приготовить ужин, но сама съела не больше двух-трех ложек. Помыв посуду, она снова забралась на койку и задернула за собой одеяло.

Мэт сидел допоздна, пытаясь найти смысл в своих записях и графиках. Несмотря на показания приборов, Эби почти не чувствовала серьезных физиологических изменений, происходивших в ней. Поэтому можно было предположить, что такие изменения всегда сопутствовали проявлению ее парапсихологических способностей и что она переносила эти изменения достаточно легко.

Но почему эти способности в такой степени зависели от ее настроения? В чем заключалась разница? Почему, когда накануне она пыталась двигать предметы усилием воли, ей было гораздо труднее передвинуть чашку телекинетически, чем физически? Почему теперь, когда она несчастна, дело обстоит как раз наоборот?

Может быть, она черпает энергию из какого-то постороннего источника? Какие физические законы нарушает Эби? Какие использует? Когда Эби была несчастна, она каким-то образом могла свести к нулю тяготение, нет, скорее не тяготение, а массу тела. Как только это сделано, процесс

телекинеза уже не должен был требовать больших затрат энергии. Каким-то образом она умела затем восстановить прежнюю величину массы, и — смутная идея начала созревать в его мозгу — ну конечно же! Энергия, выделяющаяся при падении этого тела, поступала — но как? — в ее организм, возмещая расход энергии на телекинез предмета.

Он торопливо записал свои выводы. Совершенно ясно, что энергия, полученная при восстановлении массы тела, не могла полностью возместить расход энергии на телекинез. Поэтому Эби уставала после каждого опыта, но вовсе не так сильно, как если бы расходовала энергию на физическое перемещение предмета.

— Какая же ты свинья, Мэттью Райт, — в который раз за этот день подумал он. Но отступать было уже поздно.

Утром аппетит Эби не стал лучше. Мэт велел Эби попробовать двигать несколько предметов одновременно. Он увидел, как чашка кофе взлетела вверх, проделала двойное сальто, не расплескав ни капли, и опустилась на кофейник, который поднялся в воздух, чтобы встретить ее. Мэт встал, снял чашку с кофейника, выпил кофе и поставил чашку обратно. Кофейник даже не

шелохнулся.

Но способности Эби имели предел. Количество разных предметов, которыми она могла манипулировать одновременно, не превышало трех; если же предметы были одинаковыми, то она легко справлялась с пятью и более. Она даже заставила шесть сандвичей проплясать в воздухе какой-то сложный танец.

— О боже — воскликнул Мэт, — ты могла бы нажить себе в цирке целое состояние!

— Разве? — спросила Эби без всякого интереса. Она пожаловалась на головную боль и легла в постель.

Мэт ничего не сказал. Они проработали в этот день полтора часа. Остаток дня Мэт потратил на приведение в порядок своих записей. Несколько раз он кидал взгляды на маленькую неподвижную фигурку Эби. Он смутно начинал понимать колоссальные возможности, которые в ней скрыты. Им овладел смутный страх. Какую роль он выбрал для себя? Он начал как добрая фея, но больше уже не был ею.

Эби не вставала весь день и отказывалась от еды, приготовленной Мэтом. На следующее утро, когда она медленно сползла с койки, предчувствие беды, овладевшее Мэтом, еще более

обострилось. Она выглядела осунувшейся и постаревшей. Мэт уже приготовил завтрак, но она только устало тыкала вилкой в тарелку, несмотря на все его уговоры.

— Это не имеет никакого значения, — отвечала она.

— Может быть, ты нездорова? — раздраженно допытывался Мэт. — Я отвезу тебя к доктору.

Эби холодно взглянула на него.

— То, что у меня не в порядке, никакой доктор не вылечит.

В это утро Мэт увидел, как жестянка с мукой прошла сквозь его тело. Эби кидала ее к нему с разной скоростью, измеряя силу необходимого мысленного толчка. Мэт либо ловил жестянку, либо Эби останавливала ее на лету и возвращала обратно. Но на этот раз жестянка полетела слишком быстро, как пуля. Невольно Мэт взглянул себе на грудь, ожидая сильного удара. Но вместо этого он увидел, как жестянка пролетела насквозь…

Мэт ошеломленно оглянулся, потирая грудь дрожащими пальцами. Жестянка ударилась о стенку хижины и лежала на полу, помятая, в облаке мучной пыли.

— Она прошла насквозь, — прошептал Мэт, — я видел ее, но ничего не ощутил. Эби, что про-

изошло?

— Я не смогла ее остановить, — прошептала она, — и тогда я мысленно пожелала, чтобы она оказалось в другом месте. Всего на мгновение. И это случилось.

Так они открыли способности Эби к телепортации — мысленному мгновенному переносу предметов из одного места в другое. Это оказалось столь же просто, как и телекинез. Эби заставляла проходить предметы сквозь стены, не вредя ни тем, ни другим. Размеры предметов не играли никакой роли. Насколько Мэт мог судить, расстояние также.

— Как насчет живых существ? — спросил Мэт.

Эби сосредоточилась. Неожиданно на столе появилась мышь, коричневая полевая мышь с подергивающимися усиками и удивленными черными глазами. Секунду мышь лежала на столе как парализованная, а затем быстро побежала по столу в сторону Эби. Эби завизжала. Перевернувшись в воздухе, мышь исчезла. Мэт смотрел, широко раскрыв рот. Эби висела в воздухе на высоте трех футов. Медленно она опустилась на свой стул.

— Это действует на людей — прошептал Мэт, — попробуй еще раз. Попробуй это на мне.

Мэт почувствовал тошноту, как если бы земля неожиданно ушла у него из-под ног. Он взглянул вниз и увидел, что парит в воздухе на высоте двух футов над своим стулом. Он медленно поворачивался, но ему казалось, что комната кружится вокруг него.

— Здорово, — сказал он.

Мэт начал вращаться быстрее. Через секунду он кружился как волчок, комната мелькала у него перед глазами.

— Стоп! — закричал он. — С меня хватит! — В тот же момент он перестал крутиться и упал вниз. У Мэта было ощущение, что его желудок собирался выпрыгнуть наружу. Он тяжело и больно шлепнулся на стул, на котором сидел прежде, но тут же с воплем вскочил.

— Ты это нарочно сделала! — закричал он обвиняющим тоном.

Эби приняла невинный вид.

— Я сделала только то, что вы попросили.

— Ладно, пусть так, — сказал Мэт, — но с этой минуты я отказываюсь быть подопытным кроликом.

Эби сложила руки на коленях.

— Что мне теперь делать, мистер Райт?

— Попрактикуйся на себе, — сказал Мэт.

— Хорошо, мистер Райт. — Она плавно поднялась в воздух. — Это чудесно. — Она вытянулась горизонтально, словно лежала в постели, и начала летать вокруг комнаты. Потом вернулась в кресло. Глаза ее горели. — У меня такое чувство, что я могу сделать все на свете, — сказала она. — Что мне попробовать сейчас?

Мэт секунду подумал.

— Попробуй телепортировать себя.

— Куда?

— Куда угодно! — нетерпеливо ответил Мэт, — это не имеет никакого значения.

— Куда угодно! — повторила она. И в следующее мгновение ее не стало.

Мэт уставился на ее стул. Эби исчезла, в этом не было ни малейшего сомнения. Мэт выскочил на крыльцо. Полуденное солнце заливало все вокруг потоками ослепительного света.

— Эби, — закричал Мэт. — Эби! — Он подождал, но ему ответило только эхо. Минут пять он бегал вокруг хижины, крича и призывая, пока, наконец, сдавшись, не вернулся в хижину. Он сидел, глядя на койку Эби, и размышлял. Где она могла теперь быть?

Должно существовать какое-нибудь научное объяснение телепортации — это что-нибудь вро-

де замыкания трехмерного пространства через четвертое измерение…

Его начали одолевать угрызения совести. Может быть, Эби погибла? Или находится в четвертом измерении, как в ловушке, не в силах оттуда выбраться? Он не понимал теперь, как он мог быть настолько безумным, чтобы экспериментировать над человеческими жизнями и основными законами природы. Мэт угрюмо осознал, что цель никогда не оправдывает средства.

И вдруг Эби появилась, подобно духу из сказок «Тысячи и одной ночи», с подносом, уставленным блюдами. Щеки ее горели, глаза сверкали.

— Эби! — закричал Мэт. Он почувствовал, как камень свалился у него с сердца. — Где это ты была?

— В Спрингфильде.

— В Спрингфильде? — У Мэта сперло дыхание. — Но ведь это за пятьдесят миль отсюда!

Эби поставила поднос на стол и щелкнула пальцами.

— Вот смотрите, я была там.

Мэт поглядел на поднос. На нем были вареные омары, жареная картошка… Эби улыбнулась.

— Я проголодалась, — сказала она.

— Но откуда ты… — начал было он. — Ты была

в ресторане, ты взяла все эти вещи там?

Эби счастливо кивнула.

— Я была голодна.

— Но ведь это воровство, — простонал Мэт и в первый раз осознал чудовищность того, что он совершил, научив Эби пользоваться своими возможностями. Ничто не было в безопасности: ни деньги, ни драгоценности, ни смертоносные секреты.

— Они даже и не заметят, что у них что-нибудь пропало, — ответила Эби, — и потом, никто меня даже не видел. — Она произнесла это как решающий довод.

Эби ела с аппетитом, и Мэт радовался, что она не собирается уморить себя голодом.

— Но почему тебя не заметили там? — спросил Мэт.

— Сначала я никак не могла решить, как попасть в кухню. Но я видела, что там был только один повар…

— Видела?

— Я была снаружи, но как-то могла видеть, что делается внутри. И тогда я позвала: «Альберт», и повар вышел, а я вошла и забрала еду вместе с подносом и вернулась сюда. Это было очень просто, я ведь знала, что повар ждет, когда его

позовут.

— Как ты могла это знать?

— Я подумала это, — сказала Эби, нахмурившись, — вот так.

Он удивленно посмотрел на нее и вдруг понял, что она хочет сказать. Телепатия! И, глядя на ее лицо, он понял, что не ошибся. Широко открытыми недоверчивыми глазами Эби посмотрела на Мэта. Постепенно ее лицо приняло холодное и жесткое выражение, словно она надела маску.

— О, Эби, милая, нежная Эби!

— Вы… — она задохнулась, — вы сам черт. Что бы я ни сделала, вам все будет мало.

— Я погибший человек, — подумал Мэт.

— Вы с вашей добротой, и вашим красивым лицом, и вашими городскими манерами, как вы могли так поступить? Вы заставили меня полюбить вас. Вам это не было трудно. Нужно было только подержать деревенскую девчонку за руку при лунном свете и поцеловать ее разок, и она уже готова была прыгнуть к вам в постель. Но этого-то вы не хотели. Все время вы смеялись надо мной и строили свои планы. Бедная деревенская девчонка! С самого начала все было сплошным обманом. И в самый счастливый момент забрали все обратно. Бедная деревенская девчонка! Она

вообразила, что вы хотите ее. Мечтала, что вы, может быть, на ней женитесь. Вы думаете сейчас, что как-нибудь обманете меня и я вам все прощу. Вы хотите заставить меня думать, что я вас неправильно поняла. Не выйдет. Ничего у вас не выйдет, потому что я знаю все, что вы думаете.

Что он думал на самом деле? Приходило ли ему в голову хотя бы на мгновение, что он может жениться на ней? Мэт содрогнулся. Такая жизнь была бы кромешным адом. Представьте себе только, если можете, жену, которая все знает, все может, которую нельзя обмануть, при которой нельзя остаться наедине с собой. Представьте себе жену, которая в секунду может превратить квартиру в хаос, которая в силах швырять тарелки, стулья и столы с одинаковой легкостью и смертельной меткостью. Представьте жену, которая в любое время но малейшему подозрению может оказаться в любом месте. Представьте жену, которая видит сквозь стены и читает мысли, и тогда, может быть, вы предпочтете сломанную ногу или камни в печени.

Эби задрала подбородок.

— Вам нечего беспокоиться, Я скорее, выйду замуж за гремучую змею. Та по крайней мере хоть шипит прежде, чем ужалить.

— Убей меня! — в отчаянии крикнул Мэт. — Лучше убей меня!

Эби мило улыбнулась.

— Убить вас было бы слишком милосердно. Я даже не знаю такого наказания, которое не было бы слишком милосердно для вас. Но вы не беспокойтесь. Я постараюсь придумать. А теперь убирайтесь и оставьте меня одну.

Мэт повернулся, чтобы выйти. Но не успел он сделать и шага, как оказался снаружи хижины. Он зажмурился от яркого солнечного света. Мэта начало трясти. Он попытался собрать разбежавшиеся мысли. Итак, он совершил чудовищно жестокое преступление — неважно по каким мотивам. И вот он пойман и находится во власти потерпевшего, и никогда еще ни один потерпевший не располагал более совершенными средствами возмездия.

Единственный вопрос заключался в том, какую форму примет возмездие. Когда он узнает это, он сможет придумать, как его избежать. Покорно ждать наказания Мэт не собирался.

Однако как только он составит план действий, этот план в ту же секунду станет известен Эби и поэтому окажется совершенно бесполезным. Она уже и так знала слишком много. Он должен

перестать думать.

— Ну, мистер Райт, вы готовы?

Мэт вздрогнул. Рядом с ним на ступеньке крыльца стояла пара очаровательных ножек в нейлоновых чулках и маленьких черных туфельках. Мэт поднял глаза и посмотрел на ее фигурку, затянутую в черное платье, на ее лицо с большими голубыми глазами и ярко-красными губками, лицо, обрамленное прелестными белокурыми волосами. Даже в том состоянии, в каком он находился, Мэт ощутил всю прелесть ее красоты. Какая жалость, что остальные дары природы оказались такими ужасными!

— Я полагаю, что ваша невеста не будет возражать, — сказала Эби с приятной улыбкой, — поскольку у вас нет невесты. Так вы готовы?

— Готов? К чему? — У Мэта внезапно закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Он закрыл глаза, а когда открыл их, то понял, что они уже на танцплощадке в Спрингфильде, где когда-то были вместе.

Эби упала ему в объятия.

— Танцуйте! — сказала она.

Мэт понял, что все присутствующие глазеют на них, как если бы они свалились с потолка. Может, так оно и было?

Официант в белой куртке, сердито нахмурившись, решительно зашагал по направлению к ним. Но Эби была так же безучастна ко всеобщему смятению, вызванному их неожиданным появлением, как и большая автоматическая радиола, стоявшая в углу. Эби, прижавшись к Мэту, танцевала легко и свободно. Официант похлопал Мэта по плечу. Мэт с облегчением вздохнул и остановился. Но в следующее мгновение почувствовал, что продолжает двигаться в ритме танца, дергаясь, словно марионетка. Эби не собиралась останавливаться. Официант упрямо шел за ними.

— Прекратите это, — потребовал он.

— Я н-н-не м-м-о-г-г-у ос-с-ста-н-но-виться! — дергаясь, проговорил Мэт.

— Можете, можете, — успокоительно проговорил официант, продолжая идти за ним, — есть много вещей, которые человек не может сделать, но перестать делать то, что он делает, он всегда может. Мне кажется, вы были бы рады остановиться.

— Кон-н-неч-чно, б-был б-б-бы, — проговорил Мэт. — П-пе-р-ре-с-ст-тан-нь! — шепнул он Эби.

— Скажите этому человеку, чтобы он убирался прочь, — прошептала Эби в ответ.

Мэт решил снова начать танцевать сам. По крайней мере это приятнее, чем чувствовать, как тебя дергает в разные стороны.

— Мне кажется, вам лучше уйти, — сказал он официанту.

— Мы не любим выставлять людей силой, — сказал официант, нахмурившись, — но должны соблюдать порядок ради наших клиентов. Лучше уйдите подобру, — он схватил Мэта за руку, — а не то…

Внезапно Мэт почувствовал, что его рука свободна. Официант исчез. Мэт дико оглянулся вокруг. На автоматической радиоле появилось новое украшение. С вытаращенными тупо глазами и лицом белее собственной куртки официант, освещенный переливающимися огнями радиолы, напоминал китайского болванчика. Эби еще теснее прижалась к Мэту. Они продолжали медленно кружиться под музыку. Официант слез и через минуту снова направился к ним, сопровождаемый вторым официантом, барменом с квадратной челюстью и уродливым бульдогом в образе человека.

— Управляющий, — подумал о нем Мэт.

Четверка угрожающе сомкнулась вокруг Эби и Мэта.

— Не знаю, что это за игру вы затеяли, — проворчал бульдог, — но мы не хотим, чтобы вы играли в нее здесь. Если вы быстренько не уберетесь, то пожалеете.

Глядя на него, Мэт охотно ему поверил. Он сделал новую попытку остановиться.

— Н-н-не м-мо-г-гу, — проговорил он, — н-не-у-ж-жел-л-ли в-вы д-д-дума-е-те, я б-б-бы н-не п-пре-кратил, ес-с-с-л-ли б-б-б-бы м-мог.

Менеджер посмотрел на него налитыми кровью глазами.

— Полагаю, что прекратили бы. — Он сжал челюсти. — Ну что ж, ребята. Вышвырните их вон.

— Осторожнее, — нерешительно проговорил первый официант, — кто-то из них владеет хитрым приемом.

И тут нападающие исчезли. Мэт с несчастным видом посмотрел на радиолу. Там они сидели один на другом, напоминая акробатическую пирамиду. Пирамида зашаталась и рассыпалась. Даже сквозь громкую музыку были слышны глухие удары о пол. Затем Мэт увидел, как они обескураженно встают. Бармен усиленно потирал нос. Внезапно он сжал кулаки и бросился в атаку. Управляющий успел поймать его за руку.

Четверка устроила военный совет. Каждые

несколько секунд кто-нибудь из них поднимал голову и смотрел на Мэта и Эби. Наконец первый официант отделился от общей группы и с решительным видом направился к радиоле. Музыка прекратилась, цветные огни погасли. Наступила тишина. Все четверо с победоносным видом повернулись к танцплощадке. Так же внезапно огни зажглись вновь и снова загремела музыка. Они подскочили на месте. Осторожными шагами управляющий подкрался к стене и выдернул шнур из розетки. Он повернулся, все еще держа его в руке. Шнур начал извиваться. Управляющий смотрел на него, не веря своим глазам. Шнур начал складываться в кольца. Управляющий торопливо бросил его на пол. Шнур поднялся над полом, как кобра, и начал раскачиваться в медленном смертоносном танце. Потом прыгнул вперед. Управляющий едва успел отскочить. Металлические клыки стукнули по полу. Все четверо отступили, глядя на шнур широко раскрытыми глазами. Шнур презрительно повернулся и, скользнув к розетке, воткнулся в нее. Музыка заиграла снова.

Когда радиола опять попала в его поле зрения, Мэт заметил вокруг нее оживленную деятельность. Бармен приближался к управляющему,

держа в руке сверкающий пожарный топор. На мгновение Мэту показалось что весь мир сошел с ума. Затем он увидел, как управляющий, держа топор наготове, осторожно двинулся к радиоле. Удар был сокрушительным, но шнур, свернувшись в кольцо, успел отскочить в сторону. Управляющий подошел чуть поближе. Потом он взглянул вниз и закричал. Шнур обернулся петлей вокруг его ноги, словно питон, душащий свою жертву. Отчаянно размахивая топором, человек-бульдог наносил удар за ударом. Один из них, попав в цель, разрубил шнур пополам. Музыка прекратилась, радиола погасла. Обезглавленный шнур извивался в предсмертной агонии.

Эби остановилась. Мэт с облегчением вздохнул, ноги его дрожали.

— Эби, — умоляюще проговорил он, — пойдем отсюда побыстрее.

Она покачала головой.

— Давайте посидим, — и повела его к столику, который сразу же опустел, так же как и вся прилегающая к нему часть комнаты.

— Думаю, что вы не прочь выпить, — сказала Эби.

— Я бы лучше ушел, — пробормотал Мэт.

Они сели. Эби повелительно подозвала официанта. Тот осторожно приблизился к столу. Эби вопросительно посмотрела на Мэта.

— Виски, — беспомощно пробормотал Мэт, — только без соды.

Почти мгновенно официант вернулся обратно, держа на подносе бутылку и два стакана.

— Босс приказал получить деньги вперед, — робко пробормотал он.

Мэт тщетно обыскал карманы.

— У меня нет с собой денег!

— Неважно, — сказала Эби, — поставьте поднос.

— Нет, мадам... — начал официант, глядя округлившимися глазами на поднос, который, выскользнув у него из рук, опустился на стол. Он запнулся, закрыл рот рукой и отошел от стола.

Эби сидела, опершись локтем о стол и мечтательно положив подбородок на маленькую ладонь.

— Я не хочу быть плохой дочерью, — сказала она, — па здесь, наверное, понравилось бы.

— Нет, нет, — торопливо проговорил Мэт, — пожалуйста, не надо. У нас и без того целая куча неприятностей...

... Дженкинс сидел у стола на третьем стуле,

медленно моргая; от него разило спиртом. Мэт потянулся за бутылкой, налил немного виски в свой стакан, поднес его к губам и залпом выпил. На мгновенье виски обожгло ему горло, но в следующий момент это ощущение исчезло. Мэт поставил стакан на стол и немного подождал. Но он ничего не чувствовал, совершенно ничего. Он подозрительно посмотрел на стакан. Тот был полон.

Дженкинс прищурил глаза.

— Эб, — сказал он, ерзая на стуле, — что ты тут делаешь? Какая ты шикарная! Подцепила парня с монетой ?

Эби не обратила на его вопросы ни малейшего внимания.

— Па, если бы я попросила тебя кое-что для меня сделать, ты бы сделал?

— Конечно, Эб, — торопливо ответил Дженкинс. Его глаза загорелись при виде бутылки с виски. — Все, что угодно.

Он поднес бутылку к губам. Та приятно забулькала. Когда Дженкинс поставил бутылку на стол и вытер рот большой волосатой рукой, бутылка оказалась наполовину пустой. Дженкинс тяжело вздохнул. Мэт снова поднял свой стакан и поднес его к губам. Когда он опустил его, стакан был

по-прежнему полон, а Мэт по-прежнему пуст.

— Если бы я попросила тебя стукнуть мистера Райта по носу?

Мэт внутренне сжался.

— Конечно, Эб, конечно, — сказал Дженкинс. Он медленно согнул свою массивную руку и сжал кулак. Борода не давала разглядеть выражение его лица, но Мэт подумал, что это даже к лучшему.

— Ты что, обидел мою маленькую девочку? — потребовал ответа Дженкинс. — Послушай, сынок, — вдруг переменил он тон, — что с тобой? На тебе лица нет! — Он снова посмотрел на Эби. — Стукнуть его сейчас?

— Я скажу когда, — ответила Эби.

— Полиция! — неожиданно завопил Дженкинс, охватывая своей огромной рукой горлышко бутылки.

Мэт поднял голову. Бармен вел к ним троих полицейских. Они приближались решительно, уверенные в своей власти и силе. Мэт быстро повернулся к Эби.

— Только, пожалуйста, не устраивай никаких столкновений с законом.

Эби зевнула.

— Я устала, — сказала она, — уже поздно.

Дженкинс, нагнув голову, бросился навстречу

полиции. И тут зал исчез. Мэт поморгал, борясь с тошнотой. Он и Эби снова были в хижине.

— А как насчет твоего отца? — спросил Мэт.

— После выпивки, — ответила Эби, — па больше всего на свете любит хорошую потасовку. А теперь я иду спать. Я здорово устала.

Оставив туфельки на полу, она забралась на койку. Медленно прошли два мучительных часа. Мэт осторожно сел и взял ботинки в руки. Потом встал и медленно, на цыпочках пошел к двери. Дюйм за дюймом продвигался он к своей цели, напряженно прислушиваясь к сонному дыханию Эби. Приоткрыв дверь, он выскользнул наружу и тихо закрыл ее за собой. Ступенька скрипнула. Мэт в ужасе застыл на месте. Однако из хижины не донеслось ни малейшего звука. Машина сама покатилась под уклон, едва он отпустил тормоз, и, только отъехав на милю от хижины, Мэт включил мотор. Свобода! Уже рассветало, когда он подъехал к бензоколонке. Солнце, заглянув сквозь ветровое стекло его машины, увидело молодого человека в грязном костюме, небритого, с красными от усталости глазами. Но Мэт дышал глубоко, он упивался вином свободы. Он не помнил, куда ведет дорога, по которой он ехал, но куда бы она ни вела, жизнь была прекрасна.

Мэт считал, что Эби не сможет его найти и что она не может телепортировать себя в то место, в котором ни разу не была. В обоих своих путешествиях в Спрингфильд Эби посетила только те места, в которых она раньше побывала с Мэтом.

Когда из-за бензоколонки вышел сонный служащий, Мэт спохватился, что у него нет денег. Безнадежно он начал шарить по карманам. Без денег он надолго застрянет здесь, а все его деньги остались в хижине вместе с одеждой, пишущей машинкой и папками с начатой диссертацией. Но… его рука что-то нащупала в кармане брюк. Бумажник. Он вытащил его и заглянул внутрь. Там было четыре доллара бумажками и на триста долларов аккредитивов.

— Заправьте машину, — сказал Мэт. Когда он успел захватить деньги? В Спрингфильде бумажника с ним не было… Однако… А может быть, ему мешает подумать как следует голод? Он ничего не ел со вчерашнего утра.

— Где здесь можно поесть?

— Видите вон те грузовики у дороги? Обычно в таких местах хорошо кормят. Но здесь не то. Зато есть местная достопримечательность. Шоферы останавливаются, чтобы только посмотреть на нее. Звать Лола…

Внутри столовая напоминала железнодорожный вагон. Вдоль одной стены тянулся длинный прилавок. Шоферы, все, как один, крупные мужчины в рубашках с короткими рукавами, курили, пили кофе и дразнили официантку. Мэт устало присел за один из пустых столиков. Официантка, освободившись от группы поклонников, подошла к нему со стаканом воды, раскачивая на ходу бедрами. Она была пышной брюнеткой с коротко остриженными волосами и улыбающимся загорелым лицом. Ее юбка и кофточка с низким вырезам оттопыривались как раз в нужных местах. Когда она наклонилась, чтобы поставить стакан с водой на стол, Мэт против своей воли скользнул глазами по низкому вырезу ее блузки.

— Что вы будете кушать? — спросила она.

Мэт проглотил слюну.

— Пару блинчиков и сосиски.

— Кофе?

Мэт кивнул головой, Он слегка улыбнулся, чтобы показать, что ценит ее внимание. Не было ни малейшего сомнения в ее привлекательности. В любое другое время…

— Ох! — вскрикнула вдруг она, потирая грудь рукой и кидая на Мэта укоризненные взгляды. Затем на ее лице появилась кокетливая улыб-

ка. Толстым пальчиком она погрозила Мэту. — Скверный мальчик!

Мэт смотрел на нее, как на сумасшедшую. Когда она исчезла за прилавком, Мэт озабоченно покачал головой и, заметив мрачные взгляды, которые кидали на него шоферы, углубился в изучение стакана с водой. Он вспомнил, что его мучит жажда. Мэт выпил полный стакан, но жажда не проходила. Лола, не теряя времени, принесла Мэту кофе. Но когда она приблизилась к Мэту, произошло непонятное — на совершенно ровном месте Лола поскользнулась, вылив кофе на рубашку Мэта. Он вскочил, ругаясь. Опомнившись, Лола схватила пачку бумажных салфеток и начала оттирать рубашку. Мэт заметил, что шоферы глядят на него — одни мрачно, другие с завистью. Он снова сел за стол. В конце концов это могло быть простой случайностью.

Тем временем заказанные блинчики уже приготовили. Лола несла их к столу Мэта, однако это оказалось далеко не простым делом. Никогда в жизни Мэт не видел столь скользких блинчиков. Лола была так занята, пытаясь удержать их на тарелке, что даже перестала покачивать бедрами. Блинчики катались по тарелке из стороны в сторону. От напряжения Лола сморщила лоб. Она

шла каким-то сложным танцевальным шагом, пытаясь удержать блинчики в равновесии. Мэт смотрел на нее как завороженный. Тем временем все четыре сосиски на другой тарелке подскочили вверх и исчезли одна за другой за низким вырезом ее блузки. Лола вскрикнула. Блинчики полетели в разные стороны. Один из них попал ближайшему шоферу в лицо.

— А, шутник! — закричал он и запустил стулом в Мэта.

Мэт вскочил, пытаясь вылезти из-за стола. Блинчик, отскочивший от первого шофера, угодил в открытый от удивления рот его соседа. Тот подскочил, задыхаясь и издавая невнятные звуки. Через стол полетели чашки. Мэт нырнул под стол, закрыв глаза и покорившись своей судьбе. Сквозь шум драки до него донесся смех, похожий на звон маленьких серебряных колокольчиков. Затем, не имея ни малейшего представления, как это произошло, он оказался на улице. Мотор заработал, едва только он нажал на стартер. Мэт повернулся, чтобы взглянуть назад, на столовую — и едва не потерял контроль над машиной. На заднем сиденье аккуратно, стопкой, были сложены его одежда, пишущая машинка и папки с диссертацией.

Когда Мэт остановился на одной из улиц Клинтона, он почувствовал себя немного лучше, по крайней мере морально. По пути он умылся в маленьком ручейке у дороги, побрился и переоделся. Но он был совершенно измотан голодом и недосыпанием. Лучше это, мрачно подумал Мэт, чем Эби. Какое-то время он сумеет продержаться. Что касается появления в машине его вещей, то у Мэта на этот счет было несколько объяснений. Наиболее приятное из них заключалось в том, что Эби изменила свои намерения; она ждала, что он попытается удрать, и облегчила ему эту попытку. Мэт подумал, что в душе Эби была добросердечным ребенком. Слабость этого объяснения заключалась в том, что Мэт не верил в него.

Он пожал плечами. Перед ним сейчас стояли более неотложные задачи. Бензин на исходе, и ему необходимо что-нибудь поесть. Надо разменять один из аккредитивов.

Войдя в банк, Мэт направился прямо к окошечку кассира. Он подписал аккредитив и передал его кассиру, маленькому худому человечку с лысой головой и соломенными усиками. Кассир сравнил подписи и повернулся к боковой полочке, где у него аккуратными стопками были сложены денежные купюры. Он отсчитал четыре

двадцатки, десятку, пятерку и пять бумажек по одному доллару.

— Пожалуйста, сэр, — вежливо сказал он.

А Мэт в это время в ужасе глядел на пачки двадцатидолларовых ассигнаций, медленно поднимающихся в воздух за спиной у кассира.

— Что с вами, сэр, — беспокойно спросил кассир, — вам нехорошо?

Мэт машинально кивнул и затем, оторвав глаза от зрелища летающих денег, отрицательно помотал головой.

— Нет, — запнулся он, — со мной все в порядке. — Он быстро сделал шаг назад от окошечка.

— Вы уверены в этом? Вы ужасно выглядите!

С ужасом Мэт почувствовал, как что-то копошится в правом кармане его пиджака. Он сунул руку в карман, там лежала пачка двадцатидолларовых ассигнаций. Мэт быстро подошел к окошечку кассира. Тот высунулся ему навстречу.

— Мне кажется, вы уронили вот это, — сказал Мэт, вынимая пачку денег из кармана.

Кассир быстро взглянул на полку с деньгами и снова на пачку.

— Не могу понять, каким образом… Но все равно, благодарю вас. Это самая забавная…

Мэт протянул деньги через окошечко.

— Совершенно верно, — поспешил согласиться Мэт и поднял руку, но выпущенная пачка денег поднялась вместе с ней, словно приклеилась к ладони. — Извините меня, — тихо сказал Мэт, — я не могу избавиться от этих денег. — Он отчаянно потряс рукой, но пачка даже не пошелохнулась.

— Весьма забавно, — сказал кассир, однако он уже не улыбался. Кассир просунул руку сквозь прутья и схватил пачку за уголок.

— Вы можете теперь отпустить ее, — сказал он, — ну, отпускайте же!

Мэт потянул руку к себе.

— Не могу, — сказал он, тяжело дыша.

Кассир и Мэт изо всех сил тянули в разные стороны.

— Мне некогда играть здесь с вами, — пыхтел кассир, — отпустите деньги.

— Мне не нужны они, — лихорадочно заговорил Мэт, — но я не могу от них избавиться. Вот смотрите.

Он широко растопырил пальцы. Кассир ухватился за пачку обеими руками и уперся ногой в перегородку.

— Отпустите деньги! — заорал он.

Внезапно Мэт почувствовал, что его рука пуста, а кассир исчез на дне своей клетушки.

Мэт бросился к двери. Откуда-то издалека ему слышалось звяканье маленьких серебряных колокольчиков.

Когда он выезжал из Клинтона, у него не оставалось никаких сомнений: Эби преследовала его.

Полумертвый от усталости, умирающий от жажды и голода, Мэт подъезжал к северной окраине Канзас-Сити. Он проехал через город, не останавливаясь, и, наконец, увидел вдали красные черепичные крыши и белые башенки университета.

Здесь была крепость науки, цитадель знания, передовой бастион борьбы с темными силами невежества и предрассудков. Здесь, в академической атмосфере логики и размышлений, сможет он стряхнуть мрачные чары, парализовавшие его волю. Здесь он сможет мыслить яснее, действовать решительнее и избавиться, наконец, от демона мщения, мчащегося по его пятам. Здесь он найдет помощь.

Он проехал по Массачусетс-стрит и остановился. Голода он почти не чувствовал, но жажда не давала ему покоя. Где-то по дороге — он никак не мог вспомнить где — он пытался поесть, но куски исчезали у него изо рта.

Неужели этому не будет конца? — подумал он.

— Неужели нет никакого выхода? Конечно, есть. Из всякого положения есть выход.

Мэт подошел к ресторану. Он должен сначала утолить голод и жажду, а там будь что будет. Мэт сел за ближайший столик.

— Суп, — пробормотал он подошедшей официантке, — суп и молоко. — Он даже не поднял голову, чтобы посмотреть на нее.

— Хорошо, сэр, — сказала она. Ее голос показался ему знакомым, но в конце концов все молодые голоса похожи друг на друга. Когда-то он обедал здесь.

Медленно поднес он к губам стакан с водой. Прохладные волны захлестнули его. Мэт благодарно закрыл глаза.

— Вам лучше, мистер Райт? — спросила официантка.

Мэт поднял глаза и поперхнулся. Перед ним стояла Эби. Мэт вскрикнул. Студенты начали оборачиваться. Он дико огляделся вокруг. Все девушки были как две капли воды похожи на Эби. Мэт вскочил, чуть не опрокинув стол, и бросился к выходу. Перед самой дверью он остановился как вкопанный. Через стекло на него смотрела высокая бородатая фигура. Мэт повернулся и побежал через зал к черному ходу. Промчавшись

мимо удивленного повара, Мэт выскочил на улицу и побежал, прихрамывая, вдоль темной аллеи. В конце аллеи уличный фонарь стоял как оазис света. Мэт, задыхаясь, мчался к нему что было сил. Внезапно он остановился. В конце аллеи на земле лежала длинная тень. У тени были могучие плечи, и под подбородком что-то болталось. Мэт повернулся и побежал назад, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит у него из груди. Его мозг работал, как машина, у которой сломался регулятор. Из-за кустов выступила тень. Мэт снова остановился. Тень подошла ближе, возвышаясь над его головой. Мэт сжался, не в силах сдвинуться с места. Две длинные руки протянулись к нему. Мэт вздрогнул и приготовился встретить свой конец. Руки обняли его и притянули ближе.

— Сынок, сынок, — услышал он тихий голос Дженкинса, — ты первый знакомый, которого я увидел за весь день.

Сердце Мэта снова начало биться. Он высвободил свое лицо из спутанной бороды Дженкинса.

— Никак не могу понять, что творится со мной эти дни, — говорил Дженкинс, печально качая головой, — но у меня такое мнение, что все это дело рук Эб. Как раз когда драка была в самом разгаре, все вдруг исчезло, и я очутился здесь. Где

я нахожусь, сынок?

— Канзас, — ответил Мэт.

— Сынок, — жалобно сказал Дженкинс, — что-то надо делать. Это ведь дело рук Эб?

Мэт кивнул головой.

— Послушай, сынок. Я слишком стар для такого. Мне бы сидеть у себя на крыльце, держа на коленях бутылочку. Что-то нужно сделать с этой девчонкой.

— Боюсь, что уже слишком поздно, — сказал Мэт, вытащил бумажник и сунул Дженкинсу пять долларов. — Вот возьмите. Выпейте чего-нибудь и попробуйте забыться. Может быть, когда у вас кончатся эти деньги, все уже переменится к лучшему.

— Ты славный парень, сынок. — Дженкинс повернулся, подняв руку в прощальном приветствии.

Мэт медленно побрел вдоль Массачусетс-стрит. Он должен был сделать еще одну попытку. Подходя к автомобилю, Мэт почувствовал близость Эби. Чувство было настолько сильным, словно он стоял рядом с ней. Мэт вздохнул. Не она была виновата во всем, что произошло. Скорее он. И теперь он должен поплатиться. В мире существует неумолимый закон действия и противодействия.

Было уже совсем темно, когда Мэт, проехав по Седьмой улице, остановил машину у старого двухэтажного дома, окруженного покосившимся забором. Большинство домов в университетском городке были старыми. Новые дома стояли в западном предместье, но университетским профессорам они были не по карману. Мэт позвонил. Дверь отворил профессор Франклин, его научный руководитель.

— Мэт! — воскликнул Франклин. — Да тебя не узнать! Почему ты вернулся так быстро? Только не говори, что ты уже закончил диссертацию.

— Нет, доктор Франклин, — устало сказал Мэт, — но я хотел бы побеседовать с вами, если у вас найдется время.

— Входи, входи. Я как раз проверяю работы, — Франклин поморщился, — работы первокурсников.

Франклин провел его через жилую комнату в заваленный книгами кабинет. Его очки лежали на стопке тетрадей. Он надел их и повернулся к Мэту.

— Что с тобой? Ты ужасно выглядишь. Ты не болен?

— В каком-то роде, — сказал Мэт, — это можно рассматривать как болезнь. Как бы вы лечили

человека, верящего в реальность духов?

Франклин пожал плечами. Множество людей верят в них, и тем не менее являются полноправными здоровыми членами общества. Например, Конан Дойль…

— А если человек берется доказать их реальность?

— Галлюцинации? Тогда это серьезнее. Я думаю, что тут следует вмешаться психиатру. Но я не практикующий врач, а педагог. Послушай, не хочешь ли ты сказать, что…

— Предположим, я берусь доказать, что существуют левитация, телекинез, телепатия. О каком лечении тут может быть речь… профессор?

— Мэт, ты нездоров?

— Предположим, — безжалостно продолжал Мэт, — что очки взлетят сейчас с вашего носа, пролетят по воздуху и опустятся на мой. Что вы скажете тогда?

— Я скажу, что тебе надо повидать психиатра, — озабоченно сказал Франклин.

Его очки тихо отделились от лица и, лениво полетав по комнате, опустились на нос Мэту. Профессор Франклин, подслеповато моргая, посмотрел им вслед.

— Мэт, — воскликнул он, — прекрати эти шут-

ки!

Мэт вздохнул и вернул очки. Франклин, нахмурившись, снова надел их.

— Предположим, — сказал Мэт, — что я сейчас поднимусь в воздух. — Сказав это, он почувствовал, что поднимается вверх.

Франклин смотрел на него, задрав голову.

— Мэт, — сказал он, — вернитесь немедленно на место!

Мэт вернулся в свою кресло.

— Все эти трюки, — сурово сказал Франклин, — ничего особенного из себя не представляют. Пойди к врачу, Мэт. Не трать понапрасну свое и мое время. Кстати, — добавил он, снимая очки и яростно протирая их, — я думаю, мне не мешает повидать моего глазного врача.

Мэт снова вздохнул.

— Я с самого начала боялся, что все этим кончится. Эби, ты слышишь меня?

Франклин уставился на него.

— Да, мистер Райт.

Слова, тихие и отчетливые, доносились из середины пустой комнаты. Франклин лихорадочно обшаривал комнату глазами.

— Благодарю тебя, — сказал Мэт.

— Уходите из моего дома, — сказал Франклин

дрожащим голосом, — с меня довольно ваших штучек.

Мэт встал и пошел к выходу.

— Боюсь, что доктор Франклин не верит в тебя, Эби. Но я верю. Прощайте, доктор Франклин. Не думаю, что какой-нибудь врач сумел меня вылечить.

Со странным чувством приближающегося конца Мэт проехал через университетский городок и подъехал к своему дому. Он зажег свет в гостиной. В комнате царил привычный беспорядок. Свитер валялся на письменном столе, книги — на кресле. Не зажигая света, Мэт прошел на кухню. Только не думать… не думать…

Он наткнулся в темноте на плиту и, ворча, потер ушибленное бедро. Где-то здесь… Какие-то скрытые силы удерживали Мэта от того, чтобы свалиться в забытьи от истощения. Ничего, скоро у него будет сколько угодно времени для отдыха… Он нагнулся. Вот наконец то, что он ищет. Сахар. Обычный сахар. Последняя попытка. Ну да, сахар был не совсем обычным…

Он нашел пакетик с овсянкой и достал из холодильника молоко, вытащил из ящика нож и разрезал пакетик пополам. Затем высыпал содержимое одной из половинок в чашку, полил

молоком и посыпал сверху сахаром. Ему очень хотелось спать. Он зачерпнул ложку и поднес ее ко рту. Какое-то время подержал ее на языке, затем проглотил… Нет, не успел проглотить — все исчезло у него изо рта. Мэт схватил нож и ударил им себя в грудь. Ударил? Рука оказалась пустой. Голова его упала на грудь. Внезапно он выпрямился. Шипенье прекратилось. Мэт зажег свет и увидел, что газовый кран, который он сумел открыть, когда споткнулся о плиту, уже закрыт. Не помогли ни яд от насекомых, ни нож, ни газ. Он почувствовал, как его охватило отчаяние. Выхода не было. Мэт сбросил с кресла книги и сел в него. Последняя надежда — после которой уже не на что надеяться — исчезла. И все-таки он был даже рад, что все его попытки потерпели неудачу. Потому что это был трусливый выход из положения.

Оставалось только одно решение. Он все время отказывался признать его неизбежность, но выбора больше не было. Он поднял голову.

— Ладно, Эби, — вздохнул он, — я женюсь на тебе. — Слова повисли в воздухе. Мэт ждал со страхом, смешанным с надеждой. Неужели в ней не осталось ничего, кроме жажды мщения?

Но Эби внезапно оказалась у него на руках,

одетая в свое ужасное голубое платье, но очень красивая. Ее руки обвились вокруг его шеи.

— Правда, мистер Райт? — прошептала она. — Вы не шутите?

Боже мой! Вездесущая, всемогущая жена, страшная в гневе или разочаровании. Не было человека, подумал он, от которого требовали бы большей жертвы. Он вздохнул.

— Я женюсь на тебе. Да поможет мне бог! — И он поцеловал ее.

Самое странное, что новоявленный жених, Метью Райт, был счастлив.

Куда счастливее, чем заслуживал. Но гораздо важнее было другое.

Невеста была счастлива.

